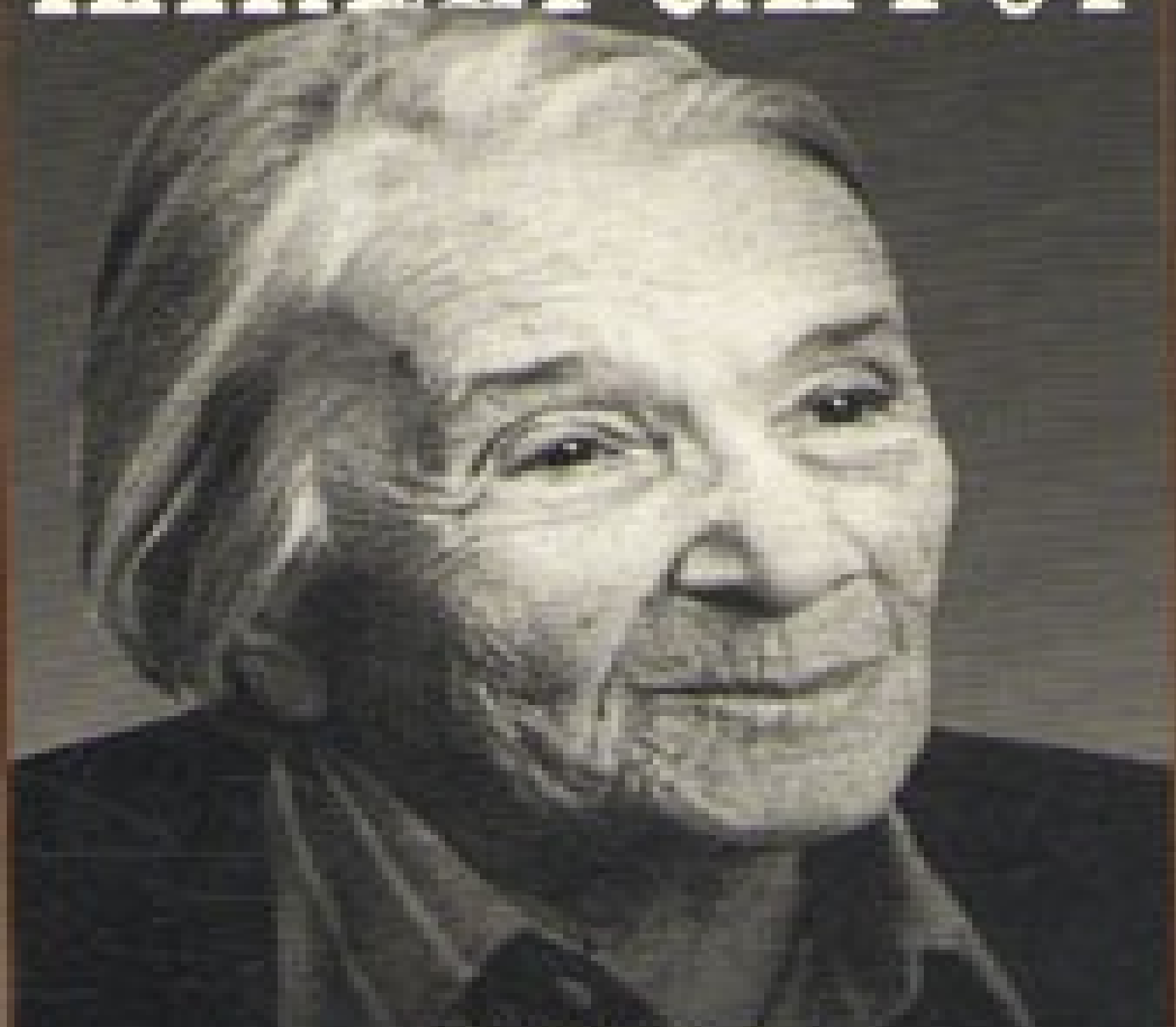


НАТАЛИ САРРОТ



ДЕТСТВО

Повесть

«ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ»

Роман

В книгу известной французской писательницы Натали Саррот (она родилась в 1900 году в России, в городе Иваново-Вознесенске) вошли: автобиографическая повесть "Детство" (1983) и роман "Золотые плоды" (1963), яркий пример нового направления в европейской литературе, "нового романа", одним из основоположников которого она и является.

"Новый роман" отразил состояние сознания человека XX века, пережившего сложнейшие, часто трагические повороты социально-исторического развития, крушения устоявшихся взглядов и представлений в силу появления новых знаний в различных областях духовной жизни (теория относительности Эйнштейна, учение Фрейда, художественные открытия Пруста, Кафки, Джойса), которые заставляли радикальным образом пересматривать существующие ценности.

- [Натали Саррот](#)
 - [Причудливые миры Натали Саррот — Александр Таганов](#)
 - [Детство](#)
 - [«Золотые плоды»](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
-

Натали Саррот

Детство — перевод Л. Зониной и М. Зониной (1986)

«Золотые плоды» — авторизованный перевод Р. Райт-Ковалевой (1969)

Причудливые миры Натали Саррот — Александр Таганов

Книги Натали Саррот вызывают у читателей неоднозначную реакцию по той простой причине, что они далеки от канонов массовой развлекательной литературы, не запрограммированы на успех у публики, не обещают «легкого» прочтения: слова, фразы, часто фрагменты фраз, надвигающиеся друг на друга, соединяющиеся в диалоги и внутренние монологи, насыщенные особым динамизмом и психологическим напряжением, образуют в конечном итоге единый замысловатый узор текста, для восприятия и понимания которого требуются определенные усилия. Стихия художественного слова Саррот существует по своим собственным внутренним законам, усилия, затраченные на их постижение, оказываются неизменно и сполна вознагражденными, ибо за внешней герметичностью текстов Саррот открываются удивительные, завораживающие своей неизведанностью миры, составляющие огромное, уходящее в бесконечность пространство человеческой души.

Ровесница века, Натали Саррот (урожденная Наталья Ильинична Черняк) провела свои первые детские годы в России — в городах Иваново-Вознесенск, где она родилась, Каменец-Подольский, Петербург, Москва. В 1908 году из-за семейных неурядиц и обстоятельств социального плана Наташа с отцом и мачехой навсегда уезжает в Париж, который станет ее вторым родным городом. (Об этом и других событиях ранних этапов своей жизни писательница рассказывает в автобиографической повести «Детство»). Здесь, в Париже, состоялось вхождение Саррот в большую литературу, которое, правда, произошло совсем незаметно. Первая книга Саррот «Тропизмы»^[1], появившаяся в 1939 году, не привлекла к себе внимания ни со стороны критиков, ни со стороны читателей. Между тем, как несколько позднее отмечал сам автор, она «содержала в зародыше все то», что писательница «продолжала развивать в последующих работах»^[2]. Впрочем, невнимание литературной критики и читателей к первому произведению Саррот вполне объяснимо. В сложной, насыщенной тревожными социально-политическими событиями атмосфере 1930-х годов на первый план выходила литература «ангажированная», вовлеченная в перипетии исторического процесса. Именно этим во многом объяснялся успех произведений Андре Мальро, а несколько позднее Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Саррот, действуя словно бы вопреки всеобщей устремленности общественного сознания, обращалась к реальностям совсем иного плана. Небольшие художественные новеллы-миниатюры, внешне напоминающие жанрово-лирические зарисовки, из которых состояла книга Саррот, были обращены к потаенным глубинам человеческой психики, где отголоски глобальных социальных потрясений едва ли ощущались. Заимствуя у естественных наук термин «тропизмы», обозначающий реакции живого организма на внешние физические или химические раздражители, Саррот пыталась уловить и обозначить с помощью образов «необъяснимые движения», «очень быстро скользящие в пределах нашего сознания», которые «лежат в основе наших жестов, наших слов, чувств», представляя собой «тайный источник нашего существования»^[3].

Все дальнейшее творчество Саррот было последовательным и целенаправленным поиском путей, позволяющих проникнуть в глубинные пласты человеческого «я». Эти поиски, проявившиеся в романах 1940 — 1950-х годов — «Портрет неизвестного» (1948), «Мартеро» (1953), «Планетарий» (1959), а также в книге эссе под названием «Эра подозрения» (1956), — принесли Саррот известность, заставили говорить о ней как о провозвестнице так называемого «нового романа» во Франции.

«Новый роман», пришедший на смену «ангажированной» литературе, отразил состояние сознания человека XX века, пережившего сложнейшие, непредсказуемые, часто трагические повороты социально-исторического развития, крушение устоявшихся взглядов и представлений в силу появления новых знаний в различных областях духовной жизни (теория относительности Эйнштейна, учение Фрейда, художественные открытия Пруста, Джойса, Кафки и т. п.), которые заставляли радикальным образом пересматривать существующие ценности.

Термин «новый роман», выдвинутый литературной критикой 1950-х годов, объединял писателей, часто весьма отличающихся друг от друга и по манере письма, и по тематике их произведений. Тем не менее, основания для подобного объединения все-таки существовали: в творчестве Натали Саррот, Алена Роб-Грийе, Мишеля Бютора, Клода Симона и других авторов, причисляемых к этому литературному направлению, четко обозначилось стремление к отказу от традиционных художественных форм, так как они, с точки зрения «новороманистов», безнадежно устарели. Не принижая значения классического, прежде всего бальзаковского наследия, трансформаторы жанра вместе с тем достаточно категорично говорили о невозможности в XX веке следовать указанной традиции, отвергая такие привычные жанровые атрибуты романа, как «всезнающий» повествователь, рассказывающий читателю историю, претендующую на жизненную достоверность, персонаж-характер, и другие, прочно утвердившие себя способы создания художественной условности, облачающей реальную жизнь в формы устоявшихся рационалистических стереотипов.

«Сегодняшний читатель, — писала в книге «Эра подозрения» Саррот, — прежде всего не доверяет тому, что предлагает ему писательская фантазия»^[4]. Дело в том, считает французская романистка, что «за последнее время он слишком много узнал и ему не удастся окончательно выкинуть это из головы. Что именно он узнал, общеизвестно, нет смысла на этом останавливаться. Он познакомился с Джойсом, Прустом и Фрейдом; с сокровенным током внутреннего монолога, с беспредельным многообразием психологической жизни и огромными, почти еще не разведанными областями бессознательного»^[5].

Первые романы Саррот в полной мере отразили присущее всем «новороманистам» недоверие к традиционным формам художественного познания. В них (романах) автор отказывался от привычных клише. Отбрасывая принцип сюжетной организации текста, отходя от классических схем построения системы персонажей, социально детерминированных, заданных нравственными и характерологическими определениями, выводя предельно обезличенных, зачастую обозначенных лишь местоимениями «он», «она» персонажей, Саррот погружала читателя в мир расхожих банальных истин, составляющих основу массового менталитета, под тяжеловесным слоем которых, тем не менее, угадывался глубинный ток универсальной первичной субстанции «тропизмов». В результате возникала предельно достоверная модель человеческого «я», словно бы изначально и неизбежно «зажатого» между двумя мощными пластами стихий, постоянно воздействующих на него: всеобщей материи подсознания — с одной стороны, и внешней социально-бытовой среды — с другой.

Персонажи уже названных книг Саррот — некое анонимное «я», с дотошностью детектива следящее на протяжении всего романа за пожилым господином и его дочерью, пытающееся разгадать тайну их взаимоотношений («Портрет неизвестного»), Мартеро, герой одноименного произведения, и окружающие его люди, поставленные в банальнейшую бытовую ситуацию, связанную с перипетиями покупки дома, Ален Гимье и его жена, вовлеченные в не менее банальную «квартирную» авантюру и пытающиеся завладеть апартаментами своей тетушки («Планетарий»), — вполне могли бы стать участниками привычных романских историй, представленных посредством традиционных жанровых форм: детективного, психологического или социально-бытового романа. Однако Саррот решительно отказывается от проторенных

путей (не случайно в предисловии к «Портрету неизвестного» Жан-Поль Сартр назвал это произведение «антироманом»). События, наполненные истинным драматизмом, не уступающие по своему накалу напряжению ситуаций шекспировских или бальзаковских произведений, разворачиваются для французской романистики прежде всего на ином уровне существования — на уровне микропсихических процессов.

В 60 — 80-е годы появились не менее известные и «нашумевшие» произведения Саррот — романы «Золотые плоды» (1963, русский перевод — 1969), «Между жизнью и смертью» (1968), «Вы слышите их?» (1972, русский перевод — 1983), «Говорят дураки» (1976), а также автобиографическая повесть «Детство» (1983, русский перевод — 1986), в которых автор с поразительным упорством, избегая при этом тематической и прочей монотонности, снова и снова пытается пробиться сквозь поверхностный слой банальной повседневности, сквозь шелуху привычных слов и застывших стереотипов мышления к глубинному слою жизни, к анонимной стихии подсознания с тем, чтобы выделить в ней универсальные микрочастицы психической материи, лежащей в основе всех действий, поступков и устремлений человека.

Роман «Золотые плоды» и повесть «Детство», представленные в настоящем издании, — произведения во многом несхожие и на первый взгляд — словно бы принадлежащие перу разных авторов: они отличны друг от друга в тематическом, жанровом планах и в несравнимо различных степенях личной причастности автора двух произведений к изображаемому.

Однако при более внимательном сопоставлении этих произведений в них очень скоро и безошибочно угадываются общие для всех книг Натали Саррот способы структурной организации текста, специфическая, присущая только ее художественной манере тональность и особая интонационная окрашенность. Да и сам объект художественного исследования в них остается в целом неизменным, хотя при этом поразительно широкой и впечатляющей оказывается шкала творческого потенциала, таящегося в художественной системе Саррот.

Смысловым центром романа «Золотые плоды» является судьба книги с аналогичным названием, принадлежащая перу поначалу никому не известного Жака Брейе. Борьба мнений, разворачивающаяся вокруг нее, отражающаяся в своеобразных «сарротовских» диалогах и внутренних монологах, принадлежащих анонимным, максимально обезличенным персонажам, составляет основной событийный план «Золотых плодов». Необходимо признать, что Саррот довольно беспощадна в своей книге по отношению к читателю. Она лишает его всяческой поддержки, полностью устраняя из текста авторское повествование со спасительными для читающего подсказками, характеристиками и комментариями, задающими определенное восприятие и понимание текста. Читатель «Золотых плодов» оказывается в положении человека, случайно попавшего в самую гущу уличной толпы, которая обсуждает только что случившееся происшествие, и силящегося разобраться в его смысле, напряженно вслушиваясь в хор доносящихся до него голосов, выхватывая из него отдельные фразы и пытаясь по ним восстановить истину. Однако в подобном построении романа, думается, проявляется и высшая степень доверия и уважения автора к своему читателю, получающему от него возможность сотворчества.

Совершенно очевидно, что для Саррот важна не событийная сторона разворачивающихся вокруг книги Брейе дискуссий — о самом романе, его содержании, его достоинствах и недостатках мы так ничего и не узнаем до конца книги. Главная ее цель — создание модели механизма коллективного сознания, функционирующего по законам замкнутого цикла (ибо, опираясь на уже готовые стереотипные представления, оно создает на их основе все новые и новые застывшие понятия-клише) и испытывающего в то же время мощный натиск импульсов, исходящих из сферы подсознания, которые вносят свои коррективы в режим функционирования общественного менталитета.

Модель, представленная Саррот, является чрезвычайно точной и емкой. При всей ее внешней замкнутости и камерности («новый роман» недвусмысленно провозглашал необходимость от отказа познания социальной действительности) она, как мы видим, затрагивает отнюдь не только подспудные слои человеческого существования, но и сферу внешнего бытия. Не случайно в литературно-критических работах, посвященных «Золотым плодам», единодушно отмечается их сатирическое звучание, проявляющееся в очень тонкой передаче процесса формирования литературной моды.

Другая книга Саррот — «Детство» — выводит ее к теме, имеющей богатейшие традиции в мировой литературе, в том числе и в русской (достаточно вспомнить имена Л. Толстого, Бунина, Горького). Опыт соприкосновения с русской культурой, кстати, проявляется на протяжении всего творчества Саррот. В повести «Детство» он в силу самой специфики произведения ощущается особенно отчетливо — и в своеобразной наполненной русскими приметами образности, и в самой содержательной ткани произведения, насыщенной реалиями русской действительности (русские песни и сказки, русская няня, «бесконечные белые равнины», «деревянные избы, белые стволы берез, ели под снегом», «кружево узких резных деревянных наличников» дома в Иванове и многое другое).

Само по себе обращение к автобиографической прозе может показаться неожиданным и нелогичным для Саррот, ибо изображению излюбленного объекта ее художественного исследования — предельно обезличенным универсальным первочастицам психической материи, «тропизмам» — здесь, казалось бы, не может быть найдено места. Более того, погружение в стихию воспоминаний о собственных детских годах неизбежно предполагало движение в сторону временной, личностной, бытовой, исторической конкретизации — движение в сторону тех традиционных литературных форм, которые в свое время были отвергнуты романисткой. Не означало ли все это отказ автора «Детства» от характерных для ее творчества эстетических принципов?

Действительно, в книге Саррот перед нами предельно отчетливо и живо предстает ее главная героиня, Наташа (Ташок, Ташочек) Черняк, ее мать, отец и другие люди, связанные с ее судьбой и выписанные не менее убедительно и достоверно, так, что возникает соблазн заговорить об этой книге, используя привычную терминологию, приложимую к традиционной литературе: реалистичность, жизнеподобие характеров и т. п. Однако и в этой книге Саррот остается верной своему эстетическому кредо. Опыт собственной жизни используется ею прежде всего для постижения общечеловеческих психологических глубин, соприкасающихся с безднами подсознания, из которых поднимаются волны психической энергии, порождающие сложные движения на других уровнях духовной жизни. Правда, в повести «Детство» Саррот в гораздо большей степени, чем в других ее произведениях, интересуется и другое — каким образом происходит взаимодействие всеобщего подсознательного психического слоя с индивидуально-личностным сознанием и какие причудливые образования могут возникать из столкновения этих двух начал.

В книге Саррот есть определенная хронология, но нет хронологически заданного, последовательного повествования. Отдельные при желании хронологически выстраиваемые, но разрозненные жизненные эпизоды повести отражают всплески памяти, памяти ребенка, фиксируемые уже взрослым человеком. Возникающий таким образом жизненный материал оказывается чрезвычайно ценным для дальнейшего исследования Саррот структуры человеческого «я», сложного соотношения внешних проявлений человеческой натуры — на уровне слов, поведения — с ее потаенными первоосновами. Отсюда — и сложность самого процесса воспоминания у Саррот, его психологическая напряженность и неоднозначность, вспышки неуверенности в адекватности перевода образов-воспоминаний на язык слов-понятий

(«Воскресить воспоминания детства...» как-то неловко от этих слов...», «...как там все плывет, меняется, ускользает... ты движешься вслепую, все время нащупываешь, тянешься... к чему? что это такое? это ни на что не похоже... об этом никогда никто не говорит... оно вырывается, ты изо всех сил вцепляешься в него, толкаешь... куда? неважно, лишь бы оно оказалось в благоприятной среде, где разовьется, где, возможно, сумеет жить...»). Отсюда же и необычная манера повествования-диалога с самой собой — постоянная самопроверка на точность и истинность своих суждений и признаний. Этим же объясняется, наконец, и жесткая, правдивая, беспощадная к себе и к другим тональность книги, в которой, используя в качестве своеобразного опытного материала эпизоды своей жизни, Саррот показывает, как из анонимной безликой стихии «тропизмов», словно из первобытного правешества в муках самопознания рождается человеческая личность.

Александр Таганов

Детство

Перевод Л. Зониной и М. Зониной (1986)

Итак, ты действительно сделаешь это? «Воскресить воспоминания детства»... Как-то неловко от этих слов, они тебе не по душе. Но согласишься, только они и подходят. Ты хочешь «воскресить воспоминания»... Не притворяйся, именно так.

— Да, ничего не могу с собой поделать, меня влечет это, сама не знаю почему...

— Потому, возможно... не значит ли... подчас просто не отдаешь себе отчета... Наверное, потому, что силы уходят...

— Нет, не думаю... во всяком случае, я не чувствую...

— И однако, то, что ты хочешь... «воскресить воспоминания»... не значит ли это...

— О, прошу тебя...

— Нет, ты обязана спросить себя — не значит ли это уйти на покой? образумиться? расстаться со стихией, в которой до сих пор худо ли, бедно...

— Вот-вот, худо ли, бедно...

— Возможно, но только в этой стихии ты могла жить... она...

— Да не надо, зачем? я ее знаю.

— Правда? А ты действительно не забыла, как все было там? как там все плывет, меняется, ускользает... ты движешься вслепую, все время нащупываешь, тянешься... к чему? что это такое? это ни на что не похоже... об этом никогда никто не говорит... оно вырывается, ты изо всех сил вцепляешься в него, толкаешь... куда? неважно, лишь бы оно оказалось в благоприятной среде, где разовьется, где, возможно, сумеет жить... Видишь, достаточно только подумать об этом...

— И ты сразу становишься напыщенной. Я бы даже сказала, заносчивой. Уж не от страха ли... Вспомни, он неизменно овладевает тобой, когда ты оказываешься перед чем-то, пока еще бесформенным... То, что осталось от прежних попыток, кажется нам всегда более ценным, чем то, что еще дрожит где-то в неясной дали...

— Вот именно, боюсь, на этот раз не задрожит... или задрожит недостаточно... это закреплено теперь раз и навсегда, стало «яснее ясного» — все уже готово...

— Не беспокойся, голыми руками все равно не возьмешь... все еще только брезжит, об этом не написано, не сказано ни единого слова, все как будто лишь слабо пульсирует... за гранью слов... как обрывки чего-то еще живого... и мне хотелось бы, пока они еще не исчезли... позволь мне...

— Ладно. Молчу... Впрочем, мы-то обе знаем — если уж тебе втемяшится...

Да, и на этот раз, верь не верь, но именно ты побудила меня и давно уже толкаешь на...

— Я?

— Да, ты, своими замечаниями, предостережениями... ты вызываешь это... ты погружаешь меня...

— «Nein, das tust du nicht»... «Нет, ты этого не сделаешь»... вот опять эти слова, они воскресли, они снова живы, они столь же настойчивы, как в то мгновение, давным-давно, когда вошли в меня, они напирают, давят всей своей силой, всем своим мощным весом... и под их нажимом что-то столь же сильное, еще более сильное появляется во мне самой, поднимается, возвышается... слова срываются с языка, выносят это, вколачивают... «Doch, ich werde estun». «А вот и сделаю».

«Nein, das tust du nicht»... «Нет, ты этого не сделаешь»... — слова исходят от фигуры, почти стертой временем... осталось лишь ощущение чьего-то присутствия... присутствия молодой

женщины, сидящей в кресле в салоне гостиницы, где мы с отцом проводим его каникулы, в Швейцарии, в Интерлакене или Беатенберге, мне, должно быть, лет пять или шесть, а молодую женщину наняли заниматься со мной и обучать немецкому... Я плохо различаю ее черты... но отчетливо вижу корзинку для рукоделия у нее на коленях и поверх всего большие стальные ножницы... а я... себя я не могу видеть, но ощущаю, точно делаю это сейчас... хватаю вдруг ножницы, сжимаю их в руке... тяжелые закрытые ножницы... Я протягиваю их вперед острием к спинке канапе, обитого прелестным шелком в разводах, голубого, чуть вялого цвета с блестящим отливом, и говорю по-немецки... «Ich werde es zerreißen»^[6].

— По-немецки... Когда ты успела так хорошо его выучить?

— Сама не понимаю... Но этих слов я с тех пор никогда не произносила...» «Ich werde es zerreißen»... «Сейчас я это разрежу»... в слове «zerreißen» есть что-то свистящее, свирепое, еще секунда — и это произойдет... я разрежу, вспорю, испорчу... это будет посягательством, покушением... преступным... но непокаренным, как это могло бы быть, я знаю, меня не накажут... разве что слегка пожурят, у отца будет недовольный, чуть встревоженный вид... Что ты наделала, Ташок, зачем? и возмущение молодой женщины... но меня еще удерживает страх, более сильный, чем страх маловероятного, малопредставимого наказания, — перед тем, что случится через минуту... необратимое... невозможное... невероятное... то, чего не делают, чего нельзя делать, чего никто себе не позволяет...

«Ich werde es zerreißen»... «Сейчас я это разрежу»... Учтите, я перейду черту, я выскочу за пределы этого пристойного, обжитого, теплого и уютного мира, вырвусь из него, упаду, низвергнусь в нечто необитаемое, в пустоту...

«Сейчас я это разрежу»... Я должна предупредить вас, чтобы дать вам время помешать мне, удержать меня. «Сейчас я это разрежу»... я скажу ей это очень громко... может, она пожмет плечами, наклонит голову, внимательно вглядываясь в свое рукоделие... Не принимать же всерьез ребячьи угрозы, подначки? и мои слова вспорхнут, растают, обмякшая рука опустится, я положу ножницы на место, в корзинку...

Но она поднимает голову, смотрит мне в глаза и говорит, отчеканивая каждый слог: «Nein, das tust du nicht». «Нет, ты этого не сделаешь»... оказывая мягкое, и строгое, и настойчивое, и непрекращаемое давление, нечто вроде того, что впоследствии я ощущала в словах и в интонациях гипнотизеров, дрессировщиков...

«Нет, ты этого не сделаешь...» — эти слова как густая тяжелая струя, то, что она несет в себе, проникает в меня и подавляет все, что шевелится во мне, пытается встать... и под ее давлением восстает, встает еще прочнее, еще выше, толкает и яростно выбрасывает из меня слова... «А вот и сделаю».

«Нет, ты этого не сделаешь...» — слова окружают меня, сжимают, связывают, я отбиваюсь... «А вот и сделаю»... Наконец я освобождаюсь, возбуждение, иступление напрягают мою руку, изо всех сил я вонзаю острие ножниц в шелк, он поддается, разрывается, я рассекаю спинку сверху донизу и смотрю, как оттуда лезет... вываливается из щели что-то дряблое, сероватое...

В этом отеле... или другом таком же швейцарском отеле, где отец опять проводит со мной каникулы, я сижу за столом в светлом зале с широкими оконными проемами, за которыми виднеются лужайки, деревья... Это столовая, где дети принимают пищу под надзором своих бонн и гувернанток.

Все дети сидят на возможно большем отдалении от меня, на другом конце длинного стола... у некоторых из них лица карикатурно искажены огромными раздутыми щеками... Я слышу, как они фыркают от смеха, вижу, как исподтишка бросают на меня насмешливые взгляды, я плохо различаю, но догадываюсь, что шепчут им взрослые: «Ну глотай, глотай, прекрати свою дурацкую игру, не смотри на эту девочку, не смей подражать ей, она несносный ребенок,

ненормальный ребенок, маньячка какая-то...»

— Ты уже знала такие слова...

— О, да... я достаточно наслушалась... Но ни одно из этих слов, таивших в себе смутную угрозу и унижение, никакие уговоры, никакие мольбы не могли заставить меня открыть рот и позволить, чтоб в него вложили кусок пищи, нетерпеливо маячивший на вилке, тут у самых моих стиснутых губ... Когда я, наконец разжимаю их, впуская этот кусок, я тотчас запихиваю его за щеку, уже набитую, раздутую, натянутую... в кладовку, где ему предстоит ждать, когда наступит его черед переместиться к моим зубам и быть жеваным-пережеванным, пока он не станет жидким, как суп...

«Жидкий, как суп» — это слова, произнесенные парижским доктором, доктором Кервили...

— Странно, что его имя сразу же возникает в твоей памяти, когда столько других ты напрасно пытаешься вспомнить...

— Да, я сама не знаю, почему среди множества исчезнувших имен возникает именно его имя... Мама повела меня к нему на осмотр, не помню уж из-за чего, как раз перед моим отъездом к отцу... Выходит, она тогда жила вместе со мной в Париже, — значит, мне не было еще шести...

«Ты слышала, что сказал доктор Кервили? Ты должна жевать пищу до тех пор, пока она не станет жидкой, как суп... Главное, не забывай этого там, без меня, там они этого не знают, там об этом забудут, там не станут обращать внимания, ты сама должна думать об этом, помнить, что я тебе наказала... обещай, что сделаешь это... — Да, я тебе обещаю, мама, не беспокойся, не волнуйся, можешь на меня положиться...» Да, она может быть уверена, я заменю ее подле самой себя, она не расстанется со мной, все будет так, как если бы она была по-прежнему рядом, охраняя меня от опасностей, о которых здесь понятия не имеют, да и откуда им знать? только она может знать, что мне надо, она одна может разобраться, что мне полезно, а что вредно.

Тщетно я талдычу им, втолковываю... «Жидкое, как суп, это доктор, это мама мне сказала, я ей обещала...» Они покачивают головой, усмеваются, не верят... «Хорошо, хорошо, но все же поторопись, глотай...» Да не могу я, одна я здесь это знаю, одна я могу судить... кто же другой может тут решить за меня, позволить мне... ведь еще рано... я жую изо всех сил, уверяю вас, у меня болят скулы, мне неприятно заставлять вас ждать, но что я могу поделать: это еще не «жидкое, как суп»... Они теряют терпение, торопят меня... Какое им дело до того, что она сказала? Она здесь не в счет... здесь никто, кроме меня, с ней не считается...

Теперь, когда я ем, в столовой для детей пусто, я ем до или после остальных... Я подавала им дурной пример, некоторые родители жаловались... ну и пусть... я по-прежнему здесь на своем посту... я оказываю сопротивление... я твердо удерживаю клочки земли, где подняла мамино знамя, где вбила древко ее флага...

— Эти образы, эти слова не могли сложиться тогда в твоей голове...

— Разумеется, нет. Но, впрочем, и в голове взрослого тоже... Я это ощущала, как обычно, вне слов, ощущала вообще... Но эти слова и образы позволяют мне с грехом пополам уловить свои ощущения, удержать их...

Если я уступлю, если проглочу свой кусок раньше, чем он станет жидким, как суп, я совершу нечто, в чем никогда не смогу признаться, когда вернусь туда, к ней... Мне навсегда придется похоронить в себе это предательство, малодушие.

Будь она со мной, я уж давно могла бы не думать об этом и глотать, не жуя, как обычно. А мама, насколько я ее знала, легкомысленная и рассеянная, сама бы, наверное, быстро обо всем забыла... Но ее здесь нет, она мне велела взять это с собой... «Жидкое, как суп...» это я получила от нее... она наказала мне это хранить, и я должна преданно это сберечь, оградить от посягательств... Ну что, оно уже действительно «жидкое, как суп»? Не слишком ли еще твердое?

Нет, правда, мне кажется, я уже могу позволить себе проглотить это... а потом вытащить из-за щеки следующий кусок...

Я сожалею, что так огорчаю своим поведением эту женщину, такую милую и терпеливую, рискуя расстроить отца... но я приехала издалека, из чужого для всех места, куда им нет доступа, они не ведают его законов, которыми там я могу развлечения ради и пренебречь, случается, я их нарушаю, но здесь моя совесть обязывает меня подчиняться им... Я мужественно переношу упреки, насмешки, отлучение, обвинения в том, что я делаю так назло, и тревогу взрослых, которую внушает им мое безумие, и чувство вины. Но все это ерунда в сравнении с тем, что мне предстояло бы испытать, если бы я не сдержала обещания, поправа слова, которые стали священной клятвой, утратила всякое чувство долга, ответственности, повела бы себя как слабый ребенок и все-таки проглотила кусок, прежде чем он станет «жидким, как суп».

И все забылось, стоило только вернуться в Париж, к матери... все снова было овеяно беззаботностью...

— Это исходило от нее.

— Да, в ней всегда присутствовало что-то детское, легкое...

Она воодушевлялась, загоралась, когда разговаривала с мужем и спорила по вечерам с друзьями в квартирке на улице Флаттер, темноватой, обставленной довольно скудно, но она будто и не замечала ничего вокруг, и я тоже ничего не видела, я любила сидеть с ними и просто слушать, мало что понимая, пока их голоса не становились какими-то странными, точно все больше удалялись, и я смутно ощущала, как меня берут на руки, уносят...

Слева, у самых ступенек, которые поднимаются к широкой аллее, ведущей к площади Медичи, у подножия статуи какой-то французской королевы, рядом с огромной деревянной кадкой, выкрашенной в зеленый цвет, где растет апельсиновое дерево... а передо мной круглый бассейн, в нем плавают кораблики, и вокруг него катятся запряженные козами коляски, обитые красным бархатом... и я чувствую спиной тепло ее ноги под длинной юбкой... Мне не удастся услышать ее голос, каким он был в ту пору, но зато я вспоминаю, как ощущала, что она рассказывала скорее даже не мне, а кому-то другому... наверняка одну из тех сказок для детей, которые она сочиняет дома, на больших листах бумаги, покрытых ее крупным почерком, не связывающим буквы между собой, или это сказка, которую она сейчас складывает в голове... слова, адресованные неизвестно кому, все текут... я смогу, если мне захочется, схватить их на лету, а могу и пропустить, от меня ничего не требуют, никого не заботит, слушаю ли я внимательно, понимаю ли... Я могу расслабиться, я отдаюсь во власть этого золотистого света, воркования, щебета, треньканья колокольчиков на голове осят и коз и позвякивания серсо, которое толкают перед собой малыши, еще не умеющие подгонять колесо палочкой...

— Не сердись, но не кажется ли тебе, что тут, со всем этим воркованием и щебетом, ты не удержалась и выстроила кусочек стандартной конструкции... это так заманчиво... все так красиво подогнала в полном соответствии с...

— Да, возможно, я и поддалась немножко...

— Разумеется, как устоять перед таким очарованием... прелестными звуками... воркованием... щебетом...

— Ладно, та права... но уж колокольчики и бубенчики я не уступлю, я их слышу... и еще звук трещотки, шорох красных, розовых, лиловых целлулоидных цветов, крутящихся на ветру...

Я могу бегать, прыгать, крутиться волчком, времени у меня предостаточно... Стена бульвара Пор-Руаяль, вдоль которой мы идем, такая длинная... И только у перекрестка я должна буду остановиться и протянуть руку на переходе... я обгоняю няню, я должна успеть наполнить легкие воздухом и не вдыхать жуткий запах... меня от него сразу тошнит, он исходит от няниных волос, пропитанных уксусом. Тогда я смогу дать ей руку как ни в чем не бывало, не рискуя ее

обидеть... вообще-то она, возможно, и не обиделась бы, она очень милая и простая, она же знает, я не виновата, что не выношу запаха уксуса, но и она тоже не виновата, если эти прогулки на свежем воздухе вызывают у нее головную боль, от которой спасает только уксус... Поэтому мы договорились, что я могу гулять довольно далеко от нее, за исключением, разумеется, переходов...

Вот она приближается, этакая бесформенная масса, на голове сероватый платок, она подходит, протягивает мне руку, я кладу свою руку в ее... мои легкие наполнены воздухом, я могу не дышать... я не дышу, пока мы не ступаем на тротуар по ту сторону проезжей части... тут я сразу отпускаю ее руку и бросаюсь бежать... Но если, на мою беду, мне не хватает воздуха, чтобы продержаться весь переход, все равно я не посмею, конечно, зажать нос рукой... хотя она и разрешила мне это... но я не могу так поступить... я могу только вбирать воздух мелкими вдохами, отвернувшись, но не слишком, иначе она догадается, какое отвращение вызывает во мне... нет, не она, не то, что она есть на самом деле, вовсе не то, что есть в ней, лишь то, что иногда виднеется под ее неплотно прилегающим платком, блестящая и желтоватая кожа ее головы между прядями смоченных уксусом волос.

Ворота Люксембургского сада и хитроумные переходы остаются позади, няня усаживается неподалеку от бассейна спиной к длинному белому фасаду... Я еще не умею определять по большим уличным часам, настало ли уже время поест, но наблюдаю за другими детьми и, стоит первому из них получить свой полдник, кидаюсь к ней... Она уже заметила меня и протягивает мне шоколадку и булочку, я хватаю их, киваю головой в знак благодарности и убегаю...

— И чем же ты занимаешься?

— Ах, не старайся поймать меня... Чем попало, тем же, чем и все дети, которые играют, бегают, пускают кораблики, гоняют серсо, прыгают через веревочки, внезапно замирают на месте и следят остановившимися глазами за другими детьми, за взрослыми, которые сидят на каменных скамьях, на стульях... уставятся в одну точку и стоят неподвижно, разинув рот...

— Может, с тобой это случалось чаще, чем с остальными, может, как-то иначе, по-другому...

— Нет, не думаю... в этом смысле я была такая же, как многие дети... и, наверное, они видели и думали то же самое... во всяком случае, у меня ничего от этого не осталось, и уж не тебе толкать меня на поиски, — чем бы заткнуть, заполнить эту дыру.

Все, что за пределами лучшего, яркого и гулко-го парка, как бы подернуто серой пеленой и выглядит тусклым, словно пожухлым... но никогда не вызывает печали. Даже и то, что осталось у меня в памяти от детского сада... голый двор, окруженный высокой темной оградой, вдоль которой мы шагаем гуськом, в черных фартуках и сабо.

Но вдруг из этого тумана возникает внезапный страх, ужас... я кричу, отбиваюсь... что это? что со мной?

«Тебя приедет навестить бабушка»... говорит мне мама... Бабушка? Папина мама? Неужели? Она правда приедет? Она никогда не приезжает, она живет так далеко... я совсем ее не помню, но чувствую, что она есть, потому что получаю оттуда короткие ласковые письма, шкатулки из мягкого дерева с вырезанными на них красивыми узорами, по углубленным контурам которых можно провести пальцем, разрисованные деревянные площадки, покрытые лаком, к которому так приятно прикоснуться... «Когда она приедет? когда она будет здесь?.. — Завтра после полудня... Ты не пойдешь гулять...»

Я жду ее, подстерегаю, прислушиваюсь к шагам на лестнице... вот, это она, в дверь позвонили, я хочу броситься к ней, но меня удерживают, подожди, сиди на месте... дверь моей комнаты открывается, мужчина и женщина в белых халатах хватают меня, сажают на колени, я отбиваюсь, мне прижимают ко рту, к носу кусок ваты, маску, что-то жуткое, удушающее исходит

от нее, хватает меня за горло, заполняет легкие, ударяет в голову, это — смерть, я умираю... а потом оживаю вновь, я в своей постели, горло жжет, слезы текут, мама их вытирает... «Кисонька, надо было сделать тебе операцию, понимаешь, тебе вырезали что-то тебе мешавшее, нехорошее... спи, все уже прошло...»

— Сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять наконец, что она никогда не пыталась — а если и пыталась, то рассеянно и неумело — поставить себя на твое место...

— Да, что ни говори, это равнодушие и развязность составляли неотделимую часть ее очарования, она просто околдовывала меня... Никогда ни одно слово, с какой бы силой ни было оно произнесено, не пронзало меня так, как некоторые ее слова.

«Если дотронешься до такого столба, ты умрешь...»

— Может, она сказала это как-то по-другому...

— Может... но я слышала именно так. «Если ты дотронешься, ты умрешь...»

Мы гуляем где-то за городом, мама неспешно идет впереди, под руку с Колей... Я отстаю, застыв перед деревянным столбом... «Если ты до него дотронешься, ты умрешь», так сказала мама... Мне хочется дотронуться, я хочу знать, мне очень страшно, я хочу увидеть, как это будет, я протягиваю руку и трогаю пальцем деревянный столб электропередачи... и вот — готово, это произошло, мама знала, мама все знает, это точно, я умерла, я догоняю их, кричу во все горло, прячу голову в мамину юбку, ору до хрипоты: я умерла... Да что с тобой? Я умерла, умерла, умерла, я дотронулась до столба, вот, готово, в этом столбе пряталось самое страшное, самое-пресамое страшное, я до него дотронулась, и оно вселилось в меня, оно — во мне, я катаюсь по земле, чтобы оно из меня вышло, я рыдаю, воплю, я умерла... они берут меня на руки, тормошат, целуют... Да нет же, ничего с тобой не случилось... я дотронулась до столба, мама так сказала... она смеется, они оба смеются, и их смех меня успокаивает...

— На, мама, проглоти, пожалуйста... — Мама, которая сейчас без пенсне, она надевает его, только когда читает, наклоняется низко-низко, чтобы рассмотреть, что лежит в протянутой мною ложке... — Это пыль, я собрала ее для тебя, она вовсе не грязная, не бойся, проглоти... Ты ведь уже так делала...

— Что ты болтаешь? С ума сошла...

— Нет. Ты сама мне сказала, что я именно так и выросла у тебя в животе... потому что ты проглотила пыль... проглоти еще, прошу тебя, сделай это для меня, мне так хочется брата или сестру...

Мама сердится... «Не знаю, что я тебе говорила...»

— Ты мне это сказала. И потом ты сказала, я слышала... ты сказала, что была бы рада иметь еще ребенка... Ну, мама, на, проглоти...

Мама отстраняет мою протянутую руку... — Но это не та пыль...

— Тогда скажи мне, какая нужна пыль?

— Ох, не знаю...

— Знаешь, скажи...

— Вроде той, которая бывает на цветах...

— На цветах? На каких цветах?

— Забыла.

— Ну постарайся, попробуй вспомнить.

— Довольно, не приставай ко мне... Пошла бы лучше поиграла, как все дети, вместо того, чтобы таскаться за мной без дела, ты уже не знаешь, что бы еще такое придумать, разве не видишь, я занята...

Я сижу рядом с мамой в закрытом экипаже, который тянет одна лошадь, мы трясемся по пыльной дороге. Я держу у самого окошка книжку из «Розовой библиотеки»^[7] и пытаюсь

читать, несмотря на толчки, несмотря на строгие замечания мамы: «Перестань, хватит, ты портишь себе глаза...»

Город, куда мы едем, называется Каменец-Подольский. Мы проведем там лето у моего дяди Гриши Шатуновского, маминого брата, он адвокат.

То, к чему мы приближаемся, то, что ждет меня там, включает в себе все необходимое, чтобы составить «прекрасные воспоминания детства»... как раз из тех, что их обладатели обычно демонстрируют с некоторым оттенком гордости. Да и как не гордиться тем, что у вас были родные, которые создали, подготовили для вас эти воспоминания, точь-в-точь соответствующие наиболее высоко ценимым, высоко котирующимся образцам. Признаюсь, мне даже как-то неловко...

— Это вполне понятно... когда прекрасное до такой степени соответствует высшим образцам... Но в конце концов, раз уж тебе посчастливилось и ты владеешь этими воспоминаниями, дай себе волю, тут уж ничего не поделаешь, тебя же тянет...

Но они были созданы не специально для меня, мне просто предоставили их на время, я наслаждалась только крохами...

— Может, именно поэтому они так насыщены... Никакой оскотины... Привыкания...

— Да уж, чего нет, того нет. Все сохранило свое изысканное совершенство: просторный семейный дом, полный укромных закутков, лестничек... «зала», как это в старину именовалось в России, с большим роялем, множеством зеркал, блестящим паркетом, вдоль стен — стулья в белых чехлах... В столовой длинный стол, по торцам которого, друг против друга, сидят, беседуя на расстоянии и улыбаясь, отец и мать, а между ними четверо детей — два мальчика и две девочки... После десерта, когда моя тетя позволяет детям встать из-за стола, они подходят к родителям, чтобы сказать спасибо, целуют им руку, и в ответ их целуют в лоб, в щеку... Мне нравится принимать участие в этой забавной церемонии...

Слуги, как это положено, дружелюбно-непринужденны и преданны... Ничто не нарушает полноты картины... есть даже старая «нянюшка», милая и мягкая, с шалью на плечах, в необъятных юбках... она дает нам на полдник сочные ломти белого хлеба, влажные от густо наложенного на них смоченного водой сахара... и кучер, который греется на солнышке, сидя на скамейке, прислоненной к заборчику во дворе, рядом с конюшней... я люблю вскарабкаться потихоньку на этот забор за его спиной и закрыть ему глаза ладонями... «Угадай, кто я?..

— Я знаю, это ты, озорница»... Я прижимаю к его широкой спине, обнимаю его за шею, вбираю в себя головокружительный запах, исходящий от его кожаного жилета, просторной куртки, напомаженных волос, пота, капельки которого блестят на его дубленой и иссеченной морщинами коже...

И сад... с лужайкой, поросшей высокой травой в дальнем его конце, куда мы всегда уходим играть — Леля, младшая из моих двоюродных сестер, мой ровесница, ее брат Петя и дети соседей, друзей... Мы сжимаем большими и указательным пальцами желтоватые полные стручки не помню уж какого растения, чтобы услышать, как они лопнут, мы сдавливаем большими пальцами обеих рук плоскую острую траву и дуем на нее, чтобы она засвистела... Накрыв голову длинной вуалью из белого муслина, в венке из маргариток, сплетенном няней, держа в руке гладкую палочку, еще чуть влажную, еще зеленоватую и благоухающую только что ободраным деревом, я возглавляю процессию, которая погребает в земле большую черную плоскую косточку арбуза. Она возлежит в открытой коробочке на подстилке из мха... мы хороним ее так, как сказал садовник, поливаем ее из маленькой игрушечной лейки, я машу над землей своей волшебной палочкой и произношу заклинания, состоящие из слогов какого-то варварского смешного языка, которые я потом долго еще помнила, но сейчас мне не удастся их восстановить... Мы будем склонять свои головы перед этой могилкой до того дня, когда,

наконец, возможно, нам выпадет счастье увидеть, как из земли показывается нежный живой росток... В глубине колодца обитает чудовище в панцире, крохотное, но злущее, укус его смертелен, а когда оно вылезает и движется по аллее, есть опасность его не заметить, потому что его цвет сливается с цветом песка...

От лица дяди у меня осталось только ощущение тонкости и мягкости, немного печальной... Мы видим его очень редко, главным образом за едой... он столько работает.

Зато тетю помню очень хорошо, такой, какой она виделась мне, когда я доставляла себе удовольствие разглядывать ее серебристые локоны, розовые щеки, глаза... никогда

больше мне не доводилось видеть голубых глаз с таким ярким сиреневым оттенком... и даже щель между двумя передними зубами, очень белыми, чуть выступающими вперед, только усиливает ее очарование. В ее взгляде, в посадке головы есть что-то... сейчас, чтобы описать это, я не нахожу никакого иного слова, как — горделивое... Мама говорит, что тетя Анюта «настоящая красавица».

Она держит в руке большие круглые часы, указывает пальцем на циферблат и спрашивает меня: если большая стрелка тут, а маленькая там... Не знаешь? Подумай хорошенько... не подсказывай, Леля... Я думаю изо всех сил, я боюсь ошибиться, я неуверенно шепчу ответ, и она широко улыбается, она восклицает: «Хорошо! Очень хорошо!»

Мы, самые маленькие, сидим с ней в коляске с откинутым верхом, запряженной парой лошадей, мы едем за реку, где находятся магазины, где стоит высокая белая башня, окруженная возле самого верха балконом... Даже издали, с нашего берега, я различаю чей-то силуэт, он склоняется над балюстрадой и издает странные звуки, похожие на крики, на пение. Наша коляска переезжает вброд через широкую реку, вода поднимается выше подножки, почти закрывает грудь лошадей, но не надо бояться, с нами ничего не может случиться, кучер хорошо знает дорогу... и вот мы наконец на твердой земле, лошади взбираются на берег, мы рысью катим по белой дороге к кондитерской, к лавкам, где продаются книги, игрушки, туфли... тетя рассматривает мои туфельки, они уже совсем поношенные и скоро станут мне малы... Тебе тоже нужны новые...

В тетиной спальне, очень светлой, бело-голубой, на туалетном столике стоят всякие флаконы. В них духи, одеколон. А вот один пустой, она собирается выбросить его в мусорную корзину, но я не даю... «Пожалуйста, не выбрасывай, дай его мне...»

И вот мы — флакон и я — одни у меня в комнате. Я осторожно поворачиваю его во все стороны, чтобы лучше разглядеть округлые линии, гладкие поверхности, овальную граненую пробку. Сначала уберем то, что тебя уродует... прежде всего, эту гадкую ленточку, которой обвязано твое горлышко... а потом тут, спереди, эту толстую этикетку, желтую и глянцевую... я приподнимаю ее за уголок, я тяну... она легко снимается, но оставляет вместо себя белесый налет, сухой и твердый, который я размягчаю тряпочкой или кусочками ваты, намоченными в кувшине с водой, налет сходит тонкими клочками, скатывающимися под моим пальцем... но оттерлось не все, осталась еле заметная пленочка, которую приходится отскребать карманным ножом, осторожно, чтобы не поцарапать стекло... Наконец флакон освобожден от всего, что его безобразило, обнажен и готов к омовению. Я наполняю его водой, встряхиваю, чтобы хорошо отмыть, чтобы не осталось ни малейшего следа от того, что в нем было, я намыливаю его и прополаскиваю в тазу. Потом вытираю своим полотенцем и, когда он уже совсем сухой, принимаюсь полировать его углом своего одеяла или шерстяными вещами, чтобы он заблестел. Теперь он предстает во всей своей ослепительной чистоте... Я протягиваю его к окну, подставляю свету, выношу в сад, чтобы он засверкал на солнце... Вечером созерцаю его под лампой... Нам ничто не угрожает, никто не собирается отнять его у меня, Лелю занимают только ее куклы, Петя скользит по нему равнодушным взглядом.

Теперь у меня уже несколько флаконов, все они разные, но каждый по-своему великолепен. Целая коллекция выстраивается на моем камине, никто, кроме меня самой, — это мне обещано — не вправе до нее дотронуться.

Если я беру один из флаконов с собой, я его во что-нибудь заворачиваю, не хочу, чтобы его могли коснуться чужие взгляды, легкомысленные слова.

— Странно, стоило тебе уехать — и увлечение флаконами прошло.

— Да, правда, я не взяла с собой ни одного. Может, потому, что перестала играть с ними, когда болела... какой-то неопасной, но заразной болезнью... ветрянкой? краснухой? Я лежу в своей кровати, у стены, в глубине своей комнаты, слегка затемненной большим деревом, дверь ее ведет в мамину спальню, и я понимаю, что у меня высокая температура, понимаю потому, что они здесь... они непременно находятся здесь, когда мое тело и голова пылают!., маленькие человечки, высыпавшие из мешков песок, песок течет во все стороны и всюду проникает, а они все сыплут и сыплут, и не знаю почему меня так пугают горы песка и суета этих гномов, я хочу остановить их, хочу закричать, но они меня не слышат, мне не удастся закричать по-настоящему.

Когда температура упала, мне разрешили садиться в кровати... горничная, присланная тетей, убирает в комнате, перестилает постель, моет меня, причесывает, поит и кормит... Мама тоже здесь, но я вижу ее только сидящей за столом, она пишет на огромных белых листах, которые нумерует большими цифрами, покрывает своим крупным, размашистым почерком и бросает их на пол, когда исписывает их. Или мама сидит в кресле и читает...

— Будь справедлива, бывало и так, что во время болезни она присаживалась с книгой у твоей кровати.

— Да, случалось, и не со своей книгой, а с моей... я вспоминаю ее, я хорошо ее знала... Это была «Хижина Дяди Тома», детское издание. Большая книга в картонном переплете, с сероватыми гравюрами. На одной из них Элиза перескакивала с льдины на льдину со своим ребенком на руках. На другой — умирал дядя Том, а рядом, на соседней странице, описывалась его смерть. Обе они были слегка покороблены, буквы стерлись... так часто капали на них мои слезы...

Мама читает мне своим низким голосом, без всякого выражения... слова выходят твердые и четкие... временами у меня создается впечатление, что она не думает о том, что читает... когда я говорю ей, что хочу спать или что я устала, она сразу закрывает книгу, мне кажется, она это делает с облегчением...

— Ты и вправду тогда это чувствовала?

Думаю, да, я это ощущала, но не судила ее... Разве не естественно, что детская книжка не интересует взрослую женщину, которая любит трудные книги? Только потом, когда я встала с постели и могла уже спуститься в сад...

— Здесь кончаются «прекрасные воспоминания», по поводу которых ты так угрызалась... слишком уж они «соответствовали образцам»...

— Да, они очень скоро обрели преимущество быть единственными в своем роде... Я стою в своей комнате, еще не твердо держась на ногах, и слышу через приоткрытую дверь, как мама говорит кому-то: «Подумать только, я все время сидела здесь взаперти с Наташей, и никому даже в голову не пришло меня подменить». Но то, что я почувствовала в ту минуту, быстро стерлось из памяти...

— Скорее ушло вглубь...

— Возможно... во всяком случае, достаточно глубоко, чтобы я ничего не замечала. Хватает жеста, ласкового слова мамы, или попросту, чтобы я увидела, как она сидит в своем кресле, читает, поднимает удивленно голову, когда я подхожу и что-то говорю ей, она смотрит на меня сквозь свой лорнет, стекла увеличивают ее лучистые карие глаза, они кажутся огромными,

полными наивности, невинности, добродушия... и я прижимаюсь к ней, прижимаю губами к тонкой и шелковистой коже, такой нежной на лбу, на щеках.

Точно в какой-то просвет выныривает из серебряного тумана всегда одна и та же улица, покрытая толстым слоем снега, белого-пребелого, на нем нет ни следов, ни колеи, и я иду по этой улице вдоль забора, который выше меня и сбит из тонких деревянных досок, заостренных на конце...

— Это я и предсказывала: неизменно один и тот же образ, неколебимый, запечатлевшийся раз и навсегда.

Да, правда. А вот другой, неизменно возникающий при слове «Иваново»... это длинный деревянный дом, множество окон по фасаду, каждое увенчано кружевом узких резных деревянных наличников... огромные сосульки гроздьями свисают с крыши, сверкают на солнце... двор перед домом покрыт снегом... Ни одна деталь никогда не меняется. Напрасно я ищу, точно в «игре в ошибки», я не нахожу даже ничтожнейшего различия.

— Вот видишь...

— Да... но это сильнее меня, мне хочется ощупать, погладить, облечь этот застывший образ словами, но без нажима, я так боюсь повредить его... И пусть они проникнут сюда, внутрь дома, в эту большую комнату с ослепительно белыми стенами... сверкающим паркетом, по которому разбросаны яркие ковры... диваны, кресла покрыты ситцевыми чехлами в цветочек... разнообразные растения в больших горшках... в окнах между двойными рамами проложен слой белой ваты, припудренной серебряными блестками. Ни один дом на свете никогда не казался мне таким красивым. Настоящий дом из рождественской сказки... и к тому же — дом, где я родилась.

— И однако, что-то мешает ему существовать среди «прекрасных воспоминаний детства», а дом твоего дяди имел на это право.

— Знаю, что — отсутствие мамы. Она не появляется там никогда, ни на мгновение.

— Она бы появилась, будь у тебя, как у других, дар сохранять воспоминания, уходящие очень глубоко... у некоторых — чуть ли не до рождения на свет...

— Да, но в этом смысле мне не повезло... у меня не осталось ничего от того, что предшествовало моему отъезду из Иванова в возрасте двух лет, и ничего от самого этого отъезда, ничего ни от папы, ни от мамы, ни от Коли, с которым мы с мамой, как я узнала уже потом, уехали сначала в Женеву, потом в Париж.

Но в этом доме отсутствует не только мама. Из всех, кто там всегда находился, когда я время от времени возвращалась туда на несколько недель, я вижу только отца... его прямой и тонкий силуэт, всегда словно чуть напряженный... он сидит на краешке дивана, я у него на коленях, лицом к высоким окнам, полностью скрытым белыми тюлевыми занавесками. Он учит меня, как их сосчитать... Может ли это быть? но я ясно помню... я считаю до десяти, потом — еще одно, последнее, с ним — одиннадцать...

Я стою перед ним, между его расставленными ногами, мои плечи на уровне его колен... я перечисляю дни недели... понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... а потом опять понедельник, вторник... «Хватит, ты теперь знаешь их... — А что потом? — Потом все начинается сначала... — Всегда одинаково? И до каких пор? — Всегда. — Даже если я буду повторять снова и снова? Целый день? Если буду повторять всю ночь? снова будет возвращаться понедельник, вторник, и так всегда? — Всегда, глупышка...» Его рука скользит по моей голове, я чувствую, как из него исходит что-то, что он держит в себе на запоре, что он не любит показывать, но здесь, я чувствую, это проникло в его руку, которую он быстро отнимает, в его глаза, в его голос, произносящий уменьшительные имена, которые он один образует из моего имени — Ташок или уменьшительное от этого уменьшительного: Ташочек... и еще одно

смешное имя, которое он мне дал, — Пигалица... когда я спрашиваю его, что это такое, он отвечает, что так называется маленькая птичка.

Мне нравится проводить рукой по его худым, немного шершавым щекам, зажимать кожу между пальцами и оттягивать ее, щекотать ему затылок... он ласково отталкивает меня... или иногда, когда он совсем этого не ждет, чмокнуть его в самое ухо и глядеть, как он, оглушенный, засовывает в ухо палец, шевелит им там, трясет головой... Делает вид, будто рассердился... «Что за дурацкая игра...»

Он часто говорит со мной по-французски... Мне кажется, он говорит прекрасно, только вот «р» раскатывает, я хочу научить его... Послушай, как я произношу «Пари»... Прислушайся, «Пари»... ну, а теперь произнеси, как я... «Пари»... да нет же, не так... он забавно копирует меня, нарочито утрируя, точно он ободрал себе горло... «Паррри»... Он отвечает мне тем же — учит произносить русское «р»: я должна прижать к небу, потом распрямить кончик поднятого языка... но напрасно я стараюсь... А, вот видишь, теперь у тебя не получается... и мы смеемся, мы любим весело подтрунивать друг над другом...

Везде я вижу только отца. Теперь мне кажется, что все предметы вокруг нас — в руках невидимых существ.

Ложка, осторожно описывая круг по самому краешку, где не так горячо, набирает вкусную манную кашу на молоке, широко расплывшуюся по тарелке... ложка поднимается к моему рту, чтобы я подула...

Ложка, полная клубничного варенья, приближается к моим губам... я отворачиваюсь, не хочу больше... какое оно противное, я не узнаю его... что с ним случилось? что-то примешалось к его обычному приятному вкусу... что-то гадкое проскользнуло и притаилось в нем... меня тошнит от него. «Мне не нравится, это не настоящее клубничное варенье. — Нет, настоящее, посмотри сама»... Я внимательно разглядываю тонкий слой варенья, размазанного по блюдечку... ягоды и правда те же, что и всегда, только чуть светлее, не такие красные или темно-розовые, как обычно, но на них и между ними какие-то подозрительные белесые разводы... «Нет, посмотрите, там что-то есть... — Ничего там нет, тебе кажется...» Когда отец приходит домой, я рассказываю ему, что не захотела есть это варенье... оно нехорошее, я его рассмотрела: в нем какие-то белые разводы, белые точки, и вкус противный... это не клубничное варенье... Он смотрит на меня, минуту колеблется, потом говорит: «Это настоящее клубничное варенье, а то, что ты видела, — каломель, в варенье подмешали немного каломели, надеялись, что ты ничего не заметишь, я знаю, ты ненавидишь каломель, но тебе обязательно нужно принимать ее...»

То чуть тревожное ощущение чего-то омерзительного, исподтишка внесенного, скрытого в том, что очень вкусно, так и не покинуло меня и даже теперь иногда возвращается, когда я кладу в рот ложку клубничного варенья.

Отец велел утрамбовать для меня во дворе, против дома, снежную горку. Я вскарабкиваюсь на нее по отлогому склону и съезжаю с крутого на санках... снова карабкаюсь и снова спускаюсь, без усталости, лицо мое горит, из ноздрей, изо рта валит пар, всем своим существом я вбираю в себя морозный воздух.

Я получила в подарок огромную книгу в переплете, совсем тоненькую, я люблю листать ее, люблю слушать, когда мне читают, что написано рядом с картинками... но, осторожнее, сейчас будет та, которой я боюсь, самая страшная... Тощий человек с длинным острым носом, в зеленом фраке с отлетающими фалдами потрясает раскрытыми ножницами, он вонзит их сейчас прямо в живое тело, хлынет кровь... «Я не могу на него смотреть, надо его убрать... — Хочешь, вырвем страницу? — Жалко, книжка такая красивая. — Ну хорошо, мы спрячем эту картинку... склеим страницы». Теперь я больше ее не вижу, но знаю, что она все еще здесь, взаперти... вот она приближается, она прячется тут, где страница стала толще... нужно побыстрее перелистнуть,

перескочить, прежде, чем это успеет коснуться меня, влезть в меня... вот, уже начинается, вот ножницы, врезающиеся в тело, крупные капли крови... но, готово, все позади, все скрывается следующей картинкой.

В рисунках к моей самой любимой книжке «Макс и Мориц», где такие смешные стихи, которые я знаю наизусть и люблю читать вслух, меня ничто не пугает, даже когда я вижу гадких озорников скрученными и лежащими на противне, они уже приготовлены и сейчас их сунут в духовку и зажарят, как молочных поросят...

— Ты уверена, что эта картинка в «Максе и Морице»? Может, проверишь на всякий случай?

— Нет, зачем? Ясно, что она связана в моих воспоминаниях с этой книжкой и что сохранилось в неприкосновенности чувство боязни, которое она мне внушала, чувство страха, но не настоящего страха, а так, только чтобы позабавиться.

Из коричневой бумажной обертки высвобождают большую картонную коробку, снимаю крышку, шелковую бумагу, под ней лежит с закрытыми глазами огромная кукла... у нее темные локоны, веки окаймлены густыми и длинными ресницами... это она, я узнаю ее, это ее я видела в Париже в большой освещенной витрине, я так долго смотрела на нее... Она сидела в кресле, а возле ее ног была картонная табличка с надписью: «Я умею говорить»... Ее осторожно вынимают из коробки... когда ее приподнимают, глаза открываются... когда она поворачивает голову в одну сторону, потом в другую, внутри нее раздается какой-то звук... «Слышишь? она разговаривает, она произносит «папа, мама»... — Да, похоже, она говорит именно это... а что еще? — Она слишком маленькая, хорошо, она хоть это умеет... Не бойся, возьми ее в руки».

Я осторожно беру ее и кладу на диван, чтобы лучше разглядеть... Ничего не скажешь, она очень красивая... на ней платье из белого тюля, шелковый голубой пояс, голубые туфли и носки, большой голубой бант в "волосах... «Можно ее раздеть?.. — Конечно... можно даже сшить ей другую одежду... тогда ты сможешь менять ей платье, переодевать, если захочешь... — Да, я рада...

— Я крепко целую папу... — Ну, это именно та, которую ты хотела? — Да, это она...» Нас оставляют наедине, чтобы мы могли ближе познакомиться. Я не отхожу от нее, я ее укладываю, поднимаю, заставляю ее повернуть голову и сказать «папа, мама». Но мне с ней как-то не по себе. И это ощущение не проходит. У меня никогда не возникает желания поиграть с ней... Она очень твердая, слишком гладкая, движения ее однообразны, и, чтобы заставить ее сделать что-нибудь, надо всегда одинаково поднимать и опускать ее ноги и руки, чуть согнутые, приделанные к жесткому телу. Я предпочитаю ей старых тряпичных, набитых опилками кукол, которые у меня с незапамятных времен, не то чтоб я так уж их любила, но с их немного дряблыми, разболтанными телами можно не церемониться, сжимать, тискать, бросать...

Но по-настоящему родной мне только Мишка, мой плюшевый медведь, шелковистый, теплый, приятный, мягкий, весь какой-то домашний. Он всегда спит со мной. Его голова в золотистой шерстке, уши торчком, лежит возле меня на подушке, добрая круглая морда с черным носом и черными блестящими глазками высовывается из-под одеяла... я ни за что не заснула бы, не чувствуя его рядом, около себя, я никуда не уезжаю без него, он сопровождает меня во всех моих путешествиях.

Меня привезли за папой на его «фабрику», где он работает весь день... я прохожу через большой грязный двор, потом через бараке земляным полом, мне приходится перепрыгивать через ручейки и лужи — синие, желтые, красные... между бочками и тележками ходят бородатые люди в картузах и высоких сапогах... запах тут не такой тошнотворный, как запах уксуса, но я все же стараюсь почти не дышать, настолько он неприятный, острый, кислый... Я вхожу в длинную светлую комнату, где стоит несколько длинных столов, а на них видны ряды деревянных подставок с пробирками, наполненными порошками, яркими, как лужи во дворе, —

красными, синими, желтыми... жидкости такого же красивого цвета подогреваются в колбах, подвешенных над язычком пламени... папа стоит перед одним из столов, на нем длинный белый халат, он держит в руках колбу, потихоньку покачивая ее над огнем, потом поднимает ее и рассматривает на свет. Он ставит ее на подставку, наклоняется, обнимает меня, целует и ведет в соседнюю комнату, усаживает, подложив толстые книги, в свое кресло перед письменным столом. Он придвигает мне большие счеты и говорит... «На, поиграй пока... я скоро». Я двигаю, поднимаю и опускаю желтые и черные деревянные шарики по металлическим стержням, на которые они нанизаны, но это неинтересно, я не знаю, как в это играть... жду не дождусь, когда придет папа... вот он наконец уже без халата, в черной шубе и меховой шапке, у него радостное лицо... «Видишь, как я быстро».

А вот он на широкой заснеженной площади, я знаю, что это площадь в Москве, он выходит из большого магазина, где продают вкусные вещи, в руках у него пакеты, завернутые в белую бумагу, перевязанные ленточками... Я люблю, когда он такой... его черная шуба с выдровым воротником небрежно распахнута, так что виден высокий приставной воротничок белой рубашки, меховая шапка чуть сдвинута на затылок... он улыбается, не знаю почему... на его оживленном лице, еще более энергичном, чем всегда, выделяется, сверкает четкая, правильная, очень белая линия зубов.

Он подходит к саням, где дожидаясь его я, закутанная до самых глаз, прикрывая кожаной полстью... он отстегивает полсть с одной стороны, кладет пакеты мне под ноги и проскальзывает ко мне за исполинской спиной кучера, облаченного с толстый тулуп.

Мы в московской квартире отца. Посередине комнаты стоит большая рождественская елка. На этот раз я смутно различаю красивую белокурую молодую женщину, она любит смеяться и играть... я протягиваю ей какие-то пакетики, предметы, игрушки, лежащие на полу возле елки, позолоченные орехи, красные крымские яблочки, а она привязывает их к веткам красными ленточками, золотыми и серебряными нитями...

А потом в передней квартиры — дети, наши гости, которые разъезжаются после праздника... они сидят, с них снимают туфли и ищут повсюду, под скамьями, находят и натягивают на их протянутые ноги валенки.

Я лежу в маленькой комнате, устроенной для меня в этой же квартире, моя кровать придвинута к стене, покрытой соломенной циновкой с цветными узорами. Я всегда ложусь на бок, лицом к ней, мне нравится поглаживать пальцем ее гладкое плетенье, смотреть на нежно-золотистую окраску, шелковистые переливы вышитых птиц, деревьев, цветов... Не знаю почему, но здесь я боюсь оставаться вечерами одна в комнате, и папа соглашается побыть возле меня, пока я усну... Он сидит на стуле за моей спиной и поет мне старую колыбельную... у него низкий нетвердый голос, чуть охрипший... петь он не умеет, и от этой неловкости то, что он поет, кажется еще более трогательным... я слышу его сейчас так отчетливо, что могу даже подражать ему, и, признаюсь, со мной иногда такое случается... в этой песенке он заменяет слова «дитя мое» моим ласкательным именем, оно подходит по ритму — Ташочек мой. Мало-помалу я начинаю дремать, голос его становится все более далеким... потом я слышу тихий звук у себя за спиной, наверное, папа встает, он думает, что я уже сплю, он собирается уйти... я тотчас высовываю руку из-под одеяла, чтобы показать ему, что все еще не сплю... или до меня доносится скрип паркета под его медленными осторожными шагами... сейчас он тихонечко отворит дверь... тогда я покашливаю, что-то бурчу... но ничего не говорю, боюсь окончательно проснуться, а я хочу спать, хочу, чтобы он мог уйти, мне неловко его удерживать...

— Так ли это? А тебе не кажется, что когда ты ощущала его присутствие, его взгляд, прикованный к тебе, когда он, напевая все тише и тише, на цыпочках направлялся к двери, в последний раз оборачиваясь, чтобы поглядеть на тебя и убедиться, что ты ничего не

подозреваешь, открывал дверь, затворял ее за собой с невероятной осторожностью и, наконец, освобожденный, спасался бегством... не думаешь ли ты, что высовывать руку, покашливать, бурчать тебя заставляло желание помешать тому, что уже исподволь зрело, что должно было произойти и в чем уже тогда был заключен для тебя привкус тайного предательства, разрыва?

Да, нельзя не признать, все, казалось, шло к тому, чтобы у меня возникло такое чувство... Но я пытаюсь вновь увидеть себя там, в кровати, когда я прислушивалась, как отец поднимается, идет к двери... я высовываю руку, бурчу... нет, еще рано, не уходи, мне станет страшно, ты обещал, мы договорились, что ты побудешь со мной, пока я не усну, я стараюсь изо всех сил, у меня скоро получится, ты увидишь, я не буду ничего говорить, не буду все время ворочаться, я просто хочу показать тебе, раз уж мы уговорились, раз заключили между собой соглашение, я знаю, ты не хочешь его нарушать, и я тоже, видишь, я его соблюдаю, я подаю знак... ты же не хочешь, чтобы мне было страшно... останься еще ненадолго, я чувствую, сон приближается, и все будет хорошо, я уже ничего не почувствую, и ты сможешь спокойно оставить меня, уйти...

Коляска останавливается перед крыльцом большого деревянного дома, папа выпрастывает меня из одеял, в которые я закутана, берет на руки, я совсем маленькая, на мне белое бархатное пальтишко, такое красивое, что мне говорят, что я в нем «просто куколка», он несет меня, быстро взбегая по ступенькам, и передает дедушке и бабушке, которые оба тут, перед дверью, в длинных белых ночных рубашках... Папа разгневанно говорит... «Я же вас предупредил, я просил вас не вставать с постели, это безумие»...

Я настолько ошеломлена его тоном, что застываю, не отвечаю, как мне хотелось бы, на их поцелуи, на нежные слова. А они как будто не в обиде на папу... Может, они слишком слабые, чтобы защитить себя, они такие милые, такие старенькие... Как он мог так рассердиться, так резко говорить с ними? Едва мы остаемся с ним наедине, я тотчас спрашиваю его об этом... «Ты был такой злой... — Да нет, глупышка, я боялся, они простудятся... семь часов утра! в ночных рубашках! Они могли нас дожидаться в постели, я написал им... — Но зачем же говорить так сердито... — Ничего подобного, вовсе не сердито... — Ты кричал... — Чтобы они побыстрее вошли в дом, они плохо слышат... Я не хотел, чтобы они простыли... — А они знают, что это поэтому? — Конечно, знают. Ты бы лучше подумала о чем-нибудь другом...»

И в самом деле было бы лучше. Может, я тогда сохранила бы что-то еще от этого единственного пребывания у дедушки и бабушки... но эта минута так меня потрясла, полностью взяла верх над всеми другими, только она и осталась.

Я гуляю с отцом... точнее, он гуляет со мной — ежедневно, когда приезжает в Париж. Не помню, каким образом мы встречаемся... должно быть, кто-то привозит меня в его гостиницу или в какое-то условное место... И речи быть не может, чтобы он зашел за мной на улицу Флаттер. Я никогда не видела их вместе, не могу даже представить себе, чтоб они встретились, он и мама...

Мы вошли в Люксембургский сад через ворота, напротив Сената, и направляемся налево, туда, где гиньоль, качели, карусели...

Все кругом серое, воздух, небо аллеи, широкие ошипанные газоны, обнаженные ветви деревьев. По-моему, мы молчим. Во всяком случае, из всего, что могло быть произнесено, я вспоминаю только эти слова, которые до сих пор отчетливо слышу: «А ты любишь меня, папа?»... Я говорю это без всякого опасения, скорее с каким-то лукавством... не может быть, чтобы я задала ему этот вопрос с серьезным видом, я могла употребить слова «ты любишь меня» только смеха ради... Он не выносит таких слов, да еще в устах ребенка...

— Ты на самом деле чувствовала это уже в таком возрасте?

— Да, и довольно отчетливо, может быть, отчетливее, чем почувствовала бы теперь... дети ощущают подобное даже острее, чем взрослые.

Я знала, что слова вроде «ты любишь меня», «я люблю тебя» заставляли его сжаться, отступить, затаить еще глубже то, что было погребено... И правда, на его хмуром лице, в его голосе — неодобрение... «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» по-прежнему, как бы забавляясь... потому что меня это забавляет, и еще я боюсь, как бы он не оттолкнул меня: «Не болтай глупости»... я настаиваю: «Ты любишь меня, скажи? — Ты сама знаешь... — Но я хочу, чтобы ты сказал. Скажи, папа, ты любишь меня или нет?»... на этот раз действительно, с пафосом, и он, предчувствуя, что за этим последует, вынужден выжать из себя, только подчиняясь правилам игры, смеха ради... эти нелепые, непристойные слова: «Ну конечно, дурашка, я тебя люблю».

Теперь он получает награду за согласие включиться в мою игру... «Ну раз ты меня любишь, ты мне подаришь...» видишь, у меня и в мыслях не было вынудить тебя полностью раскрыться, выставить на показ то, что тебя наполняет, что ты сдерживаешь, чему ты позволяешь выскальзывать наружу только обрывками, толчками, ты сможешь все это хоть немного выпустить наружу... «Ты подаришь мне какой-нибудь из тех шаров... — Каких шаров?.. — Да вон же, в киоске...»

Я довольна, мне удалось немного подразнить его, а потом успокоить... и получить в награду, унести с собой свой красивый трофей, синий и блестящий, плывущий над моей головой на длинной нитке, привязанной к моему запястью.

Теперь я уже достаточно большая, меня не обязательно усаживать в коляску, я могу оседлать желтого льва, нет, лучше розового поросенка... или нет, того красивого белого жирафа... Левой рукой я вцепилась в медные поручни, к которым меня привязали поясом за талию, а в правой держу деревянную ручку, гладкую и круглую, на которой закреплен длинный металлический стержень...

Начинает играть музыка, мы трогаемся... главное, внимательно следить за тем, чтобы стержень был протянут в нужном направлении, через несколько минут мы проедем перед кольцом... вот оно висит, тихонько покачиваясь в воздухе... оно приближается... я совсем рядом, пора... я протягиваю к нему стержень, я целюсь прямо в него, в самый центр... готово, я слышу металлический звук, но это всего лишь звук от соприкосновения с кольцом, я его не подцепила, а оно уже позади, мы продолжаем вращаться... ну и пусть, я попробую еще раз... И на следующем повороте снова...

— Ну постарайся, вспомни... иногда же все-таки получалось...

— Да, конечно, потому что я вспоминаю о двух-трех кольцах, которые я, уходя, кладу на прилавок... Но разве можно сравнить это с успехами других детей, не старше меня, а иногда и совсем маленьких, они так здорово их подцепляют... к концу нашего пути кольца, нанизанные у них на стержень, иногда доходят почти до верхушки... Я беру постный сахар, мне все-таки его дают, выслушиваю утешения и советы взрослых... «Понимаешь, ты чересчур напрягаешься, не надо, ты же видела, как делают другие дети... шутя...» Да, мне очень хотелось бы суметь как они, легко, непринужденно, беспечно... Почему же я не могу? Ну стоит ли огорчаться?.. действительно, не велика беда... Может, в следующий раз... если я постараюсь как следует... Когда я вижу издали зеленое ограждение вокруг карусели и ее разноцветные фигуры, которые скользят и кружатся, когда я слышу пришепывающую музыку, мне трудно удержаться и не ринуться к ней, я тороплю взрослых... «Ты правда хочешь пойти туда? — Да, очень хочу...»

«Милая подушечка над моей головкой, с перышками белыми ты ко мне пришла...» — декламируя, я слышу свой голосок, который нарочно делаю пронзительнее, чем он есть на самом деле, чтобы он был как у совсем маленькой девочки, и подчеркиваю простоватость своих интонаций... я прекрасно понимаю, до какой степени фальшива, смешна эта имитация младенческой невинности, наивности, но слишком поздно, я поддалась, я не осмелилась оказать

сопротивления, когда меня взяли под мышки и поставили на стул, чтобы я была лучше видна... если бы я осталась на полу, меня трудно было бы разглядеть, моя голова еле высывается из-за длинного стола, за которым справа и слева от новобрачной, одетой во все белое, сидят люди, они смотрят на меня и ждут... меня толкнули, и я увязла в этом голосе, в этом тоне, и отступить уже некуда, я вынуждена двигаться вперед, я ряженая, этаким младенцем, глупышкой, вот я приближаюсь к месту, где надо обезьянничать, изображая ужас, я округляю губы, широко открываю глаза, мой голос повышается, дрожит... «... Когда боишься волка, ветра и грозы...», а сейчас — нежное простодушное волнение... «Милая подушечка, как мне сладко спится на тебе...» — я прохожу до конца этот путь покорности и отвратительного отречения от самой себя, настоящей, какой ощущаешь себя на самом деле, щеки мои горят, когда меня снимают со стула, и я, по собственному желанию, делаю книксен, как послушная и хорошо воспитанная девочка, и поскорее убегаю, чтобы спрятаться... подле кого? что я там делала?.. кто привел меня туда?.. под одобрительный смех, веселые, умиленные возгласы, громкие хлопки...

И еще одно название, почему-то застрявшее в голове: улица Буассонад. Сюда, в большую светлую комнату на первом этаже, я пришла уж не помню как, повидаться с папой... он сидит, все такой же худой и прямой, на диванчике, а я сижу рядом с ним... В стене против нас открывается дверь, входит молодая женщина... я уже видела ее, но это не та, с которой мы в Москве украшали рождественскую елку, а другая, с каштановыми волосами, я увидела ее только здесь, с папой... она появляется переодетая в юношу... на ней папин костюм, а на голове — его котелок, под который она упрятала свой шиньон, но колечки волос выбиваются ей на щеки, на затылок... глаза у нее светло-голубые, словно прозрачные... мы удивленно смотрим на нее, мы смеемся — до чего она забавна в этом одеянии, до чего же оно ей идет... она подходит ко мне, склоняется передо мной, как склоняются перед дамами на балу, берет за руку, я встаю, она держит меня за талию и кружится со мной, напевая прелестные, веселые, заразные мелодии, она кружится все быстрее и быстрее, она поднимает меня, мои ноги уже не касаются пола, голова кружится, я смеюсь от восторга... наконец она подводит меня к дивану, отпускает, валит на диван и сама валится возле нас с папой, грудь ее вздымается, круглые, как у ребенка, щеки порозовели, она откидывает голову назад, на спинку дивана, и обмахивается носовым платком, еще чуть задыхаясь, улыбаясь... Мне не терпится, чтобы она закружила меня снова.

Почему так хочется снова оживить все это, хотя нет слов, которые могли бы уловить, задержать, пусть хоть на несколько мгновений, то, что выпало мне... как маленьким пастушкам являются небесные виденья... но только здесь нет ни святого явления, ни благочестивого ребенка...

Я сидела все там же, в Люксембургском саду, на скамье в английском парке, между отцом и молодой женщиной, которая танцевала со мной в большой светлой комнате на улице Буассонад. Рядом с нами на скамье или у кого-нибудь из них на коленях лежала большая книга в переплете... Мне кажется, то были «Сказки» Андерсена...

Мне только что прочли отрывок... Я глядела на цветущие шпалеры вдоль невысокой ограды из розового кирпича, на деревья в цвету, на ярко-зеленую лужайку, усеянную маргаритками, белыми и розовыми лепестками, небо, разумеется, было голубым, и воздух, казалось, слегка дрожал... и в этот момент произошло... что-то неповторимое... что никогда уже не вернется именно таким же, ощущение столь властное, что и сейчас, когда по прошествии стольких лет оно возвращается ко мне, приглушенное, почти стершееся, я испытываю... но что? какое слово может уловить это? не расплывчатое вроде «счастья», которое подворачивается первым, нет, не оно... «блаженство», «восторг» — слишком уж уродливы, нет, пусть даже не прикасаются... а «экстаз»... перед этим словом все съеживается... «Радость», да, быть может... это скромное, простенькое слово может и прикоснуться... опасность невелика... но оно не способно объять то,

что меня наполняет, разливается по мне, перехлестывает через край, и сейчас затеряется, растворится в розовых кирпичах, цветущих шпалерах, лужайке, розовых и белых лепестках, в дрожащем воздухе, по которому пробегает едва уловимый трепет, волны... волны жизни, просто жизни, другого слова не подберешь... жизни как таковой, ничем не омраченной, ничем не замутненной, достигающей вдруг своей наивысшей полноты... такая полнота из ничего уже никогда не повторится, только потому что все это есть, и я вся в этом, в невысокой розовой ограде, в цветах шпалер, деревьев, в лужайке, в дрожащем воздухе... я — в них, без остатка, ничего, чего нет в них, нет и во мне.

На этой широкой улице, окаймленной с одной стороны высокими, окрашенными в светлые тона домами, с другой стороны — садами, на этой улице, столь непохожей на улицу Флаттер, живут теперь мама и Коля.

В подъезде, внизу и на ступеньках лестницы, — толстый красный ковер, слева в стене — лифт, как в гостиницах. И так же, как в гостиницах — консьерж, облаченный в красивый фрак с позументами, на голове у него цилиндр... он помогает поднять наверх мои чемоданы.

Я вхожу в большую светлую комнату, где мама и Коля целуют меня, отстраняют от себя, чтобы получше рассмотреть... «Как прекрасно ты выглядишь, как ты выросла... и какое красивое у тебя пальто... ну-ка повернись, дай поглядеть на тебя»... пальто и в самом деле очень красивое, темно-синее, с воротником и отделкой из синего бархата, на руках у меня кожаные перчатки... В Париже папе, присевшему передо мной на корточки на тротуаре прямо у выхода из магазина, стоило немалого труда натянуть их на мои напряженные и растопыренные пальцы, но перчатки растянулись, как обещала продавщица, и теперь кнопка застегивается легко, не защемляя и не морща мне кожу на запястье.

Справа от большой комнаты будет моя спальня. В самой глубине напротив окна стоят кровать и тумбочка. Такое ощущение, будто за двойными стеклами здесь тянется ледяное пространство... не снег, сверкающий на солнце, как в Иванове, не маленькие дома, темные и стиснутые, как в Париже... повсюду — прозрачный, отливающий голубизной лед. И свет здесь серебристо-серый. Город, куда я приехала, называется Петербург.

Няня, которая живет с нами здесь, совсем молодая, ее лицо с бесцветной кожей, с бесцветными губами, глазами — очень ласковое. Зовут ее Гаша. Она каждый день гуляет со мной в сквере, поблизости от дома, или в большом саду, который я помню, только с заиндевелыми деревьями и покрытыми ледяной коркой, сверкающими в серебристом свете лужайками...

Мы любим выходить на широкий проспект, на который ведет наша улица, чтобы разглядывать витрины магазинов. Здесь витрины забраны в коричневые рамы, а в больших буквах, написанных белым по стеклу, есть что-то немножко неуклюжее, немножко угловатое... Почти в каждом доме крутая лестница спускается в подвал, где обычно размещается лавка или кафе.

Мы с Гашей любим подолгу созерцать витрины обувного магазина, она — черные лакированные туфли на высоком каблуке, в самом деле очень красивые, она права, а я — черные лакированные детские туфельки, каблуки у которых чуть выше моих, почти как у взрослых...

Часто вечерами, когда мама и Коля уходят, мы играем в игру, подаренную мне здесь, — «Квартет писателей». Она похожа на домашние игры, в которые я играла в Париже. Поскольку для нее необходимо четверо участников, Гаша и вторая прислуга... помню только, что она была, больше ничего... приглашают свою подружку, работающую в том же доме.

На белых карточках портрет какого-нибудь писателя, под ним выведено красными буквами его имя. Ниже, черным, — названия четырех его произведений. Мы — мои партнеры и я — все умеем читать, и нам очень интересно.

Мы сидим за квадратным столом посреди кухни, освещенной висячей керосиновой лампой, стены темные, почти всегда немного запотелые. Мне кажется иногда, что коричневая поверхность одной из дверей оживает, слегка шевелится... сначала я пугалась, но мне объяснили, что это копошатся тараканы, которыми усижена дверь... они не кусаются и никуда оттуда не денутся... Никто не обращает на них внимания, и вскоре у меня тоже, как и у всех остальных, возникает ощущение, что они — неотъемлемая часть дома. В кухне так приятно тепло.

Мы раздаем карточки, потом бросаем кости, чтобы определить, кто начинает, и та, кому выпал жребий, обращается к одной из партнерш: дай мне Тургенева ~ «Отцы и дети». Та протягивает карточку. А теперь более уверенно: ты дашь мне еще Тургенева — «Записки охотника»... Торжествуя: у меня их нет. Теперь, Гаша, ты дай мне Толстого, «Анну Каренину». Спасибо. Аты, Наташа, «Крейцерову сонату». Спасибо... и еще дай мне... — У меня нет... так что верни мне... И так далее от потерь к победам... Только возвращение родителей положит конец нашей игре... Мама добродушно ворчит на нас, она сама любит эту игру, она нас понимает... «Но это же безумство, уже полночь, хорошенький у тебя вид будет завтра... — Но завтра я же могу встать поздно».

— Да, кстати, почему ты не ходила в школу, как в Париже?

— Не знаю. Смутно припоминаю веселую классную комнату, украшенную зелеными растениями, куда я некоторое время ходила, и толстую девочку с забавной фамилией, состоящей из слов «пчела» и «мед»... И еще, что нас учили писать левой рукой так же, как правой. Я написала об этом папе. Он ответил, что считает это пустой тратой времени. Больше я не ходила ни в эту школу, ни в какую-либо другую.

— Почему?

— Честное слово, никак не могу вспомнить... Может, здесь просто не хотели, чтобы это выглядело уступкой отцу. Но в эту пору такое подозрение никак не могло прийти мне в голову. По-моему, я уже говорила: я не задавала себе подобных вопросов.

И мать была для меня всегда, точно так же как отец, выше, вне всяких подозрений.

Я чувствовала исходящие от Коли, от его округлых щек, близоруких глаз, пухлых рук, добродушие и мягкость... Мне нравилось восхищение, почти преклонение, с которыми он иногда смотрел на маму, его доброжелательный взгляд, обращенный на меня, смех — его ничего не стоило рассмешить. Если в каком-нибудь споре с мамой он хотел выразить свое несогласие, то употреблял всегда одни и те же выражения: «Ах, оставь, пожалуйста»... или: «Вовсе не так, ничего подобного»... произнося это с милым нетерпением, без подлинного недовольства, без тени агрессивности. Я не очень улавливала, о чем они говорили, но мне кажется, чаще всего они обсуждали писателей, книги... случалось, я узнавала названия книг из своего «Квартета».

То, что струилось между Колей и мамой, какое-то теплое течение, лучистый ток, прикасалось, точно волнами, и ко мне...

— И все-таки однажды... Помнишь?

— Но я эта почувствовала много позже... ты отлично знаешь, что в ту минуту...

— Ну, даже в ту минуту... Доказательство тому — слова, оставшиеся у тебя навсегда, слова... поговорка, которую ты слышала тогда, один-единственный раз...

По ту сторону замерзшей Невы, среди дворцов с белыми колоннами, с фасадами, выкрашенными в нежные цвета, был дом, построенный из одной воды, скованной морозом — ледяной дом.

Его возвело мое бесконечное восхищение одной книжкой...

— И он был совсем не похож на тот мрачный «Ледяной дом», который ты могла прочесть лишь много позже, в издании для взрослых.

— На этот дом я не могла смотреть... Мне хотелось сохранить мой... Он остался для меня

таким, каким возник впервые, приютившийся в сердце этого города, среди этих зим, как сгусток их голубой прозрачности, снежного блеска... Его толстые ледяные стены, квадратные оконные стекла из тончайшего слоя льда, его балконы, колонны, статуи, напоминающие драгоценные камни — они цвета сапфира, опала... А внутри вся мебель, столы, стулья, кровати, подушки, одеяла, занавеси, ковры, все мелочи, какие бывают в настоящих домах, вся посуда, все — даже поленья в каминах — ледяное.

Ночью бесчисленные свечи загораются в ледяных и не тающих подсвечниках, канделябрах, люстрах... совершенно прозрачный дом, кажется, пылает изнутри... Раскаленная ледяная глыба...

— Его воздвигли по прихоти царя... такого же царя, как тот, что живет во дворце на огромной белой площади...

Когда Гаша говорит о нем, она понижает голос, словно пропитанный почтением... мне трудно представить себе, что царь похож на обычных людей... даже тело у него, наверное, другое... «А он должен мыться? Его надо намыливать? — Ну, конечно...

— Значит, он может испачкаться? — Да, но только он-то любит быть чистым... — А у него, у него тоже есть такая дырочка посреди живота? И бывает, что там внутри что-то чешется?»

Все хохочут вокруг меня в жарко натопленной кухне, посреди которой я стою в большой деревянной шайке, а Гаша поворачивает меня в разные стороны, намыливает, ополаскивает.

— Примерно в то время в твою жизнь входит, чтобы никогда уже не исчезнуть из нее, еще одна книга: «Принц и нищий».

— Мне кажется, ни одну книгу своего детства я не прожила так, как прожила эту.

— Даже когда была Дэвидом Копперфильдом или героем книги «Без семьи»?

— Даже тогда. Я жила их жизнью, как и многие другие дети, но они не оставили во мне таких глубоких следов... как два глубоких следа, проложенных еще двумя образами, и только ими...

Образом маленького принца, облаченного в лохмотья, поднятого на большую бочку, с жестяной миской вместо короны и железным прутом в руке... а вокруг него в красном свете... поистине в свете ада... человеческие существа с омерзительными телами, со зловещими лицами... Он протестует, он кричит, что он — Эдвард, наследный принц, их будущий король, это точно, это чистая правда... А они ухмыляются, они хохочут, они его поносят, делают вид, что поклоняются ему, умоляют его, падают перед ним, словно издеваясь, на колени, причудливо паясничая, отвешивают поклоны...

И еще Том, нищий мальчик, двойник принца, одетый в его платье, запертый вместо него в королевском дворце... Он один, он оторван от родных, окружен чужими людьми, слугами, важными вельможами... лица их непроницаемы, их глаза, затянутые плотной пеленой почтения, не отрываются от него... Они с затаенной тревогой следят за каждым его движением... Вот один приближается к нему и подает золотую чашу с водой, в которой плавают лепестки роз... Том не знает, что с ней делать. Наконец он решается: берет чашу в руки, приподнимает и подносит ко рту воду, в которой должен был ополоснуть пальцы.

Любопытно, что все остальное из этой читаной-перечитанной книги стерлось из памяти, все, кроме двух образов, оставшихся навсегда такими же яркими, неизменными.

Мне трудно выбрать книги — их приносят мама и Коля или присылают по почте, — они лежат повсюду, во всех комнатах, на шкафах, столах и стульях, даже на полу... тонкие, чуть потолще и совсем толстые...

Я рассматриваю вновь прибывшие, думаю, сколько мне придется потратить сил и времени на каждую из них... Наконец, выбираю одну, усаживаюсь, разворачиваю на коленях, сжимаю в руке широкий нож из сероватого рога и принимаюсь... Прежде всего костяным ножом, который я держу горизонтально, разделяю сверху четыре страницы, соединенные попарно, затем опускаю

его, веду вверх, он проскальзывает между двумя страницами, соединенными теперь уже только сбоку... потом идут «легкие» страницы: сбоку они разделены, их приходится разрезать только сверху. И снова четыре «трудных»... потом четыре «легких», потом четыре «трудных», и так снова и снова, все быстрее и быстрее, рука у меня устает, голова тяжелеет, гудит, даже кружится... «Хватит, милая, достаточно, разве у тебя нет более интересного занятия? Я сама разрежу, когда буду читать, мне это нетрудно, я делаю это машинально...»

Но не может быть и речи, чтоб я не довела дела до конца, Я разве только позволяю себе, чтобы не было так скучно и меньше мутилось в голове, несколько вариантов: сначала заняться только «трудными» страницами, пропуская «легкие»... их я оставляю «на закуску». Или наоборот, начать с легких, а закончить трудными. Или же разными способами браться за страницы, число которых я стану варьировать по собственному желанию... например, три листа, где «трудные» и «легкие» будут чередоваться... пять, где я займусь сначала только «легкими»...

Раз уж я впряглась в этот воз, оставить его я не могу. Мне совершенно необходимо достичь того момента, когда, разрезав все страницы распухшей, разбухшей книги, я смогу закрыть ее, прижать, чтобы страницы выровнялись, и со спокойной совестью положить на место.

Мама торопит, мягко мне выговаривает... «Не заставляй же просить себя, это так невежливо, нехорошо, ступай, сходи за ним, покажи...» И присутствие этого Господина, сидящего против света, спиной к окну, его внимательное молчание, его ожидание тоже давят на меня, подталкивают... но я знаю, что не должна этого делать, не надо, мне не следует уступать, я сопротивляюсь изо всех сил... «Подумай, какой пустяк, только для забавы... право, пустяк... — Не стесняйся... Знаете, то, что она пишет, — настоящий длинный роман...» Господин...

— Кто это был? Хорошо бы вспомнить.

— Нет, не получается... Быть может, Короленко, если судить по уважению, по симпатии к нему, которые я ощущала в маме... она печаталась в его журнале, постоянно с ним общалась, и они с Колей часто о нем говорили... Но дело не в имени. Это уважение, эта симпатия еще усилили, сделали неодолимым давление слов, которые он произнес, совершенно тем же тоном, каким сказал бы взрослому человеку: «Это правда очень интересно. Ты должна мне показать...» И тут... с кем такого не случилось? кто осмелится утверждать, будто ему незнакомо чувство, когда, зная наперед, к чему это приведет, что произойдет, страшась этого... тем не менее идешь навстречу...

— Можно даже сказать — хочешь этого, добиваешься...

— Да, оно будто притягивает... странное влечение...

Я пошла к себе в комнату, вынула из ящика стола толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке, принесла ее и протянула Господину...

— «Дяде», должна бы ты сказать, потому что в России дети называют взрослых мужчин «дядя»...

— Ладно, пусть так, «дядя» открыл тетрадь на первой странице... неуклюжие буквы, написанные красными чернилами, неровные строчки — вверх, вниз... Он быстро пробегает по ним, перелистывает дальше, время от времени задерживается... У него удивленное лицо... у него недовольное лицо... он закрывает тетрадь, возвращает ее мне и говорит: «Прежде, чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию...»

Я унесла тетрадь к себе в комнату, не знаю, что я с нею сделала, во всяком случае, она исчезла, больше я не писала ни строчки...

— Это один из тех редких эпизодов твоего детства, о которых тебе случалось говорить много лет спустя...

— Да, чтобы ответить, чтобы объяснить тем, кто меня спрашивал, почему я так долго выжидала, прежде чем начать «писать»... Это было так удобно, вряд ли можно найти что-нибудь

более убедительное — такая великолепная «травма детства»...

— Сама-то ты в это верила?

— Да, все-таки верила... уступая. Из лени. Ведь ты прекрасно знаешь, до последнего времени у меня не возникало никакого желания восстановить события моего детства. Но теперь, когда я стараюсь воскресить как могу эти мгновения, больше всего меня удивляет, что в общем в них нет ни обиды, ни озлобления против «дяди».

— А должно быть, однако... Он был так груб...

— Конечно. Но обида, наверное, быстро улетучилась, и поэтому мне удастся вспомнить прежде всего чувство избавления... нечто похожее испытываешь после какой-нибудь операции — прижигания, удаления, это очень болезненно, но необходимо, благотворно...

— Вряд ли ты так воспринимала это тогда...

— Конечно, нет. Я не могла относиться к этому так, как сейчас, когда заставляю себя сделать усилие... на которое не была тогда способна... когда пытаюсь углубиться, добраться, ухватить, вылущить то, что осталось там погребенным.

Я у себя в комнате, сижу за столиком перед окном. Я пишу слова, обмакивая перо в красные чернила... я прекрасно понимаю, что они не такие, как настоящие слова в книгах... они будто изуродованы, слегка покалечены... Вот одно, расхлябанное, неуверенное, я должна его поставить... может, здесь... нет, там... сама не знаю... должно быть, я все-таки ошиблась... что-то оно не очень вяжется с другими, со словами, живущими вовне... я отправилась за ними далеко и притащила к себе, но не знаю, что им подходит, мне неведомы их привычки...

У моих домашних слов, слов надежных, хорошо мне знакомых, которые я расставляю то тут, то там, среди всех этих чужаков, какой-то неловкий, принужденный, немножко смешной вид... точно у людей, перенесенных в незнакомую страну, в общество, чьи обычаи им неведомы, и они не понимают, как себя вести, даже не понимают, кто они на самом деле.

Я тоже запуталась, блуждаю в краю, где никогда не жила... мне совсем незнаком этот бледный юноша со светлыми кудрями, лежащий подле окна с видом на горы Кавказа... Он кашляет, и на платке, который он подносит к губам, — кровь... Ему не дожить до первых дуновений весны... Никогда, ни на мгновение я не была близка с этой кавказской княжной в красной бархатной шапочке с длинной белой вуалью... Она похищена джигитом, затянутым в черную черкеску... газыри оттопыриваются на его груди... я пытаюсь догнать беглецов, когда они мчатся на скакуне... «огневом»... я накидываю на него это слово... слово, в котором ощущаю что-то странное, немного тревожное, но ничего не поделаешь... огневой скакун несет их через ущелья, теснины... они шепчут любовные клятвы... только это им сейчас и нужно... она прижимается к нему... ее черные волосы под белой вуалью ниспадают волной до осиной талии...

Мне не слишком уютно рядом с ними, они смущают меня... но пусть будет так, я должна принять их возможно лучше, они должны жить здесь... в романе... в моем романе, я пишу роман, и я тоже должна остаться с ними здесь... мне не уйти от этого юноши, который умрет весной, от княжны, похищенной джигитом... и еще от этой старой колдуньи с седыми свисающими космами, с крючковатыми пальцами, которая, сидя у огня, предсказывает им... и от всех других, возникающих передо мной...

Я тянусь к ним... я пытаюсь с помощью своих слабых, сомневающихся слов придвинуться к ним ближе, совсем близко, пощупать их, ухватить... Но они негнущиеся, гладкие, отполированные... точно вырезанные из блестящего листового металла... как я ни стараюсь, ничего не выходит, они остаются все такими же, их скользкие поверхности мерцают, искрятся... они точно заколдованы.

И меня тоже будто сглазили, заморозили, я заперта здесь с ними, в этом романе, мне никак не выбраться из него...

И вот эти волшебные слова... «Прежде, чем приниматься за писание романа, следует выучить орфографию»... рушат чары и освобождают меня.

Как я ни сжимаюсь, ни сворачиваюсь в клубочек, ни прячусь с головой под одеяло, страх, страх, равного которому я, по-моему, больше никогда не испытывала, проникает, просачивается в меня... Он идет оттуда... мне нет нужды и смотреть вокруг, я чувствую, что он здесь, повсюду... он окрашивает свет в свой зеленоватый оттенок... я знаю — это он, тот путь меж остроконечных, несгибающихся темных деревьев с мертвенно-бледными стволами... это он — вереница призраков, облаченных в длинные белые одеяния, приближающаяся мрачной чередой к серым плитам... он колеблется в пламени высоких тусклых свечей у них в руках... распространяется вокруг, наполняет комнату... Я хотела бы удрать от него, но мне не хватает храбрости пересечь налитое им пространство, отделяющее мою кровать от двери.

Наконец мне удается на миг высунуть голову из-под одеяла и подать голос... Приходят... «Ну, что еще? — Забыли накрыть картину. — Действительно... Сумасшедший ребенок... — Берут первую попавшуюся тряпку — полотенце, что-то из одежды — и набрасывают на раму... — Ну вот, теперь ничего не видно... Ты больше не боишься? — Нет, не боюсь». Я могу растянуться в постели, положить голову на подушку, расслабиться... Могу смотреть на стену слева от окна... Страх исчез.

Кто-то из взрослых с непринужденным, беззаботным видом, с бесстрастным взглядом фокусника одним мановением руки прогнал его.

Какая она красивая... я не могу оторваться, я крепче сжимаю мамину руку, я удерживаю ее, чтобы остаться тут еще на несколько минут, чтобы подольше рассматривать эту голову в витрине... созерцать ее...

— Трудно восстановить, чем именно заворожила тебя эта кукла из парикмахерской.

Да, что-то не выходит. Я вижу только ее лицо, довольно расплывчатое, гладкое и розовое... лучащееся... словно освещенное изнутри... и еще гордый изгиб ноздрей, губ, приподнимающихся в уголках... Я помню только свое восхищение... все в ней было красиво. Красота заключалась именно в ней. Именно это значило быть красивой.

Я ощущаю внезапно какое-то смущение, легкую боль... будто где-то внутри себя я обо что-то ударилась, что-то меня задело... оно вырисовывается, принимает форму... форму очень четкую: «Она красивее мамы».

— Откуда это вдруг?

— Мне случалось позднее думать об этой минуте, и долгое время мне было достаточно...

— Признайся, если и случалось, то нечасто...

— Да, правда. И я никогда долго на этом не задерживалась... я смутно представляла себе, что важность, которую я, казалось, придавала понятию «красота», исходила скорее всего от мамы. Кто, кроме нее, мог мне это привить? Я была под таким сильным ее влиянием... Она, вероятно, подвела меня к этому... ничего не требуя... она, конечно, склонила меня — так, что я не отдавала себе в этом отчета — считать ее очень красивой, несравненной красавицей... Отсюда и мое смущение, неловкость...

Но теперь, как я ни стараюсь, мне не удастся уловить никаких маминых рассуждений о «красоте», разве что по поводу моей тети: «Анюта — настоящая красавица», или еще в разговоре об одной приятельнице, имя и лицо которой совершенно стерлись из моей памяти. «Она очень красивая», — но неизменно в тоне спокойной констатации. Безразлично. Как о чем-то ее не касающемся.

Я не могу сейчас воскресить в своей памяти, как она глядится в зеркало, пудрится... только быстрый взгляд, который она бросала вскользь на свое отражение, и торопливый жест, чтобы заправить прядь, выбившуюся из прически, воткнуть в пучок торчащую шпильку.

Ее, казалось, вовсе не заботила внешность... она была как бы вонне... Вне всего этого.

— Да. Или далеко...

— Вот-вот — далеко. Вдали от каких бы то ни было возможных сравнений. Ни хвала, ни хула словно не могли ее затронуть. Такой она мне виделась.

Глядя на нее, я часто находила ее очаровательной и думала, что так же видят ее и многие другие, иногда я ловила это в глазах прохожих, лавочников, друзей и, разумеется, Коли. Мне нравились черты ее лица — тонкие, легкие, словно размытые... не нахожу другого слова... под золотистой, розовеющей кожей, мягкой и шелковистой на ощупь, шелковистой шелка, теплее и нежнее перышек птенчика, его пуха... В изгибе, идущем от ее слегка выпуклых век к скулам, довольно высоким, была та чистота, та непорочность, которая отличает иногда эту линию у детей. Глаза у нее, того же золотисто-карего оттенка, что и гладкие, шелковистые волосы, были небольшие, чуть неправильной формы... Когда что-нибудь ее удивляло, одна из бровей, мне кажется — левая, поднималась выше другой, напоминая по форме перевернутую галочку. Взгляд у мамы был какой-то необычный... иногда твердый и жесткий, а иногда — живой, наивный... Часто как бы отсутствующий...

— Может, потому, что она плохо видела...

— Да нет, в ней действительно была некая отрешенность, которая делала ее временами совсем недоступной. Даже для Коли... и это его раздражало... «О чем ты думаешь? Ты не слушаешь...»

Так или иначе, сейчас я ясно вижу, что никогда не задавалась вопросом, красива ли мама. Мне и теперь непонятно, что побудило меня в тот день завладеть этим «она красивая», так ловко упрятым в кукле из парикмахерской, казалось, специально для нее сотворенным, и перенести это нечто, попробовать насадить его и на мамину голову. Я, впрочем, не сохранила никаких воспоминаний об этой операции, хотя, очевидно, и осуществила ее... осталось только сопровождавшее ее чувство неловкости, легкой боли и последний ее этап, завершение, когда я увидела... и как не увидеть?.., это бросается в глаза, это бесспорно, это именно так. Она красивее мамы.

Теперь, когда оно уже во мне, и речи быть не может, чтоб я утаила его от мамы, я не могу так от нее отдалиться, замкнуться, запереться наедине с этим, я не могу нести все одна, это ведь ее, это наше общее достояние... если я скрою это, зажав в себе, оно вырастет, отяжелеет, будет давить все сильнее и сильнее, мне необходимо открыться ей, я просто покажу ей... как показываю царапину, занозу, шишку... посмотри, мама, что тут у меня, что я себе сделала... «Я считаю, что она красивее тебя»... и мама наклонится, подует, похлопает, подумаешь, пустяки какие, право, и вытащит осторожно, как занозу, или приложит монету, вынув ее из сумки, как к шишке, чтобы она не росла... «Ну и что, глупышка, конечно, она красивее меня...» и это перестанет причинять мне боль, исчезнет, мы пойдем дальше, держась за руки...

Но мама отпускает мою руку или сжимает ее не так крепко, она смотрит на меня недовольно и произносит: «Ребенок, который любит свою мать, не может считать, что кто-то красивее ее».

Не помню, как мы вернулись домой... может, мы молчали, а может, даже продолжали разговаривать как ни в чем не бывало. Я несла в себе то, что она в меня заронила... хорошо упакованный сверток... И только дома, когда я останусь одна, я разверну его, чтобы рассмотреть, что там внутри...

— Вот из-за этой своей привычки никогда сразу не открывать такие свертки, а выжидать, когда можно будет на свободе изучить их содержимое, и получается, возможно, что парировать ты вовремя не умеешь, что ты «задним умом крепка».

— Безусловно. Но в данном случае, будь я даже скоро на язык, вряд ли можно было тогда

парировать такой удар...

— Вполне вероятно, что она просто неточно выразилась. Она наверняка хотела сказать: «Ребенок, который любит свою мать, никогда ее ни с кем не сравнивает».

— Вот именно, — ребенок, который любит свою мать, не наблюдает ее со стороны, ему не приходит в голову ее судить...

— Ее, видимо, раздосадовало и то, что ты извлекла ее оттуда, где она находилась... вне, вдалеке... и втокнула туда, где сравнивают, сопоставляют, определяют место... она ни с кем не мерилась и нигде не хотела иметь предназначенное именно ей место.

— Нет, различить такое я была не способна, слова, которые она употребила, все замаскировали. Она сказала: «Ребенок, который любит свою мать, не может считать, что кто-то красивее ее». И именно эти слова звучали в моих ушах, они засели во мне... Ребенок. Просто ребенок. Да, один ребенок среди многих, ребенок, как все другие дети. Ребенок, полный чувств, которые есть у всех нормальных детей, ребенок, который любит свою мать... Какой ребенок не любит свою мать? Где такое видано? Нигде. Это был бы не ребенок, а чудовище. Или она была бы не настоящей матерью, а мачехой. Следовательно, ребенок, такой, как все дети, такой, какими должны быть все дети, любит свою мать. И в таком случае считает ее красивей всех на свете. Именно любовь заставляет его видеть свою мать такой красивой... самой красивой... А я, это очевидно, ее не люблю, коль считаю, что кукла из парикмахерской красивее.

Но разве такое возможно? И так ли это? Действительно ли я в конечном итоге считаю... В самом ли деле она красивее? Правда, красивее? Надо рассмотреть еще раз... Я вызываю в памяти розовое, лучащееся лицо куклы... разглядываю каждую его черточку в отдельности... ничего не поделаешь, это не в моей власти, в ней нет ничего, что не было бы красивым, это и значит — быть красивой... а мама... я хорошо вижу ее тонкое лицо, шелковистую, золотистую кожу... то, что излучает ее взгляд... но нет никакой возможности не увидеть, что уши у нее недостаточно маленькие, мочки слишком длинные, линия губ слишком прямая, глаза небольшие, ресницы довольно короткие, волосы прямые... «красивая» прилегает к маме не повсюду, неплотно, вот здесь отстает, и тут тоже, как ни старайся, ничего не поделаешь, это бросается в глаза: мама не такая красивая.

Теперь эта мысль засела во мне, и уже не в моей власти ее изгнать. Я могу через силу оттеснить ее на второй план, заместить ее другой мыслью, но только ненадолго... она здесь, забила в угол и готова в любую минуту выскочить, разметать все перед собой, захватить все пространство... Кажется, что, отталкивая, чересчур сжимая ее, только увеличиваешь этот напор. Она доказательство, символ того, что есть я: ребенок, который не любит свою мать. Ребенок, который несет в себе нечто отделяющее, отстраняющее его от прочих детей... детей легких, беспечных, которые смеются, кричат, бегают друг с другом наперегонки, скажут в саду, в сквере... а я — в стороне. Наедине с тем, о чем никто не догадывается, во что никто, даже узнай он об этом, не смог бы поверить.

Я уже не пытаюсь бороться, снова и снова представлять себе лицо в витрине, сравнивать его с маминым... я знаю — это только укрепляет во мне мысль...

К тому же кукла сама по себе стерлась из памяти, унося с собой мысль, которую вызвала... Но место тотчас было занято... другая подобная же мысль заместила ее. Возможно, именно она, моя новая мысль, и вытеснила ее...

Меня уже не полнят, как прежде, как всех других, настоящих детей, живые, быстрые, прозрачные воды, подобные водам горных рек, стремительных потоков, теперь это стоячие, грязные, затхлые воды прудов... рассадник комаров. Можешь не твердить, что тогда я была не способна на подобные образы... во всяком случае, они довольно точно передают то, что я ощущала в своем жалком состоянии.

Мысли налетают, когда им вздумается, и кусают, гляди, вон, летит... крохотное жало впивается, мне больно... «У мамы кожа как у обезьяны».

Вот какие они теперь, мои мысли, — позволяют себе все, что им вздумается. Я гляжу на мамино декольте, на ее обнаженные, золотистые, загорелые руки, и вдруг во мне какой-то чертик, лукавый бесенок, что-то вроде «домового», выкидывающего всякие шутки, выпаливает прямо в меня: «У мамы кожа как у обезьяны». Я хочу все стереть, уничтожить... неправда, я так не думаю... это подумала не я. Но ничего не поделаешь, шерсть обезьяны, которую я видела в клетке зоологического сада, сама не знаю как расположилась на маминой шее, руках, и вот родилась эта мысль... мне от нее больно...

Я зову маму на помощь, она должна мне помочь... «Знаешь, мама, мне пришла теперь другая мысль... — У нее тотчас делается раздраженный вид... — Ну, что еще? — Понимаешь, я думаю... что у тебя... кожа как у обезьяны...» Сейчас она посмотрит, что у меня там, что во мне выросло помимо моего желания, мы посмотрим вместе... как смешно, нелепо... над этим можно только посмеяться, она расхохочется своим заразительным смехом, от которого я всегда тоже начинаю хохотать, и мы обе посмеемся, и мысль уйдет туда, откуда пришла... туда, где родилась... куда-то вне меня, в неведомое мне место... Или мама скажет: «Ну что ж, я в восторге. Помнишь, какими прелестными были эти обезьянки».

— Ты это придумала сейчас...

— Разумеется... но я ждала, не представляя себе, чего именно, чего-то подобного... что сразу принесло бы мне облегчение... А мама презрительно смеется и говорит: «Что ж, благодарю тебя... как любезно, дальше некуда...» Думаю, я никогда — ни до, ни даже после этого — не ощущала себя такой одинокой. Мне неоткуда и не от кого было ожидать помощи... Отдана без всякой защиты на произвол «мыслей». Им есть где разгуляться, они могут вытворять все что угодно — резвиться, аукаться и призывать к себе мысли другие... все они неопровержимо доказывали собой, своим присутствием, что я не тот ребенок, который любит свою мать. Что я не такая, какими должны быть дети.

Зло сидит во мне. Зло избрало меня, потому что находило во мне необходимую пищу. Оно никогда не могло бы жить в здоровой и чистой душе, которой обладают нормальные дети.

Когда я сижу надувшись где-нибудь в углу и мама спрашивает меня... но, может, я нарочно выставляю напоказ свое настроение, чтобы она это заметила и спросила... «Ну что еще? Почему ты не играешь? Не читаешь?»

Я отвечаю только... но уж и это приносит облегчение: «У меня мои мысли».

Как говорят: «У меня мои болячки, у меня моя мигрень», но с той разницей, что это болезнь постыдная, болезнь тайная, известная ей одной. Ни с кем другим этим секретом не поделишься.

Я уже не припомню всех этих безумных, нелепых мыслей, селившихся во мне... разве что последнюю, которая, к счастью, появилась совсем незадолго до моего отъезда, моего расставания с матерью, резко положившего конец тому, что, разрастаясь, грозило превратиться в настоящую манию...

Последняя моя мысль намного превосходила все остальные своей жестокостью... Должно быть, она протиснулась в меня как-то вечером, когда я сидела на кухне, играя, наверное, как всегда, в квартет писателей. Я услышала, как Гаша сказала, не называя имени: «Она»... а я знала, что Гашино «она» обозначает маму... «Она» очень хорошая в общем-то, никогда не кричит, вежливая, да и насчет еды нельзя пожаловаться, только вот мясо... «ты видела эти куски?...» и потом они втроем заговорили о чем-то другом, и слова Гаши просто прошли через мою голову, не оставив заметного следа... Но вот за столом, когда Гаша протянула, как всегда, свою тарелку маме, чтобы та положила на нее мясо, предназначавшееся для «кухни», я увидела... я не посмела поднять глаза на Гашу, я боялась перехватить ее взгляд, направленный на тарелку, куда мама

клала... да, да именно так... куски были меньше остальных, на них было больше сала... И тотчас возникла «мысль»: мама Гашу плохо кормит... а Гаша такая бледная... и вообще прислугу...

Но такую мысль я уже не посмела бы открыть даже маме, Я уже не могу, если она спросит, ответить: у меня опять мои мысли... в надежде, что она окажется в хорошем настроении и скажет мне: ну, какие, скажи? и я смогла бы ей показать... Она удивилась бы: кто тебе это внушил? Она бы заподозрила, даже если бы я скрыла... а я не могу ничего скрыть от мамы... она поняла бы, что это Гаша...

И, как всегда, мне недостает сил признать и принять правду. Наши обеды, когда мама выбирает из разрезанного мяса куски для прислуги, превращаются в пытку. «Мама скупая». «Мама неблагодарная». «Мама мелочная»... мысль наготове... она тут как тут, выжидает... а я стараюсь ее сдержать... еще минута... надо посмотреть... ах, какое счастье... мама, поглощенная разговором, взяла два куса, ничем не отличающихся от оставшихся на блюде, я осмеливаюсь взглянуть на Гашишу тарелку, я сама не своя от радости... побежденная мысль отступает... Я чувствую, как по всему моему существу растекается сладость, прохлады умиротворения... мама и раньше тоже не думала о том, что делает, она так часто бывает рассеянна... мелочность! — нет, на маму это не похоже, Гаша просто ее не знает...

Но вот опять обед, мысль возвращается, бродит вокруг, подстерегает... мне страшно... я пытаюсь помешать ей войти в себя, отвожу глаза, но что-то меня толкает, я должна видеть... Мамина вилка приближается к кусочку жаркого, маленькому, поменьше других, и еще к одному, лежащему рядом, их она накальвает, приподнимает, кладет в тарелку, протянутую Гашей... Я не смотрю на лицо Гаши... пусть на нем нет даже тени улыбки, я все равно знаю, что она думает... и я думаю как она. Но моя мысль рвет меня на части, пожирает меня... и если отпускает, то ненадолго, она вернется, она всегда рядом, начеку, готовая выскочить в любую минуту, стоит нам только сесть за стол.

Я сижу на краю кровати, спиной к окну, у меня на коленях стоит мой лучший товарищ, мой наперсник, мой золотистый плюшевый мишка, такой мягкий, податливый, я пересказываю ему то, что сказала мне минуту назад мама... «Знаешь, мы скоро вернемся в Париж, к папе... мы поедем раньше, чем обычно... и там, представляешь, там у нас будет другая мама...»

Тогда мама, которая здесь, рядом и слышит меня, сердито говорит: «Что еще за глупости? Какая другая мама? другой мамы не бывает. У тебя одна мама на свете». Не знаю, произнесла ли она все эти слова или только последние из них, но я и сейчас ощущаю непривычный пафос в ее тоне, от которого я немею, словно обращаюсь в камень.

Я не помню никаких приготовлений к отъезду... мне известно, что мама и Коля тоже должны уехать, как только мама вернется, Коля написал толстую книгу по истории Австро-Венгрии, и его пригласили на несколько месяцев в Будапешт... слово, которое я то и дело слышала в ту пору.

Сообщение об отъезде меня не огорчило. Я привыкла к путешествиям туда-сюда и была, как всегда, рада снова увидеть папу, Люксембургский сад... и милую даму, которая танцевала со мной и сидела рядом на скамье в ту самую минуту... когда это произошло... когда это наполнило меня, излучаясь отовсюду — из света, из низкой кирпичной ограды, шпалер, цветущих каштанов... иногда это еще возвращалось ко мне...

Я забыла свое прощание с Гашей, наверное, душераздирающее... но, как ни странно, у меня осталась в памяти последняя минута, когда я вернулась, чтобы поцеловать Колю, поглощенного своим писанием, заваленного бумагами... когда я обнюхала его, точно щенка, чтобы лучше запомнить... удержать его запах табака и одеколона, и когда я поглядела еще раз на форму его ногтей, на его пальцы... мне казалось, что именно они источают то, что наполняет его и даже чуть раздувает, — его милоту, добродушие.

Легко представить себе бесконечные белые равнины — дело было в феврале, — по которым мы ехали, деревянные избы, белые стволы берез, ели под снегом... я все, конечно, видела... но эта картина смешивается со многими ей подобными, а чего ни с чем не спутаешь — это маму, сидящую напротив меня у окна, и ее жест, когда, протянув руку, она вытирает своим уже мокрым платком мое лицо, залитое слезами, и повторяет: «Ну, не надо, дорогая, не надо, деточка, кисонька... не надо...»

Временами мое отчаяние утихает, я начинаю дремать. Или развлекаюсь тем, что скандирую в такт колесам все те же два слова... рожденные, вероятно, залитой солнечным светом равниной, которую я вижу в окно... французское слово «soleil» и русское «солнце», где «л» почти не произносится, я выговариваю то «солн-це», сложив и вытянув вперед губы, упираясь кончиком изогнутого языка в передние зубы, то «со-лей», растягивая губы и едва касаясь зубов языком. И снова «солн-це». И снова «со-лей». Оступляющая игра, которую я никак не могу оборвать. Она обрывается сама собой, и опять текут слезы.

— Странно, что именно в тот отъезд ты впервые ощутила такое отчаяние... словно предчувствовала...

— Или мама сама...

— Да, возможно, что-то в ней заставило тебя ощутить, что этот отъезд был каким-то другим...

— Я с трудом могу поверить, именно с трудом, с болью, что уже тогда она предвидела... Нет, невероятно, чтоб она намеренно стремилась оставить меня у отца.

Не достаточно ли того, что стоял февраль, и ты знала, что разлука будет более долгой, чем обычно, ведь на этот раз ты проведешь у отца больше двух месяцев, до конца лета.

Я отлично помню вокзальчик среди мерцающего снега, мы ждем в зале с широкими светлыми окнами, униформа служащих изменилась, я знала, что мы на границе.

И потом Берлин. Просторная темноватая комната, у одной стены стоят две кровати, прикрытые огромными красными перинами, у другой — кресла и круглый стол... мама сидит за этим столом с незнакомым «дядей»... мама сказала, что это один из друзей ее юности, еще с тех времен, когда она училась в Женеве, и близкий друг моего отца. Она поручит меня ему, и мы с ним вместе поедem в Париж. У него мягкое и тонкое лицо, совсем серое, усеянное маленькими ямочками, как после оспы... кончик носа острый, точно обгрызенный.

Мама беседует с ним тихим голосом, а я уже придумала себе замечательную игру: одетая в длинную ночную рубашку, я прыгаю обеими ногами с одной кровати на другую, между кроватями довольно широкий проход, нужно как следует рассчитать и, шлеп, плюхнуться на другую постель, утонуть в огромной перине, с шумом и победным криком покатиться по ней...

Мама говорит: «Перестань, ты нам мешаешь... завтра мы с тобой расстанемся, не с чего так веселиться». Я тут же успокаиваюсь, растягиваюсь на одной из кроватей. Слышу, как мама произносит с чрезвычайно изумленным видом: «В самом деле? она...» Я не разбираю слова, которые за этим следует...

Когда мы остаемся наедине, я спрашиваю маму: «Что тебе сказал дядя?.. Ты так удивилась... — О, да я не помню. — Нет, помнишь, скажи. Ты сказала: она... Кто это — она?» Мама колеблется, но потом говорит: «Она — это Вера, жена твоего отца. — И что она? — Ничего... — Нет, ты должна мне сказать: что она?» У мамы лицо, будто она подумала о чем-то забавном... «Ну, если уж ты так хочешь знать, он сказал мне, что она дура».

От следующего дня у меня остался в памяти только темно-серый перрон, ужасные свистки, мама, прильнувшая к окну медленно уходящего поезда, и я, вся в слезах, с воплем бегущая вдоль платформы, и дядя, бегущий вслед за мной, чтобы меня поймать, дядя, который берет меня за руку и отводит, уж не помню куда, должно быть, в другой поезд, отправляющийся в

противоположную сторону. Мне кажется, я только и делала, что плакала, до самого прибытия в Париж, на Северный вокзал, желтоватый сумрак и огромные стеклянные своды которого впервые кажутся мне мрачными.

Не знаю уж, встречал ли нас кто-нибудь, помню только папу в унылой и как бы не совсем обжитой квартирке на улице Маргерэн... и странную встречу с ним, совершенно иную, чем всегда... чуть прохладную, словно взвешенную... и молодую женщину... «Ты узнала Веру? ты помнишь ее?» Я говорю «да», но с трудом узнаю ту молоденькую женщину с круглыми розовыми щеками, такую стройную и подвижную в мужском костюме, с выбивающимися из-под котелка локонами, которая крутила, подхватывала меня, валилась вместе со мной на диван, задыхаясь, обмахиваясь носовым платком, заливаясь смехом... она совсем не была похожа на эту даму с закрученными по обе стороны головы, аккуратно уложенными волосами, так что ни одна прядка не выбивается, с вытянутым очень бледным лицом, с тонкими, ниточкой, губами, растягивающимися словно бы в улыбке, торчащими вперед нижними зубами, которые заслоняют верхние зубы, в ее совсем светлых, прозрачных глазах есть что-то... ничего похожего не было в еще более светлых и прозрачных глазах Гаши... да, такого я прежде ни у кого не замечала... какой-то внушающий беспокойство блеск...

Я живу здесь, как и в Петербурге, в комнатке с окнами на улицу. Снаружи уже нет ни серебристого света, ни широких просторов льда чуть поодаль, ни мерцающего снега... свет грязноватый, замкнутый рядами невысоких домов со стертыми фасадами...

— Мертвыми, следовало бы тебе сказать, не опасаясь впасть в преувеличение.

— Да, безжизненными. Странно, но когда я жила на улице Флаттер, те же самые дома казались мне живыми, в их желтовато-серой бесцветности я чувствовала себя защищенной, она мягко обволакивала меня... и через них лежал путь к веселью, к безопасности Люксембургского сада, где воздух светился и дрожал.

Здесь эти узкие улочки вели к парку Монсури. Уже само это название казалось мне уродливым, скука пропитывала просторные лужайки парка, окаймленные арочками, будто специально поставленными здесь, чтобы напоминать о настоящих лугах и породить в вас тоску по ним, временами душераздирающую... согласись, это не чересчур сильное слово.

Сюда я ходила притворяться, будто развлекаюсь подле Веры куличиками и серсо, или бегала по посыпанным гравием аллеям, окаймленным арочками. Даже карусель не привлекала меня.

Мои вечера, после того как я укладывалась в кровать, были посвящены маме, я плакала, вытащив из-под подушки ее фотографию, где она сидела рядом с Колей, целовала ее и говорила, что не могу больше жить вдали от нее, пусть она поскорее за мной приедет...

У нас с мамой был уговор, что, если мне будет хорошо, я напишу ей: «Мне здесь очень хорошо», подчеркнув «очень». А если не будет, то просто: «Мне хорошо». И однажды я решилась написать ей это в конце письма... у меня уже не было сил ждать еще несколько месяцев, до сентября, пусть она приедет и заберет меня. Итак, я написала ей: «Мне здесь хорошо».

Некоторое время спустя отец позвал меня к себе. Я видела его совсем редко. Он уходил утром, около семи, когда я еще спала, и возвращался вечером очень усталый, озабоченный, и ужин часто проходил в молчании. Вера говорила очень мало. Слова, которые она роняла, всегда были короткими, гласные в них были как бы стиснуты между согласными, будто для того, чтобы каждое из слов занимало меньше места. Даже мое имя она произносила почти без «а». В результате получался звук, или точнее странный шорох — Нт'ш...

После ужина, я чувствовала это, отцу хотелось, чтобы я пошла спать... Да я и сама предпочитала уходить к себе в комнату...

— Там ты не только плакала...

— Нет, не только, я, вероятно, и читала, как всегда... Я вспоминаю книгу Майн Рида, подаренную мне отцом. Он любил ее, когда был маленьким... мне она не показалась такой уж интересной... может, я еще не доросла до нее... мне было восемь с половиной... я убегала от длинного описания прерий к спасительным тире, которыми открывались диалоги.

Итак, через несколько дней после того, как я отправила маме это письмо, отец задерживает меня после ужина и уводит в свой кабинет, куда вела из столовой застекленная дверь... Он говорит мне: ты написала маме, что тебе здесь плохо. Я ошарашена: откуда ты знаешь? — Я получил письмо от твоей матери. Она упрекает меня, пишет, что мы тобой не занимаемся как следует, что ты жалуешься...

Я в изумлении, в ужасе от подобного предательства. У меня, значит, нет на всем свете никого, кому я могу довериться. Мама и не думала приехать и выручить меня, она хочет только, чтобы я здесь осталась и не чувствовала себя при этом такой несчастной. Никогда я не смогу ей довериться. Никогда никому я не смогу довериться. На моем лице, вероятно, выразилось такое огромное, такое глубокое отчаяние, что внезапно отец, забыв о сдержанности, отчужденности, которые он неизменно выказывает здесь по отношению ко мне, сжимает меня в объятиях крепче, чем сжимал когда-то даже в былые времена... он вытаскивает свой носовой платок, с нежной, словно дрожащей неловкостью вытирает мои слезы, и мне кажется, что я вижу слезы у него на глазах. Он говорит мне только: «Иди спать, не горюй... — Он часто употреблял эти слова в разговоре со мной... — ничто того не стоит... увидишь, в жизни рано или поздно все образуется...»

В эту минуту и навсегда, вопреки и в противовес всем внешним проявлениям, нас обоих связала нить, невидимая, но нерушимая... Не знаю, что именно чувствовал отец, но я, совсем маленькая, мне не было и девяти лет, я, без сомнения, вдруг и сразу ощутила вместе все то, что потом, на протяжении долгих лет, мало-помалу раскрывалось... все мои отношения с отцом, с матерью, с Верой, их отношения между собой были не более чем раскручиванием того, что было скручено здесь.

Мы проводим июль в семейном пансионе в Медоне, чтобы отец, который пытается сейчас основать в Ванве небольшую фабрику по производству тех же химических товаров, что выпускала его фабрика в Иваново-Вознесенске, мог приезжать к нам каждый вечер. Дом расположен в большом парке без лужаек, усеянном сосновыми иглами и засаженном высокими темными деревьями. В столовой за соседний стол садится мужчина с отечным и бледным лицом, которого напомнит мне позднее актер, игравший убийцу в немецком фильме «М». Стоит мне взглянуть на него, он впивается в меня своими сверкающими глазами, точно хочет напугать. У него неподвижный, лишенный всякого выражения взгляд, как у хищника.

Вера все больше худеет, лицо у нее совсем желтое, живот торчит вперед, я узнаю, не помню уж как, что она ждет ребенка. И однажды утром, вскоре после нашего возвращения в Париж, отец, который не пошел на работу, говорит мне, что Вера со вчерашнего дня в клинике, она родила маленькую девочку, сестренку для меня... я ее увижу, как только Вера почувствует себя лучше, она ужасно мучилась, и девочка еще очень слаба.

Мы идем по унылой улице, длинной, как ее название — Верцин-ге-то-рикс, и наконец, добираемся до клиники. Вера мило мне улыбается, возле ее кровати я вижу в колыбели крошечное существо, уродливое, красно-лиловое, с огромным вопящим ртом, похоже, оно кричит день и ночь почти до удушья. Вид у Веры встревоженный, положив руку на край колыбели, она покачивает ее. Мне говорят, чтобы я поцеловала младенца, но я боюсь к нему прикоснуться; наконец я решаюсь дотронуться губами до сморщенного лобика, который грозит треснуть от пронзительного крика... Как ее назовут? — Елена... в память о девочке, родившейся тремя годами раньше меня и умершей от скарлатины до того, как я появилась на свет. Я видела

ее фотографию в Иванове. Ее держала на руках кормилица в высоком чепце, расшитом жемчугом... Девочка походила на маму, но глаза у нее были огромные и словно наполненные удивлением... Мне говорили, что папа сам ухаживал за ней, баюкал, держа на руках, и ее смерть так потрясла его, что он заболел от горя.

— Он в самом деле безмерно страдал после ее смерти, но заболел потому, что подхватил от нее скарлатину.

— Теперь я это знаю, но тогда мне говорили по-другому, и я в это верила...

За несколько дней до возвращения домой Веры с младенцем я с удивлением заметила, что принадлежащих мне вещей уже нет в моей довольно просторной и смотрящей на улицу комнате. Высокая толстая женщина, занимающаяся всем в доме, сообщает мне, что теперь я буду жить в комнатке, которая выходит во двор, рядом с кухней.. «А кто будет жить в моей комнате? — Твоя сестричка с няней... — С какой няней? — Она скоро придет...»

Позаботься кто-нибудь объяснить мне, что в моей новой комнате просто не могут поместиться ребенок и взрослый, что нет никакого другого выхода, я, думаю, поняла бы. Но меня так грубо вышвырнули из комнаты, которая стала уже для меня «моей комнатой», и бросили сюда, в этот, как мне казалось, мрачный чулан, где прежде никто не жил, что я, по вполне понятным причинам, ощутила себя обиженной, несправедливо обойденной в своих правах. И тут эта добрая женщина, которая переносила мои вещи, остановилась передо мной — я сидела на кровати в своей новой комнате, — посмотрела на меня с глубокой жалостью и сказала: «Вот уж горе, когда нет матери».

«Вот уж горе!..» слова воистину бьют хлыстом. Плети обвиваются вокруг меня, стягивают... Вот, значит, она, эта ужасная вещь, самая ужасная из всех, которая проступает наружу с припухших от слез лиц, с черных вуалей, из стонов отчаяния... «горе», никогда ко мне не приближавшееся, никогда меня не касавшееся, обрушилось на меня. Эта женщина его видит. Я в нем. В горе. Как и все, у кого нет матери. Значит, у меня ее нет. Это так, у меня нет матери.

Но как это может быть? Как это могло случиться со мной? То, от чего лились мои слезы, которые мама вытирала рукой, спокойно приговаривая: «Не надо...» — могла ли бы она говорить так, если бы это было «горе»?

Я вынимаю из деревянной разрисованной шкатулки мамины письма, они пестрят нежными словами, она поминает в них о «нашей любви», «нашей разлуке», совершенно очевидно, что мы разлучены невзapedу, но навек... И это — горе? Мои родители — они-то лучше знают — поразились бы, услышь они это слово... папа был бы раздосадован, рассержен... он не выносит громких слов. А мама сказала бы: «Да, конечно, — горе когда любишь друг друга, как мы с тобой... но не настоящее горе... наша «печальная разлука», — как она ее называет, — будет недолгой...» Разве это горе? Нет, быть не может. И однако, эта женщина, такая твердая, такая крепкая, видит его. Она видит горе на мне, как видит «два глаза на моем лице». Остальные этого не знают, они заняты своими делами. Но она-то наблюдает за мной, вот она и обнаружила его, это оно и есть: горе, обрушивающееся на детей в книгах, в «Без семьи», в «Дэвиде Копперфильде». Такое же горе набросилось на меня, сдавило и держит.

Некоторое время я не двигаюсь, съежившись на краю кровати... А потом все во мне возмущается, восстает, изо всех сил я отталкиваю это от себя, разрываю, срываю этот ошейник, панцирь. Нет, я не останусь в том, во что заточила меня эта женщина... она ничего не знает, она не может понять.

— Ты тогда впервые была так поймана словом?

— Не помню, чтобы такое случилось со мной раньше. Но зато сколько раз, потом, я в ужасе убегала от слов, которые обрушиваются на вас и замыкают в себе.

— Даже слово «счастье» — всякий раз, когда оно было уже рядом, наготове, готовилось

приземлиться, — ты старалась отвести его... Нет, только не это, ни одно из таких слов, я их боюсь, лучше обойтись без них, пусть не приближаются, пусть ничего не трогают... здесь, у меня, нет для них места.

Улочки с унылыми домами, улица дю Луан, улица дю Люнэн, улица Маргерэн...

— А ведь как прелестны эти названия, когда ты вслушиваешься в них сейчас...

— Когда я силюсь уловить тонкий, легкий звук, который, должно быть, чудится в них туристу... Или кому-нибудь из тех, кому повезло, и кого — они сами рассказывали мне позднее — эти улочки встретили той неприметной, почти нежной доброжелательностью, какую излучали для меня улица Флаттер или улица Бертоле.

Но когда я восстанавливаю в памяти названия Люнэн, Луан, Маргерэн такими, какими они казались тогда, они тотчас приобретают, как и сами эти улочки, убогий, жалкий вид... Мне кажется, что за безжизненными фасадами, за черными окнами, в глубине темных маленьких клетушек осторожно шевелятся, едва передвигаются еле живые люди...

Я бегу вдоль этих домов, вхожу в подворотню, такую же, как все другие, преодолеваю опасное место, где консьержка, которую боятся даже взрослые, приоткрывает сероватую штору привратницей и наблюдает за мной... я вытираю туфли о коврик-щетку, осторожно открываю двустворчатую застекленную дверь и как могу стремительно взлетаю по навощенной лестнице на третий этаж... или это площадка четвертого? звоню, раздаются торопливые шаги, мне открывают... «Входи, они дома».

В детской нагромождены какие-то вещи, сломанные игрушки, продавленные стулья, от всего веет свободой, беспечностью, резвись — не хочу, тут ничто не стесняет, постели, диваны только и ждут, чтобы на них повалились с хохотом и веселым криком... не слишком, впрочем, громким... «Чуть потише, мои маленькие, пожалуйста...» Дверь приоткрывается, видна комната, вся белая, зубоврачебное кресло... «Уймитесь, ну немножко, у меня пациенты...» Госпожа Переверзева в длинном белом халате держит в руке инструмент из блестящего металла, лицо у нее совсем круглое, розовое, нос до того вздернут, что говорят, и это ее саму смешит, будто сквозь него можно прочесть все мысли у нее в голове. У ее дочки Тани ноздри точь-в-точь такие же... и кажется, ее простодушие и шаловливость словно округляют и расширяют их, вздергивают губу... От ее брата, который на год или два старше нас, у меня в памяти осталось только имя, Борис, и безумный хохот, овладевавший им и передававшийся нам, хохот, который становился только более раскатистым, настойчивым, когда нам запрещали шуметь, и прерывался паузами, готовыми вот-вот лопнуть от переполнения, паузами, сулившими опасные, но упоительные взрывы.

Иногда открывается другая дверь и появляется тонкий темный силуэт господина Переверзева... но теперь его лицо слилось у меня с лицом Чехова, пенсне сидит несколько косо на его переносице, черный шнурок, к которому оно прикреплено, висит вдоль щеки, он выглядит задумчивым, немного печальным, и голос у него мягкий и низкий... «Ш-ш-ш, дети, хватит, хватит, дайте мне поработать».

Кому предназначены открытки, письма, которые посылает мне мама? Кому она рассказывает, как маленькому ребенку, что там, где они с Колей проводят свободный месяц, девочки ходят с красными лентами и в красных деревянных сабо, а море совсем синее и по нему проплывают парусники, вроде тех, что пускают в бассейне Люксембургского сада, только здесь это настоящие, большие корабли...

Она уже не знает, какая я сейчас, она даже забыла, какой я была.

Иногда сквозь мамины детские рассказы проступает что-то похожее на радость, на удовлетворение.

Я бы предпочла вообще не получать никаких писем, разрушить навсегда эту связь, но

всякий раз нежные, ласковые слова в конце письма удерживают меня, обволакивают... и я совсем размякаю, я не в силах порвать лист, на котором начертаны эти слова, и благоговейно кладу его в шкатулку.

Я стараюсь как можно меньше говорить о маме... Всякое упоминание о ней рискует вызвать, выявить в отце... не в словах, а в том, как хмурятся его брови, как выпячиваются, морщась, губы, как сужаются в узкую щелку глаза... то, чего мне не хочется видеть...

— Какое-то озлобление, осуждение... скажем прямо... презрение.

— Но я так это не определяю, я вообще не даю этому никакого названия, но смутно ощущаю, что это здесь, в нем, запрятано, сжато... лишь бы оно только не шевелилось, не обнажилось...

И сам отец, когда ему обязательно надо упомянуть мать, называет ее именем места, где она живет: «Ты написала в Петербург?» «Тебе письмо из Петербурга». Слова «твоя мама», которые он употреблял прежде, теперь, не знаю уж почему, не могут прорваться сквозь его губы.

И вот однажды под взглядом отца — я чувствую его на своем лице, — под взглядом, который задерживается и уже не отрывается от меня, я приподнимаю одну бровь, как это делает мама, широко открываю глаза, устремляю их остановившийся взгляд куда-то вдаль, мои глаза, как мамины, наполняются удивлением, растерянностью, простодушием, невинностью...

Отец по-прежнему смотрит на то, что я, не двигаясь, показываю ему...

Но ведь не я, а он сам, его взгляд вызвал это на моем лице, и он сам поддерживает это...

— Скорее можно было бы ожидать, что его взгляд вызовет у тебя замкнутое и жесткое выражение, появлявшееся иногда на лице матери, выражение, знакомое ему лучше других, которое она, вероятно чаще всего, показывала ему.

— Если бы я ощутила это, я бы постаралась еще больше ожесточить его... из вызова... как иногда поступаешь в подобных случаях...

— Да, и от отчаяния тоже...

Но не это выражение искал отец на моем лице, не его хотел увидеть снова, и то, что случилось позднее, подтверждает, что я почувствовала верно. Он обернулся к другу, который при этом присутствовал, это был их общий с мамой друг, он привез меня из Берлина... в комнате никого, кроме нас, не было... и отец, оторвав наконец взор от меня, обернулся к нему и сказал: «Удивительно, до чего Наташа временами бывает похожа на мать...» — и что-то бесконечно хрупкое, что я едва осмелилась воспринять от страха спугнуть... проскользнуло в его словах, коснулось меня, приласкало и растаяло.

«Это не твой дом»... Трудно поверить, и, однако, именно так однажды сказала мне Вера. Когда я ее спросила, скоро ли мы вернемся домой, она сказала мне: «Это не твой дом».

— Так могла ответить Золушке злая мачеха. Поэтому ты колебалась...

— Действительно, я боялась, что если стану воскрешать эти слова, то ненароком превращу Веру и себя в персонажей волшебной сказки...

— Надо сказать, что когда ты пытаешься вспомнить Веру, возникает ощущение, что временами она словно отрывалась от действительности, уносилась в мир вымысла...

— Но нельзя ли на этот раз, чтобы не выходить за пределы реальности, представить себе, что она произнесла эти слова, поскольку уговор оставался в силе, и мать должна была вскоре забрать меня, и мне не к чему было так уж привыкать к дому, который предстояло в недалеком будущем покинуть... она хотела избавить меня от нового болезненного разрыва...

— Допустим... И допустим также, что она, возможно, уже начинала опасаться, как бы ты здесь не осталась... ты была слишком тяжелым грузом для молодой женщины... совершенно неожиданным, с чего вдруг она могла подумать, что ей придется навсегда взвалить на себя... и когда она услышала от тебя, что ты собираешься вернуться именно к себе домой, она не

сдержалась, не смогла подавить в себе побуждение, толкавшее ее к тому, чтобы отторгнуть тебя от этого дома, помешать тебе освоиться там, как у себя... Нет, нет, только не это... «Это не твой дом».

— Чтобы понять, как могли вырваться у нее эти слова, нужно было бы по крайней мере снова услышать их интонацию... вновь ощутить на себе исходящие от них волны... Но ничего этого не осталось. Возможно, все было раздавлено под их тяжестью... даже в ту минуту ни внутри, ни вокруг них не было ничего незримого, требующего обнаружения, рассмотрения... я получила их замкнутыми со всех сторон, четкими и нагими.

Они упали в меня всей своей тяжестью и раз и навсегда воспрепятствовали тому, чтобы это «домой» могло взойти, сформироваться во мне... И впредь, сколько я тут ни жила, уже никогда не возникало это «домой», даже когда стало совершенно ясно, что, кроме этого дома, никакого другого у меня уже не может быть.

Наступил октябрь, начались занятия, все мои знакомые дети ходят в школу... мне тоже хочется учиться, мне уже девять лет... отец говорит, что написал в Петербург, чтобы выяснить, по-прежнему ли меня намерены забрать, но пока не получил никакого ответа... хотя в России учебный год начался еще в начале сентября... Не стоит ли мне, пока суд да дело, посещать школу? Частная школа девиц Бребан совсем рядом, они могли бы подготовить меня к поступлению в муниципальную школу, в класс, который соответствует моему возрасту.

Из своего довольно короткого пребывания в школе Бребан я запомнила только историю с почерком, который до этого был у меня вполне разборчивым, а тут вдруг неузнаваемо изменился... Я сама не понимала, что с ним произошло... буквы получались изуродованные, перекошенные, строчки расползались во все стороны, мне никак не удавалось справиться со своей рукой...

В школе Бребан ко мне относятся очень терпеливо, с участием. Когда удастся расшифровать мои каракули, выясняется, что я делаю меньше орфографических ошибок, чем другие, я, очевидно, очень начитанна для своего возраста. Но мне необходимо заново учиться писать. И вот, как прежде, когда я ходила в школу на улице Фельянтинок, я обвожу черными чернилами бледные серо-голубые палочки, стоящие в ряд с одинаковым наклоном... Я приношу домой тетради, полные палочек и букв, которые я должна обвести таким же образом... мало-помалу благодаря моему прилежанию мой почерк будто образумился, утихомирился...

Как покойно и надежно закрыться одной в своей комнате... никто не войдет, не потревожит меня, я «делаю уроки», выполняю обязанность, к которой все относятся с уважением... Лили кричит, Вера сердится, не знаю на что или на кого, за моей дверью ходят туда-сюда, но все это меня совершенно не касается... Я вытираю перо о фетровый квадратик, окунаю его во флакон с черными чернилами, тщательно веду перо поверху... только бы нигде не вылезти за контур... я обвожу с нажимом бледные призраки палочек, букв, я делаю их как можно более ясными, четкими, я понукаю свою руку, и она все лучше и лучше подчиняется мне...

Я уже не думаю об этом, я могу сказать, что это совершенно «вылетело у меня из головы». Но вот однажды это вновь приходит ко мне... Даже трудно поверить... Возможно ли, что еще так недавно, всего год назад, я могла испытывать нечто подобное, когда они приходили, влезали в меня, полностью меня захватывали... «мои мысли», которых ни у кого, кроме меня, не было, от которых все переворачивалось вверх дном, мне иногда казалось, что я тону... бедный, безумный ребенок, спятивший младенец, взывающий о помощи... «Знаешь, мама, у меня мои мысли... мне кажется, что у тебя кожа как у обезьяны...» Я имитирую как могу тон, которым говорила это, плаксивый, жалостный, нелепый... я пытаюсь восстановить... забавы ради, смеха ради, я могу себе это позволить, ничего не опасаясь... тот страх, который мной овладевал, когда я чувствовала их приближение... они возникали ни с того ни с сего, являлись откуда ни возьмись, хозяйничали,

располагались, чувствовали себя во мне как дома... в благоприятной обстановке, для них созданной, в обстановке нечистой, нездоровой... До чего упоителен контраст со мной теперешней... до чего мой ум сейчас кажется чистым, ясным, гибким, здоровым... Мысли... не «мои» мысли... с этим подозрительным «мои», с этим тревожащим «мои» покончено... мысли, как у всех, приходят мне в голову, как любому и каждому. Я могу без боязни думать что угодно. Разве у меня есть то, чего надо стыдиться, что может превратить меня в несчастное, ненормальное существо, в отверженную? Ничего. Решительно ничего. Ищи не ищи... я ищу... Пусть себе приходит, если хочет, эта «мысль»... но ничего не приходит... да и нечему... А, вот одна, вроде «моих мыслей» той поры — тех, что я уныло мусолила в каком-нибудь углу... Я призываю ее, вот она передо мной: «У папы плохой характер. Папа сердится по пустякам. У папы бывает убийственное настроение». Ну?.. Что ну? Подумала себе и подумала, это мое личное дело. Я никому не обязана давать отчета. Но, может, я преувеличиваю, что папа... Может... Мысль мелькнула, и нет ее... они теперь ненавязчивы, мои мысли, они приходят и уходят, они меня слушаются, я сама решаю, удержать ли их, оставить ли на некоторое время, когда у меня возникает желание как следует рассмотреть их, прежде чем выпустить. Ни одна не может внушить мне стыд, ни одна не может причинить мне боль, задеть меня. О, как хорошо я себя чувствую... Никогда больше со мной такого не случится. Никогда...

— Ну, а если бы ты вернулась туда? Ты уверена, что не опасалась бы, пусть хоть изредка, пусть хоть мимолетно, что там, подле матери, такое может снова с тобой случиться?

— Не думаю. Мне кажется, в ту пору я верила, что навсегда обрела силу, которую никому не сломить, полную и окончательную независимость.

Когда господин Ларан приходит к отцу, он берет с собой своего сына Пьера, моего ровесника. Отец очень уважает господина Ларана, он ученый, преподает в высшей школе, кажется, в Горном институте. Папа говорит, что Пьер очень умный, хорошо успевает по естественным наукам и ходит в первых учениках. Я должна провести с ним время после обеда, погулять на свежем воздухе — нас отправляют играть в парк Монсури.

Мы шагаем бок о бок по широкому унылому проспекту. Пьер очень похож на своего отца, только выглядит старше, чем он. Я прекрасно знаю, что он должен был быть одет, как одевали в те времена мальчиков его лет, но сейчас, когда я вспоминаю его, мне приходится снимать котелок, который видится мне у него на голове, и заменять его матросским беретом, отстегивать белый крахмальный воротничок его отца, обнажать шею, класть на плечи широкий воротник матроски, обрезать брюки до коротких штанов... но ни одной из этих операций я не могу преобразить его самого в мальчика. Я гуляю со старым господином. Старым и грустным. Видно, что он много знает... что? Понятия не имею, но он знает то, чего не знаю я... Он слушает мой детский лепет... но мне редко удастся, как и почти у всех взрослых, вызвать у него улыбку.

В конце концов я сдаюсь. Мы молчим. Я думаю о всякой всячине, которая меня забавляет... А он? Мне не важно, во что погружен он, слишком я поглощена подготовкой своего номера... на завтра... нет, завтра понедельник, но в четверг, когда я пойду к Мише... «Ну, тебе было весело?

— Нет, и я тебе этого не прощу, дурак... мог бы прийти. Твой отец был...» Господин Агафонов тоже ученый. В России он читал студентам геологию, писал книги. Когда он пришел и его спросили, почему он не взял с собой Мишу, он скорчил гримасу и махнул рукой, выражая огорчение, все его существо выражало нежность, гордость, и он сказал: «Вы требуете, чтобы я поймал этого сорванца, а я понятия не имею, куда он делся».

Но я-то знаю куда... «Ну, ты и эгоист... Мог бы уж ради меня». Но я уже предвкушаю, что сейчас будет... и Миша мне подыгрывает... «Ну, рассказывай, интересно было? Куда вы пошли? — Ты не стоишь того, чтоб тебе рассказывать...

— Рассказывай, рассказывай, все равно не выдержишь. Наверное, лопнуть можно было

сосмеху... — Ну тогда я начну с самого начала... Спускаемся по лестнице... В подъезде Пьер уступает мне дорогу... — Врешь...»

Входит мать Миши, она садится в кресло, приветливо смотрит на меня своими зеленоватыми глазами, ее тонкое и мягкое лицо мертвенно-бледное, почти серое, она комкает в руке неизменный батистовый платочек... она очень больна... и, возможно, знает это, Миша никогда не говорит о ее болезни... но она все равно любит посмеяться... Она говорит: «Ничего смешного. Пьер очень хорошо воспитан...» Нам только этого и надо... «Очень хорошо воспитан. Он очень хорошо воспитан!» Я могу продолжать свой номер. Для меня нет большего удовольствия, чем изображать разных людей. А Пьер просто создан для того, чтобы его изображали. Я изображаю, как он открывает передо мной дверь. А потом себя — с достоинством наклоняющей голову, как настоящая дама. Я степенно двигаюсь вперед, делаю вид, что останавливаюсь, как положено, на краю тротуара... осторожно смотрю в одну сторону, потом в другую... Мы фыркаем... Госпожа Агафонова говорит: «Вот увидишь, Миша, в один прекрасный день тебя задавят...» Я наставительно произношу: «Да, Миша, вот что ждет тебя. И еще — в один прекрасный день ты попадешь на гильотину... Когда я рассказала Пьеру обо всех твоих проделках... — Ты это сделала? — Да, я ему рассказала...» я могу говорить об этом при его матери... ничто ее более не умиляет... Миша украл букет, выставленный перед цветочной лавкой, и подарил его матери в день ее рождения, а потом, когда во всем признался и отнес его обратно цветочнице, та отдала ему букет даром, и он вернулся с цветами... «Я рассказала ему, что ты украл... — И что он сказал?» Пьер сурово смотрит и говорит, что это отвратительно... Я шагаю, как Пьер, точно с тростью в руке... Потом изображаю себя скачущей вокруг него, как собачонка, которая встает на задние лапки, чтобы заслужить улыбку... как нищенка: добрый господин, подайте хоть улыбку... Но он не хочет... Я придумываю еще что-то, уж сейчас не помню, мы хохочем до слез, госпожа Агафонова вытирает глаза платочком... «Ну, хватит, дети. Идите прогуляйтесь. — Только не в парк Монсури, мама...» Миша подходит к матери, он мой ровесник, но очень крепкий мальчик, а она как былинка... она отстраняет его с испуганным видом... «Нет, нет, не лезь ко мне, ты меня раздавишь», — она смеется от нежности, он ласково обнимает ее, и мы уходим.

Господин Агафонов, добрый богатырь, поднимается по лестнице нам навстречу... «Куда вы направляете свои стопы?» Он хватает Мишу за уши и делает вид, будто хочет приподнять его... «Ах ты озорник...» мне он говорит: «Держись начеку, один бог знает, какая безумная идея может прийти в голову этому дурню...» Но он знает, и я тоже знаю, что ничего плохого со мной не случится, когда я с Мишей...

Мы отправляемся в свои охотничьи угодья, на Орлеанский проспект, и начинаем соревнование. Выигрывает тот, кто получит больше рекламных проспектов из рук зазывал. Каждый охотник на своем тротуаре. Потом мы меняемся тротуарами. Запрещается повторно обращаться к одному и тому же зазывале, а также подбирать проспекты, валяющиеся на земле. Потом мы возвращаемся к Мише и, устроившись у него в комнате, считаем свои трофеи: целые стопки проспектов — белых, желтых, голубых, розовых...

— И что получал тот, кто выигрывал?

— Не помню. Думаю, ничего, кроме радостного чувства победы.

Лили усадили на стул, на подушки, чтоб было повыше, придвинули к обеденному столу, который, когда она ест, накрывают белой клеенкой. Она протягивает свою худую ручонку к шнуру звонка, свисающему с люстры, таращит глаза, пронзительно вопит: «Качается! Качается!» Вера, сидящая возле нее, хватается за шнур, чтобы остановить его... хотя он и так уже не движется... Но Лили не успокаивается и продолжает кричать: «Качается!» Тогда Вера закручивает шнур вокруг люстры... потом берет на кончик ложечки то, что лежит на тарелке, и подносит ко рту

Лили... «Скушай, мой зайчик... — Она так называет ее... или еще: — Мой белый зайчик... ты должна кушать, это полезно...» То, что она пытается впихнуть в Лили, — мозги... Только Лили имеет право на это блюдо, она ведь такая хрупкая, ей необходима укрепляющая и изысканная пища... Как-то в кухне симпатичная толстая прислуга дала мне попробовать маленький кусочек... Она иногда, по мере своих возможностей, пытается таким образом компенсировать несправедливость по отношению ко мне, которая возмущает ее... «Здесь все только для маленькой... Вот и с бананами так, хотите верьте, хотите нет — их спрятали на верхнюю полку бельевого шкафа, за стопку простынь, чтобы большая не взяла... Глаза б мои не смотрели...» Не помню уж, с кем она говорила, но знаю, что именно благодаря ей я обнаружила то невероятное, о чем я даже не подозревала, — существование тайника.

К счастью, мозги, молочно-серые, дряблые, мне не нравятся... а бананы я, если уж захочу, смогу купить на свои карманные деньги... Мне не приходится даже просить у папы, он всегда сам первый их дает... но, по-моему, я никогда не покупала себе бананов, мне и в голову ни разу не пришло...

Поначалу Вера предлагает Лили эти целебные мозги спокойно, терпеливо, но чувствуется, что она. начинает сердиться... она сама иногда говорит: «Все во мне дрожит». Лили по-прежнему не отрывает вытаращенных глаз от шнура, закрученного вокруг люстры, и мать успокаивает ее все более и более свистящим голосом... «Ты же видишь, он больше не качается, ешь...» Лили открывает рот, кричит «нет!» и тут же закрывает его. Вера не отступает...

Ее совсем светлые голубые глаза становятся словно прозрачными и в глубине вспыхивает огонек... Есть в ее взгляде что-то упрямое, беспощадное, напоминающее взгляд тигра.

— Помнишь, кто-то однажды сказал, что у нее глаза становятся иногда как у дикой кошки...

— И каким тоном!.. Точно это одно из самых очаровательных ее качеств. Мне в те времена еще не доводилось видеть диких кошек, в зоологическом саду я наблюдала только за глазами пантер и тигров. И именно их напоминал мне взгляд Веры. Когда ее ярость нарастала, она теряла дар речи, она угрожающе дышала сквозь стиснутые зубы, грудь ее вздымалась... Только Лили могла так преображать ее, «выводить из себя»... И Лили не боялась. Точно ощущала и в этом еще одно доказательство страстной любви матери.

— Единственная страсть. Лили была ее болезнью. И чувствовалось, что ее ярость направлена не против Лили, а против чего-то вне ее... на это и устремляла Вера свой упрямый, беспощадный взгляд... на судьбу, которую она должна была одолеть любой ценой... она возместит, она даже более чем возместит все то, в чем судьба отказала ее ребенку, она переломит, чего бы то ни стоило, эту судьбу, превратит ее в самую лучшую, самую завидную на свете.

— Что до меня, то я тоже не боялась Веры. Я знала, что вызвать у нее досаду, раздражение, в котором появлялась и враждебность, но враждебность далекая, холодная, я рискую только в том случае, когда ей чудится, что я чем-то обижу Лили. И я всегда держалась от Лили подальше... Мне это не стоило никаких усилий, мне вовсе не хотелось приближаться к вечно вопящему ребенку с перекошенным лицом...

— Который бывал и опасным... как-то, когда вы были вдвоем, она вдруг принялась кричать, чтобы подумали, что ты сделала ей больно...

— Но даже тогда Вера не очень на меня рассердилась... Она себе этого не позволяла. Может, боялась играть непривлекательную роль мачехи...

— Может... и потом она ощущала вокруг меня пусть далекое, но оберегающее присутствие отца... Мне кажется, что на свой, чуть диковатый лад, даже не отдавая себе в этом отчета, она его боялась...

— Да, не отдавая себе в этом отчета, она видела в нем своего господина... Не исключено,

что она просто заподозрила, что Лили разыгрывает одну из своих комедий...

— Нет, не думаю... Я не верю, что она была способна на такую проницательность... и уж никак не в подобном случае... И я не верю, что Вера могла обнаружить коварство Лили. Она, должно быть, ограничилась тем, что сказала мне: «Не трогай ее, прошу тебя. Оставь ее в покое». А я, должно быть, ответила: «Да не трогаю я ее».

После рождения Лили Вера очень похудела, побледнела, папа пошел с ней на консультацию к профессору, который сказал, что ей угрожает чахотка и необходимо хорошее питание... С тех пор в час полдника на стол в столовой ставят две тарелки — одну для нее, другую для меня... я вовсе не нуждаюсь в дополнительной еде, но Вера предложила мне есть вместе с ней... В наших тарелках золотящиеся и блестящие от свежего масла макароны; когда подносишь вилку ко рту, с нее длинным языком свисает расплавившийся сыр, который перекусываешь зубами. Я поглощаю все, что у меня в тарелке, и часто, когда моя тарелка пуста, Вера предлагает мне то, что осталось у нее... «Доешь, если хочешь, я больше не могу, как себя ни заставляю...»

Когда Вера не занята с Лили, когда забывает о ней, она порой так молодеет...

В лесу в окрестностях Парижа, на дороге, обсаженной с двух сторон высокими деревьями с желтеющей листвой... солнце мягко греет, дивно, бодряще пахнет мхом... я вскарабкиваюсь с помощью Веры на свой велосипед, она некоторое время бежит за мной, положив руку на седло, потом отпускает... но на повороте, хлоп, я снова падаю... мы смеемся... «Это просто невероятно, ты это делаешь нарочно... Ты, наверное, заранее боишься, сжимаешься, посмотри на меня». Я немного подсаживаю ее на седло велосипеда, она нажимает на педали, поворачивает, ее уже не видно... Мы с отцом аплодируем, когда она возвращается, улыбается... И она тоже аплодирует и кричит «браво!», когда мне наконец удается преодолеть этот поворот...

И мы учим отца ездить на велосипеде... Но он так напряжен, так неловок, так не уверен в себе... мы бежим за ним, поддерживая с обеих сторон, но стоит его отпустить, он останавливается, ставит одну ногу за землю... «Нет, увольте»... Вид у него сконфуженный, смущенный, у него нет способностей, и каким старым он кажется... и мне вдруг становится его жалко...

— Ему, однако, было всего сорок два — сорок три года...

— Но в то время старели раньше, чем теперь. И он был таким неспортивным... Он показался мне внезапно совсем старым, и мне почудилось, что Вера тоже видит его таким и что он сам ощутил себя стариком рядом с ней, когда она бежала со мной, поддерживая седло, когда мы обе его уговаривали, когда ласково посмеивались над ним... Любой бы сказал, что Вера — моя старшая сестра, что мы обе — его дочери.

Мы с Верой сидим бок о бок за обеденным столом, накрытым золотистой плюшевой скатертью. Я смотрю на ее маленькие тонкие руки с подвижными пальцами, которые погружаются в плошку с табаком... это смесь, которую папа приготовил сам, и куда добавили кусочки сырой моркови, чтобы табак не пересыхал... Вера вытаскивает тремя пальцами щепоть табаку, слегка тербит его, чтобы разделить слипшиеся листики, потом распластывает в металлической трубочке, раскрытой на две половинки и лежащей перед ней на бумаге... она хорошо приминает табак в каждой из двух половинок и с легким щелчком соединяет их... Потом она берет из большой коробки пустые гильзы, которые папа выписывает из России, он курит только папиросы. Папиросы — это сигареты, у которых картонный кончик такой же длины, как бумажный. В этот цилиндр из тончайшей бумаги Вера вводит металлическую трубочку... вытаскивает осторожно табак, которым она набита, наполняет...

— Но как?

— Я не очень хорошо помню. Мне кажется, она толкает шарик вдоль щелки, прорезанной в трубочке... Потом, не порвав бумаги, она вынимает трубочку, постукивает пальцем по

наполненному концу сигареты, чтобы подровнять табак, снимает крохотную соринку, торчащую из гильзы наружу...

Я слежу за каждым ее движением... мне тоже хочется попробовать... она позволяет мне взять щепотку табаку, потеревить его, разложить по половинкам открытой металлической трубочки, защелкнуть... потом вытащить из коробки пустую гильзу... ввести в нее кончик трубочки, надавить... «Осторожно, не толкай слишком сильно»... я стараюсь двигать возможно тише, но бумага такая непрочная, и вот — она лопается...

Я хочу еще. «Ну позволь мне, хоть один разок... — Ладно, но потом уж не проси. — И опять бумага рвется... — Больше пробовать нельзя, нельзя транжирить эти гильзы, здесь их не купишь, а папа не может без них обойтись».

Отец вынимает из ящика письменного стола и протягивает мне открытку, на которой из большого букета роз высовывается смуглая головка девочки... «Прочти, что написано на обороте...» Я узнаю почерк своего дяди Яши, читаю: «Дорогой мой маленький Ташок...» — и другие нежные слова... Передо мной проходят разные образы дяди Яши; должно быть, в ту пору их было много, один, во всяком случае, я помню, единственный оставшийся, он всегда во мне...

Он идет со мной рядом, держа меня за руку, он тонкий, как папа, но выше и моложе его... он пришел за мной на улицу Флаттер, он-то с мамой встречается и даже обменивается с ней несколькими словами... Мы переходим большую площадь перед Малым Люксембургом, и, прежде чем войти в калитку, он останавливается, выпускает мою руку, наклоняется ко мне, снимает перчатку и неумело застегивает пуговицу на воротнике моего длинного серого пальто с пелеринкой... он смотрит на меня... глаза у него очень похожи на папины, но не такие пронзительные, более мягкие... от его лица, узкого и бледного, от его движений на меня изливается ласковая мягкость...

«Эту открытку нашли у него в кармане...» Отцу не надо говорить мне ничего больше, я знаю, что дядя умер, задохнувшись в каюте корабля, который вез его из Швеции в Антверпен, где его ждал отец... Отец вынужден был навсегда покинуть Россию, чтобы спасти дядю, которого могли выдать «охранке», страшное слово, его я узнала здесь... Папа забирает открытку... «Ты не отдашь ее мне?» — Нет, я хотел, чтоб ты ее увидела, но буду хранить ее для тебя...» Мне хочется плакать, мне кажется, что и ему тоже хочется плакать, я была бы рада броситься к нему в объятия, прижаться к нему, но не смею... Здесь он не такой, как прежде... далекий, замкнутый...

— Он никогда больше не называл тебя Ташком...

— Я заметила это не сразу... Мне кажется, что тогда я чувствовала в нем только какую-то сдержанность, неловкость... особенно в присутствии Веры, а она почти всегда была рядом. Но даже в такую минуту, как эта, когда мы с ним наедине, когда между нами, только между ним и мной, существует такая тесная связь, неловкость не исчезает.

— Ну что ж, раз Вера отказывается купить мне его, я мгновенно принимаю решение... Чуть отстав, я протягиваю руку и хватаю один из пакетиков с драже, лежащих кучей на уличном лотке кондитерской, прячу под своей широкой матроской и догоняю Веру, придерживая рукой пакетик, прижатый к животу... Но нас быстро настигают... Продавщица видела меня через стекло... «Девочка украла пакетик драже...» Вера меряет женщину взглядом, глаза ее расширяются, приобретают густо-синий цвет... «Что вы такое говорите? Этого не может быть!» Я машинально трясую головой, без всякой уверенности твержу: «Нет!»... Продавщица показывает или просто пристально смотрит на вздутие в нижней части моей матроски, и этого достаточно, я вынимаю пакетик, вытянув из-под резинки, которая придерживала его, и протягиваю ей... Без единого слова мы идем вслед за Верой, она направляется к кондитерской, пересекает помещение, проходит вглубь, где помещается касса, просит извинения и платит за пакетик...

Кассирша сочувствует... «Ах, мадам, теперешние дети...» Продавщица хочет протянуть пакет, но Вера останавливает ее... «Нет, спасибо...» Она отказывается его взять.

Мы выходим, возвращаемся домой... не помню, на чем мы ехали... но, во всяком случае, молча, не говоря о том, что только что случилось.

Вера, с присущим ей упрямством, которое ничто не может сломить, раз уж она приняла решение, отказывается от роли моей воспитательницы... я никогда не слышала, чтоб отец в чем-нибудь упрекал ее за отношение ко мне, но подозреваю, что это случалось...

— Хотя ты никогда не жаловалась...

— Я никогда не говорила с ним о Вере.

— Почему, интересно... ты ведь ее не боялась...

— Нет... Как странно, впрочем... я будто ощущала себя с нею в некотором роде на равных.

— Не думаешь ли ты, что твое молчание объяснялось скорее боязнью огорчить отца...

— Может быть... у меня было впечатление, что он несчастлив, он выглядел таким озабоченным... в нем было что-то, возбуждавшее во мне желание оберегать его...

По возвращении домой в моем присутствии ничего не было сказано, но я знала, что Вера с возмущением расскажет ему... и спрашивала себя, не упрекнет ли ее отец в том, что она мне отказала... он-то, безусловно, так бы не поступил, и ничего бы не произошло...

Мне кажется, что я говорила себе именно это, когда, как обычно, почти сразу после ужина отправилась в свою комнату, Вера — в свою, а отец — в кабинет...

Я была уже в постели, почти засыпала, когда вошел рассерженный отец... «Да как ты посмела?.. Ты отдаешь себе отчет, в какое положение ты поставила Веру?.. и себя саму... какой срам...» я чувствую, что он устал, что это для него тяжкое наказание — делать сердитый вид, он принимается расхаживать взад-вперед по комнате, мне кажется, он нарочно себя взвинчивает... «Невероятно! Какое неприличие, сколько притворства...» Он останавливается перед моей кроватью... «Но в конце концов, почему, что на тебя вдруг нашло? — Мне очень их хотелось...» Этим ответом я подтолкнула его, придала недостававшие силы...

— Ты, конечно, к тому не стремилась, твоя забота о нем все-таки так далеко не шла...

— Мои слова приводят его в ярость... Он повторяет их: «Потому что мне их хотелось! Хотелось! Значит, я все могу себе позволить! Меня ловят как вора, я причиняю боль... другим... Мне этого хочется — значит, я делаю все, что мне в голову взбредет... Подумайте только, мне этого хочется...» У меня впечатление, что теперь он страдает и негодует по-настоящему... «А я, ты что воображаешь, будто я делаю все, что мне хочется? Как ты думаешь?.. Мне очень чего-то хочется, значит, ничто меня больше не сдерживает, я ни с чем не считаюсь...» Эта взбешенная речь проходит через меня и теряется где-то далеко... «Ну, если уж человек так устроен... я ощущаю теперь на себе его отвращение... могу сказать, не преувеличивая... его ненависть... Тогда я отворачиваюсь к стене... Он говорит еще что-то, вроде: «Прекрасные плоды это принесет, уж будьте уверены, мы получим отличные результаты» — и он выходит, яростно хлопнув дверью.

Я ничего не делаю, сижу мечтательно у большого стола из кованого железа в каком-то чахлом саду, очевидно, в саду виллы поблизости от Парижа — в Медоне или в Кламаре? — где мы проводим лето. Адель, приехавшая из Бретани, чтобы заниматься с Лили, устроилась напротив меня, чуть поодаль от стола, и, склонив голову, не то шьет, не то вышивает. У нее морщинистое сероватое лицо, сидящие волосы собраны на затылке в маленький пучок, она в своем неизменном длинном сером платье, нос у нее изогнут, как клюв, уголок сморщенного века прикрывает глаз... как у некоторых хищных птиц... но в ней нет ничего угрожающего, в отличие от них, когда они неподвижно дремлют на перекладине в своих больших клетках. Она очень живая, подвижная, активная, и я не замечала в ней ничего злого... и доброго тоже, можно подумать, что она вообще не способна испытывать какие-либо чувства.

Не отрываясь от своего шитья или вышивания, она просит меня передать ей ножницы, которые лежат возле меня на столе. Я рассеянно беру их, не думаю, за какой конец, и протягиваю ей... Она поднимает голову, ее маленькие глазки, черные и блестящие, без всякого выражения, вперяются в направленное на нее стальное острие, и с ее тонких губ срываются эти слова: «Тебя, значит, не научили у твоей матери, что ножницы следует передавать не так?»

Я отлично знаю, как положено протягивать острые предметы — ножницы, ножи, но от этого «у твоей матери» уже готовое «о, простите» замирает.

«У твоей матери...», хоть я никогда не слышала, чтобы при Адели кто-нибудь хоть намеком касался моей матери. Я и подумать не могла, что Адель знает о ее существовании. И вот сейчас вдруг выясняется, что Адель не только знает о существовании моей матери, но и никогда не упускает ее из виду... видит ее через меня... Она всегда видит на мне ее печать. Признаки, которые я, сама того не ведая, несущая на себе... дурные признаки...

— Отрицательные... Да, отрицательные у тебя, меж тем как те же самые признаки у других являются признаками положительными... У тебя эти признаки приобретают обратное значение. Вот Адель, да и Вера тоже говорят о тебе с оттенком презрения... «О, она не привередлива, ест что попало...», давая тем самым понять, что постоянные отказы Лили от пищи и ее капризные причуды являются свидетельством ее тонкой природы... И поскольку ее хрупкое здоровье считается достоинством, твое крепкое здоровье свидетельствует о примитивности, о некоторой грубости натуры.

Точно так же слово «нервный» в приложении к Лили приобретает положительный смысл... «Она нервная» выражает: «Какая в ней жизненная сила, какая она живая!»

— Все это должно было мне дать понять, кем я была в глазах Адели, что она, как идеальная прислуга, мигом схватила... Такие вещи она понимала тотчас, она, должно быть, говорила это себе, когда, приподняв и наморщив кожу одной своей тощей щеки, выпускала сквозь боковые зубы воздух с легким причмокиванием, означавшим, казалось: «Уж в этом-то я толк знаю... Я знаю жизнь. Меня не проведешь. Ах, тут уж ничего не поделаешь, так уж повелось...» — и эти свои размышления, выражавшиеся, как правило, ее легким причмокиванием, она сопровождала покачиванием головы и каким-нибудь «во-во... во-во, еще бы», подчеркивающим полную ее уверенность. Какие могут быть сомнения. Она ощутила атмосферу дома, как только приехала, она унюхала, «откуда ветер дует», она знала, за кем тут сила и где тут слабость. Кто тут был ребенком барыни, а кто ребенком женщины, которую барыня недолюбливает, на которую барыня держит зуб, ребенком, которого, если вздумается, позволено бросить, даже не по злобности, а потому, что так оно само собой вышло: «Ах, что уж тут говорить... там, откуда этот ребенок приехал, таких вещей не понимают, не ведают тонкостей...», «Тебя, значит, не научили у твоей матери, как положено передавать ножницы?»

— Не совсем понятно, откуда вдруг у тебя могло взяться... никогда раньше, даже пока ты готовилась к поступлению в школу Бребан... не бывало такой радости, нетерпения...

— И все же это было совсем не от того, что говорили при мне друзья отца... «Совершенно необходимо отдать ее в муниципальную школу. Нигде она не получит такого хорошего образования. Там закладывают крепкий фундамент на всю жизнь...» я помню каждое слово, но этого недостаточно, в десять лет я не была таким рассудительным маленьким чудовищем...

— Да, вряд ли этим можно объяснить твое странное влечение к школе весьма неприветливого вида на улице Алезии. Ее пыльные кирпичные стены были похожи на стены школы на улице Фельянтинок, такие же угрюмые, унылые.

Мне было слышно из своей комнаты, как школьный двор, примыкавший ко двору, куда выходили мои окна, взрывался на переменах криками, воплями детей, которых, наверное, как когда-то нас, выпускали на залитую асфальтом, посыпанную гравием квадратную площадку, без

единого деревца... а потом, по свистку, точно внезапный обморок, падение — полная тишина.

Но когда я смотрю на Веру, как она расстилает на столе большой лист темно-синей бумаги, раскрывает на самой середине каждую тетрадь и книгу, раскладывает их так и сяк на листе, меняет местами, прикидывает, обдумывает, потом разрезает, загибает, захлопывает, приглаживает, наконец удовлетворенно оглядывает... она выглядит молодо, она оживлена, ей, видимо, больше нравится заниматься этим, чем набивать папиросы... То, что я испытываю, наблюдая за ней, сродни моему радостному возбуждению, когда я смотрела, как вырезают, скручивают, клеят, красят, вешают на золотых нитях, обвязывают ленточками все то, что потом украсит рождественскую елку.

Я не прошу у Веры разрешения помочь ей, я вижу, что это слишком сложно, не хочу ничего повредить, но она позволяет мне с помощью ватки, смоченной в воде, которая налита на дно блюдечка, приклеить точно посередине каждой книги, каждой тетради большую белую этикетку с синей каемочкой. А потом, вооружившись новой красной ручкой с новым пером — кончик у пера широкий, — я пишу своим самым красивым почерком в верхней части каждой этикетки: Nathalie Tcherniak.

— И как тебе вдруг вспомнилось из такого далекого прошлого это Т, все в завитушках, ведь позже ты всегда писала свою фамилию с печатного Т...

— Я снова его ясно вижу, это старомодное Т, которое совершенно стерлось из моей памяти. Другое, из двух палочек, я стала писать только в лицее. Я находила его более современным, несколько вызывающим...

— Помнишь, увидев однажды твое Т, Вера сказала: «А смотри, так красивее... Как это ты придумала? Я тоже буду теперь так писать...» — а подобное одобрение, чуть ли не восхищение со стороны Веры... большая редкость...

— Я была очень удивлена и очень польщена.

Каждое утро в одно и то же время, прежде чем захлопнуть за собой входную дверь, отец говорил, ни к кому не обращаясь: «Я ушел». Не «Я уйду», а «Я ушел»... словно боялся, что его удержат, словно желал быть уже далеко отсюда, там, в другой своей жизни... И я, я тоже кидалась на улицу с таким же нетерпением...

— Но ты не сравнивала себя с ним...

— Я ни с кем себя не сравнивала. Я просто пытаюсь через то, что я чувствовала в нем, ощутить то, что происходило во мне самой, когда, размахивая портфелем, я скатывалась с лестницы и бежала в школу.

Смутный запах карболки, бетонные лестницы, классные комнаты вокруг двора без единого деревца, высокие, грязно-песочного цвета стены, совершенно голые, если не считать черной доски в глубине класса за кафедрой и выцветшей карты департаментов, — все это излучало нечто такое, отчего, стоило только войти, у меня возникало чувство, предчувствие жизни...

— Более насыщенной?

— «Более» — не то слово. «Другой» — будет вернее. Другой жизни. Жизнь, оставшуюся там, снаружи, даже сравнить нельзя с этой... Но как, с какого конца ухватить ее, чтобы заставить хоть ненадолго ее вернуться, эту новую жизнь, мою настоящую жизнь...

— Осторожно, ты впадаешь в патетику...

— Ладно, попробуем для начала просто выделить одно из ее мгновений... в нем одном... позволь мне это сказать... в нем одном столько забав и удовольствий...

Немного неповоротливая, в плотном черном переднике с длинными рукавами и пуговицами на спине, которые не очень-то удобно застегивать, я склоняюсь над партой, как и все другие девочки в классе, почти такого же роста и возраста, что и я... мы пишем в ученических тетрадях, в которых сначала каждая надписывает в левом верхнем углу имя и фамилию, в правом верхнем

— число, а посередине слово «Диктант», и его, как фамилию и число, надо подчеркнуть, ловко проводя пером по линейке, чтобы не поставить кляксу. Линия должна получиться безукоризненно прямой и четкой.

Учительница медленно прогуливается в проходах между партами, у нее звонкий голос, каждое слово она произносит очень отчетливо, иногда даже немного хитрит, подчеркивая голосом связи слов друг с другом, чтобы мы слышали, на какую букву слово кончается. Такое впечатление, что эти слова были специально отобраны для диктанта по своей красоте, по совершенной безупречности. Все они выделяются с особой четкостью, их форма словно вырисовывается, как никогда ни у одного слова из моих книг... а потом с непринужденностью и естественным изяществом оно привязывается к предыдущему или к тому, которое следует за ним... Надо только быть повнимательнее и не повредить их... легкая тревога подстегивает меня, пока я проверяю... соответствует ли слово, которое я пишу, уже знакомому мне, виденному раньше... Вроде бы да... только нужно ли писать окончание «ent»? Осторожнее, это глагол... вспомни правило... ты уверена, что вон то слово — его подлежащее? Смотри в оба, не упusti чего-нибудь... и я уже вся в этом, я теперь только некое существо, которое напрягается, вглядывается, колеблется, возвращается, находит, вычленяет, сверяет... да-да, точно, это подлежащее, во множественном числе, как и положено, кончается на «s», значит, в глаголе надо писать «ent»?

Мое удовлетворение, мое умиротворение быстро сменяется новой тревогой, и я опять напрягаю все свои силы... что может быть увлекательнее такой игры?

Учительница собирает диктанты. Она проверит их, красными чернилами выпишет на полях ошибки, сосчитает их и поставит отметку. Ничто не сравнится с правильностью знака, который она выведет под моей фамилией. Он воплощение правоты, объективности. Достаточно его одного, чтобы лицо учительницы, когда она смотрит на меня, выразило одобрение. Я только то, что я написала. А не то, чего я не знаю, что предполагают во мне, налагают на меня без моего ведома, как всегда делают там, снаружи, в моей другой жизни... Тут я нахожусь под надежным прикрытием от всяких капризов, причуд, от неясных порывов, тревожных, неожиданно вызванных... мною ли? или чем-то, что можно ощутить за мной, что я собою заслоняю? Ничто не проникает сюда и от той любви, «нашей любви», как сказано в маминых письмах... которая будит во мне нечто причиняющее страдания, будит такое, что, несмотря на боль, следует возвращать, поддерживать, а я подло стараюсь задавить... Здесь от всего этого нет и следа. Здесь я в безопасности.

Меня защищают законы, которые одинаковы для всех. То, что происходит со мной тут, зависит только от меня. Я одна за все в ответе. И это участие, эта забота, которыми я окружена, преследуют единственную цель — помочь мне обрести, осуществить то, чего я хочу и сама, что в первую очередь именно мне доставляет такую радость... «Ну, Натали, что у тебя опять с этим глаголом «арегсевоир»^[8]? «Снова написала с двумя «р»! — О, не может быть... я просто снова подумала об «apparaitre»^[9].

— Послушай, детка, вот что надо сделать... напиши двадцать раз подряд «я замечаю только одно «р» в глаголе «арегсевоир»? Меня восхищает такая находчивость.

Здесь все делают для «моего же блага», стараются вложить в мой ум что-то, созданное точно по его размеру, предусмотренное специально для него...

— Ну, все-таки не совсем... иногда тебе бывает трудно что-то схватить, слишком пространное или изощренное..

— Да, как раз настолько, чтобы помешать моему уму расслабиться, обмякнуть, чтобы заставить его сильнее напрячься, освободить место тому, что предложено, что должно заполнить его... цифрам из таблицы умножения, названиям департаментов, потом префектур, и

еще усилие, чтобы его смогли занять и хорошо в нем устроиться названия округов... вот наконец все они здесь, на своих местах...: они подчиняются моему зову, стоит только произнести название департамента, как тут же, одни за другими, покорно возникают префектуры и округа... Только совершенное мастерство может принести такое удовлетворение.

Даже там, снаружи, школа защищает меня. Мимо моей двери проходят не задерживаясь, чтобы не мешать мне заниматься...

А я, напротив, могу входить в рабочий кабинет отца, когда, вернувшись домой, он отдыхает, вытянув ноги, в своем кресле, обитом темно-зеленой кожей, после долгого дня, проведенного стоя, над колбами и пробирками., правда, отец говорит, что не чувствует усталости, когда работает... Как только появляюсь я, он откладывает химические журналы, которые пролистывал до моего прихода или толстую вечернюю газету... Он смотрит на предмет у меня в руке...

— В выпускном классе ты приносила ему задачки, которые словно и в самом деле были сделаны не по твоему уму.

— Я тщетно пыталась вспомнить, как следует рассуждать, мне никак не удавалось определить количество литров воды, вытекающей из крана, или ненавистные часы прибытия встречных поездов... Отец мгновенно отыскивал эти цифры загадочными, колдовскими алгебраическими методами... «Вот какой должен получиться результат... Но тебе надо решить арифметически... А этому лично меня не учили». И вот мы уже мучаемся вдвоем, отец сидит рядом со мной за письменным столом, а я пытаюсь восстановить объяснения учительницы... мне казалось, я их запомнила, но все вылетело из головы... иногда объединенными усилиями мы к концу наших рассуждений все-таки добиваемся нужного числа, да, это оно, то самое, которое отец нашел с помощью алгебры. Одинаковое удовлетворение переполняет, расслабляет нас обоих, оно играет на наших лицах, когда мы входим в столовую, садимся за стол и, уже не вспоминая о нашей задаче, ужинаем вместе со всеми.

Но иногда мы терпели неудачу и, поужинав, садились решать снова.

— Бывало, отец в конце концов говорил, что тебе уже пора спать... он обратится за помощью к кому-нибудь из друзей, живущих по соседству...» Он-то точно знает, он посильнее меня в этих делах... Но что за безумие давать детям такие задачи!»

— Я уже почти или даже совсем сплю, когда входит папа... «Ты спишь? — Нет, нет, ничего... Ну что, решили? — Да, это проще простого, и как мы не догадались?» Папа присаживается ко мне на постель и объясняет... Мне не кажется, что это так уж просто... все рассеивается... путается... но вдруг расчленяется на очень четкие элементы, которые словно сами собой становятся на место, на свое законное место... другого и быть не может... в безупречном порядке они следуют друг за другом к числу, которое ожидает их, оно и есть бесспорный знак их осуществления... «Я сейчас все запишу... — Ну давай, только поторапливайся, уже поздно».

Я уже не помню, где это произошло... в заволакивающем все тумане я различаю только смутный силуэт сидящего рядом со мною отца. Мне кажется, его голова повернута в профиль, и он не смотрит не меня, когда объявляет, уж не знаю какими словами, что мама предлагает меня забрать.

— Прошло полтора года... если не два...

— Он говорит, что мама поставила условие: поскольку она никак не сможет ни сама за мной приехать, ни послать кого-нибудь, ему надо позаботиться о том, чтобы отправить меня к ней... А он-то прекрасно понимает, что, если ей и впрямь так уж этого хочется, она сможет и сама, средств у нее достаточно... что же касается его, то на этот раз она и пальцем не пошевелинет, чтобы помочь ей, разве что... «Разве что ты сама попросишь...»

Нетрудно восстановить то, чем было наполнено молчание, предшествовавшее моему ответу:

шоком от внезапного возникновения всего того, от чего я оказалась оторванной, что я силилась от себя отодвинуть, от чего помогали мне избавиться письма, приходявшие оттуда, все более далекие, словно нереальные... открытием, к тому же, того, что еще наваливает на меня отец... ответственности за решение, принять которое должна я сама... что еще более или менее близко к правде?.., но все равно, это воспроизведение того, что я, возможно, ощущала на самом деле, походит лишь на картонный макет, уменьшенную модель строений, домов, храмов, улиц, площадей и садов затопленного города...

— Не целиком...

— Что-то еще возвышается над поверхностью, по-прежнему реальное... огромная глыба... невозможность высвободиться из того, что так властно меня держит, и я в нем зажата, оно распрямляет, поддерживает, укрепляет меня, придает форму... И поэтому каждый день у меня такое чувство, будто я карабкаюсь на высшую точку себя самой, где воздух чист, живителен... на вершину, с которой, если мне удастся ее достигнуть и удержаться на ней, передо мной откроется весь мир... и тогда уже ничто не сможет от меня ускользнуть, там не будет ничего, что я не смогу узнать...

— Как ни странно, но ты испытывала именно то чувство, которое стремилась привить тебе начальная школа...

— Я очень удивилась, узнав, уже гораздо позже, что такую задачу, среди прочих, ставило перед собой начальное образование. Со мной, во всяком случае, оно в этом преуспело.

— Школа главенствовала над твоим существованием... она придавала ему смысл, истинный смысл, значимость... Когда ты тяжело заболела... корью... и взывала к небесам...

— Да, смешно, я молила оставить меня в живых до тех пор, пока «все не узнаю»...

— И какая растерянность, потеря равновесия потом, в лицее, когда ты обнаружила, что этот предельно заверченный, полностью доступный мир разверзается со всех сторон, рушится, утрачивается...

— Но вернемся к моему ответу — я не заставила себя долго ждать... лишь мгновение, — я отступаю... мне будет больно самой отрезать нити, еще связывающие меня с матерью, они, правда, уже не так туго натянуты, но в какие-то моменты я их чувствую, они начинают меня подергивать... это вроде той скрытой боли, которую вызывает окружающая атмосфера — холод, влажность... но слова отца... «Если ей и впрямь так уж этого хочется, она может и сама...» действуют как наркоз, помогающий без особых страданий окончательно порвать то, что еще привязывает меня... вот, готово: «Я хочу остаться здесь».

Не помню, обнял ли меня отец, не думаю, — это не прибавило бы мне ощущения прочности нашей связи, его полной поддержки, не ставящей условий, ничего не требующей от меня взамен, мне не надо было ни единым словом показывать ему, что я чувствую... и даже не испытывай я к нему того, что принято именовать любовью — у нас этому не было названия, — ничего бы не изменилось, моя жизнь все равно была бы для него важнее всего... может, важнее его собственной? во всяком случае, не менее важной...

Я понимала, что в радости, которую он старался подавить в себе, была и уверенность, что мой выбор правилен в первую очередь для меня самой.

— А для него... впрочем, задумывался ли он об этом? Твое присутствие у него в доме могло только усложнить его жизнь... Позже выяснилось, что, прежде чем принять решение жениться во второй раз, он спросил у твоей матери, согласится ли она оставить тебя у него, но даже не удостоился ответа...

— Как знать, не ощутил ли он мимолетную горечь... я заметила только, что его отпустило, он расслабился... и почувствовала в его голосе радостное сообщничество со мной, когда он сказал: «Знаешь, мне достаточно просто не двигаться с места... Если я сам тебя туда не

отправлю, за тобой наверняка никто не придет».

По средам, во второй половине дня, после школы, так как у нас нет уроков на завтра, мы играем иногда с Люсьен Панар, девочкой из моего класса. Мы почти одного возраста, месяца два разницы, и одного роста, у нее превеселое худенькое личико, чуть раскосые глаза и две толстые золотые косы, которые ей долго заплетает мама, они спускаются ниже талии, не то что мои «крысиные хвостики», доходящие только до плеч, я сама мгновенно их заплетаю. Люсьен остается ждать меня на перекрестке улиц Алезии и Маргерэн, а я забегаю домой, чтобы положить портфель и предупредить, что иду к ней.

Кафе ее родителей с вывеской «Панар» красными тяжелыми буквами над входом находится в самом конце проспекта Монсури, прямо у ворот парка, справа, на углу двух улиц.

Я очень люблю это маленькое кафе, такое светлое, сверкающее чистотой, и родителей Люсьен, они милые и молодые, они часто смеются, шутят... Я радуюсь, когда мадам Панар позволяет нам мыть чашки и стаканы, это милость, о которой мы должны просить ее, обещая делать все очень осторожно... Но мне все-таки больше нравится ставить на столик перед клиентом бокал с вином или чашечку кофе, говорить: «Пожалуйста, мадам» — тоном настоящей официантки, собирать мелочь: «Благодарю вас, мсье», относить ее в кассу, следить, когда посетители уйдут, чтобы ринуться к столику, все убрать, хорошенько вытереть его смоченной губкой. Уж не знаю, может быть, мой раж, мое наслаждение передаются Люсьен, но мы обе, а ведь у нее каждый день есть такая возможность, с одинаковой ревностью наблюдаем друг за другом, чья сейчас очередь подавать... в этот час посетители редко присаживаются за столик, мы ссоримся, иногда вмешивается мадам Панар, она сама решает, чьи протянутые руки выбрать... отстраняет — нет, сейчас не ты... и отдает в руки другой вожаделенную чашку или стакан... На, неси, твоя очередь... А ты — в следующий раз. На полдник она разрешает нам выбрать рогалик, булочку или пирожное, которые разложены под стеклянным колпаком, дает каждой по плитке шоколада и наливает обеим в стаканы лимонад, и мы пьем его за стойкой. Когда нам надоедает играть в мойщиц и подавальщиц, мы отправляемся в парк, крутим возле входа скакалку «на пожар», ловим резиновый мячик, подбрасывая его все выше и выше, пытаемся жонглировать двумя, тремя мячиками...

Мы мало разговариваем, но, не знаю почему, мне с ней, а ей, думаю, со мной никогда не бывает скучно.

Урок чтения наизусть... я слежу за рукой учительницы, за пером, скользящим сверху вниз по списку фамилий... колеблется... спустилась бы чуть ниже, к букве Т... перо доходит до нее, рука останавливается, учительница поднимает голову, ищет меня глазами, вызывает...

Мне нравится ощущать легкий страх, возбуждение... Я прекрасно знаю текст наизусть, я не боюсь ошибиться или забыть хоть слово, но самое главное — начать с верной интонации... вот, начала... лучше слишком не повышать и не понижать голос, не напрягать его, не делать его вибрирующим, а то будет стыдно... в тишине раздается мой голос, слова выделяются четко, ясно, именно так, как должны, они несут меня, я растворяюсь в них, и мое удовлетворение...

— Никакая актриса не могла бы ощутить его полнее...

— Да, пожалуй. Аплодисментов, впрочем, не было, но какие аплодисменты, какие овации доставят больше радости, чем уверенность в том, что я достигла совершенства... что подтверждает — как должно, справедливо — сама учительница, когда произносит слова, в которых нет места для малейшего сомнения. «Очень хорошо. Ставлю тебе десять».

«Тебя подбросили»... только в таких редких случаях я осознаю, на каком языке обращалась ко мне Вера, она говорит со мной по-французски очень редко, а с Лили — всегда, чтобы «не путать малышку двумя языками»... но на этот раз, я уверена, она произнесла это по-русски... по-французски она бы сказала «on t'a abandonné», что было бы лишь мягким, безжизненным

эквивалентом русских слов... русский глагол, употребленный ею...

— А где это было? С чего вдруг она так сказала?

— Мы идем с ней рядом по унылому саду, по посыпанной песком аллее, которая вьется между газонами... это мог быть только парк Монсури... Вера очень худая, бледная, на ней большая коричневая бархатная шляпа, боа вокруг шеи, она катит перед собой коляску с Лили и говорит: «Тебя подбросили»... Но с чего вдруг... это я не могу вспомнить... может быть, и ни с чего, просто так, потому что ей внезапно пришло в голову... она и не попыталась сдержаться или не смогла... русские слова брызнули жестко и сжато, как всегда из ее уст... глагол «подбросили» буквально означает «бросать», но у него есть еще незаменимая приставка «под», означающая «снизу», и все вместе, целое, глагол с приставкой, подразумевает тяжкий груз, от которого тайком избавляешься, перекладывая на чужие плечи...

— Как кукушка?

— Да, но мне кажется, в том, что делает кукушка, есть и предосторожность, предусмотрительность, тогда как это русское слово подразумевает грубое и в то же время скрытое отторжение...

— В тот момент тебя вряд ли занимали богатства, таящиеся в этом слове...

— Тогда я не была так околдована ими, как теперь, но одно очевидно — от меня не ускользнул ни малейший оттенок... да и мог ли он ускользнуть от ребенка?.. того, что этот глагол и местоимение, предшествовавшее ему, «тебя подбросили», несли мне с собой...

Но, несмотря на ненависть Веры против тех, кто навалил на ее плечи этот груз и обязал с ним возиться, несмотря на ее ярость, вызванную бременем, которым я стала для нее... да, хотя эти слова и ранили меня, эта грубость принесла мне странным образом умиротворение... Я там не нужна, меня отталкивают, следовательно, моей вины в том нет, решение исходит не от меня, хочу я того или не хочу, я должна остаться здесь, у меня нет выбора. И совершенно ясно и понятно, что я должна жить здесь, и нигде больше. Здесь. Со всем тем, что здесь есть.

— Ты уже знала, что Верин характер и ее отношения с тобой были только частью, к тому же не самой важной, этого «всего».

Я вхожу в свою комнату и, еще даже не положив портфель, замечаю, что мой медведь, Мишка, которого я оставила у себя на кровати... никогда не был он таким мягким, милым... если холодно, я укрываю его квадратным вязаным одеяльцем по самый подбородок, так что виднеется только его шелковистая желтая мордочка, размягшие уши, истершиеся черные нитки носа и всегда живые, блестящие глаза... его нет... где же он? я мчусь к Адели... «Адель, исчез мой мишка. — Его взяла Лили... — Да как же ей удалось? — Она дотопала до твоей комнаты... дверь была открыта... — Где он? Куда она его дела? — Она его разодрала... это было нетрудно, он и так уже на ладан дышал, в тряпку превратился... — Но можно его зашить... — Нет, ничего не выйдет, я его выбросила...»

Мне не хочется видеть его. И если я произнесу еще хоть слово, Адель наверняка ответит: «Таких медведей сколько угодно. К тому же новых, да и покрасивее...» Я бегу к себе, бросаюсь на кровать и заливаюсь слезами...

— Никогда, ни на кого ты так не сердилась, как на Лили в ту минуту...

— Потом я поставила вне ее досягаемости русские резные коробочки из дерева, круглую и прямоугольную, расписную деревянную плошку, не помню какие еще сокровища, собственные мои сокровища, цену которым никто, кроме меня, не знал, не могла же я допустить, чтобы до них могло дотронуться и завладеть ими это маленькое, орущее, дикое, бесчувственное, зловерное существо, этот дьявол, этот демон...

Я спрашиваю Веру, уже не помню, в связи с чем, да это и неважно: «Почему нельзя так делать?» — и она отвечает мне: «Потому что так не делают» — своим упрямым, жестким тоном,

глотаю больше обычного гласные, сталкивая друг с другом и без того стиснутые согласные, и этот поток, хлесткий, жесткий, заливают то, что движется во мне и хочет взбунтоваться...

«Потому что так не делают» — вот барьер, стена, к которой она меня тащит, в которую мы сейчас упремся... Наши пустые, на выкате, глаза тупо глядят на эту стену, преодолеть ее мы не в состоянии, бесполезно и пробовать, наши головы покорно от нее отворачиваются...

— Неужели в ту минуту тебе не пришло в голову воспользоваться тем, что вручила тебе мама перед отъездом... ведь какое-то время ты об этом помнила...

— Да, мамины слова, произнесенные в номере берлинского отеля вечером накануне нашей разлуки, «Вера дура»... вроде узелка, который она дает мне с собой в дорогу, как ребенку, в пансион... На, держи, мой дорогой, ты им воспользуешься, когда будешь далеко от меня, там это может тебе пригодиться...

— Нет, здесь мне надо тебя остановить, ты уже плывешь по воле волн, твоей матери и в голову не пришло бы дать тебе это, как узелок с домашним завтраком, который вручают детям, провожая их в пансион... Ты сама спровоцировала ее своими вопросами: «Мама, что тебе сказал дядя? О чем вы говорили?» И она ответила, уже уступая тебе: «Дядя сказал, что Вера дура»... но, произнося эти слова, она забыла о тебе, она уже не видела тебя, она думала в тот момент о чем-то другом, что удивило и рассмешило ее... о чем-то забавном, что сообщил ей дядя и на что она, на мгновение, обратила внимание... и потому, со своей бездумностью, вечной своей беспечностью, не думая о том, что ты сделаешь с ее словами, она позволила тебе взять и унести с собой это «Вера дура».

— И первое время я хранила в себе эти слова, они того стоили, ни с чем подобным мне еще не приходилось сталкиваться. На взрослого напялили невидимый дурацкий колпак... И уж конечно, никто и понятия об этом не имеет — ни отец, ни сама Вера, ни все остальные, только мы с дядей, который иногда как ни в чем не бывало их навещает, ее и папу, и ничем себя не выдает.

«Вера дура...» должно быть, в ее голове чего-то не хватает, а бедняжка и не подозревает об этом, ничего не попишешь, так уж она устроена... только как можно заметить это со стороны? Что же видит дядя? Он говорит с ней точно так же, как со всеми остальными... но я, когда она мне что-то запрещает или велит что-то сделать... когда говорит, что она думает по тому или иному поводу... способна ли она вообще думать? может ли она понимать? ведь она же «дура».

Меня мучит, что я не могу верить ее словам, что я вынуждена постоянно сомневаться и никому не могу довериться. Да и кому откроешь такое?

— Мне кажется, однажды, вскоре после твоего приезда, незадолго до появления на свет Лили, когда Вера как могла заботилась о тебе... не приснилось ли мне это? неужели ты действительно разрыдалась и сказала ей...

— Это почти невероятно, но я и правда вспоминаю... Я изо всех сил обдумываю то, что Вера попросила меня сделать — ведь не могла я верить всему, что она скажет, — и, решив, что она все-таки не права, я не послушалась ее...

— Но что же она тебе сказала?

— Не помню, я могу только вновь ощутить свое отчаяние, свое одиночество, непосильное бремя, от которого мне необходимо избавиться... она расспрашивает меня, пытается понять... «Почему ты упрямисься? Почему не хочешь меня слушаться?.. — Я не могу сказать... — Нет, скажи, скажи... — Нет, не могу... — и наконец, сквозь слезы... — Я не могу слушаться тебя, потому... потому, что... ты... ты... дура... Мне так сказали... — Но кто?» Не знаю, сколько времени понадобилось этим душившим меня словам, чтобы проложить себе дорогу и выстрелить ей прямо в лицо: «Дядя, когда он приехал за мной в Берлин... он сказал это маме».

Как ни трудно в это поверить, но, к несчастью, так все и было. Но это случилось в самом

начале моего пребывания в Париже, когда я была еще слабым, нетвердо стоящим на ногах ребенком, только-только расставшимся со своими «мыслями», приставучим и доверчивым, ребенком, который ничего не скрывает, рискуя вывести из себя, вызвать раздражение, злобу, лишь бы не остаться в одиночестве, в стороне, храня в себе что-то, что никому нельзя показывать, что терзает его и властвует над ним...

А теперь-то я здесь почти два года, я уже не тот необузданный младенец... Слова «Вера дура» больше не возвращаются ко мне... Впрочем, ни одно слово к ней не подходит...

— Да, если подумать, ты действительно ее никак про себя не называла... Даже «злюкой»...

— Любопытно, что, когда мне приходилось слышать, как другие дети называют свою мачеху «злюкой», я очень удивлялась... в моем воображении сразу возникали картины, которые в «злюке» никак не уместались.

Во всяком случае, когда она мне сказала и, видимо, повторила это не раз «Потому что так не делают»... слова «Вера дура» не стали теми антителами, которые позволяют организму бороться со вторжением микробов. Нет, даже если бы это «Вера дура» и было тогда в моем распоряжении, из него не получилось бы противоядия.

Я коснулась того, к чему она раз и навсегда запретила себе приближаться, не так уж она глупа, зачем ей терять время?

«Так не делают» — и это прекращает любые расспросы, лишает смысла любые споры.

«Так не делают» — эти слова похожи на восточных императоров древности, перед которыми склонялись подданные, не осмеливаясь даже поднять на них глаза.

А я имела наглость выразить желание разглядеть вблизи, пощупать... что же мне здесь мешает?.. «Почему нельзя так делать?» И то, что в моем сознании позволило абсурдным, непристойным словам сформироваться, вырасти, зашевелиться, получило меткий удар линейкой: «Потому что так не делают».

Удар вполне заслуженный, раз уж ты так бестолкова и самонадеянна и пытаешься объяснить себе, пытаешься понимать... почему бы и не судить?., или тем более, если объяснение покажется неубедительным, все-таки наперекор всему свету сделать то, чего не делают?

Но когда обрушивается это «Потому что так не делают»... я будто... чуть не сказала... оглушена, раздавлена... этого можно было бы ожидать... но на самом деле меня охватила бессильная ярость... так бьешься головой о стенку, топаешь ногами... слепой, нелепый гнев, такой гнев вызывает в тебе предмет, о который ты больно стукнулся, хочется дать ему сдачи... мне не терпелось по нему ударить, избить его. Но отвечать ударом на ее «Потому что так не делают», обрушивая свое «А почему? Почему так не делают?». Нет, я не могла, мне не доставало храбрости...

— А в общем-то, если посмотреть со стороны, опасность была не так уж велика...

— Зато в самой Вере эти слова могли вызвать... безмолвную вспышку, яростное кипение, едкий дым, поток раскаленной лавы... нет, никогда я бы добровольно не осмелилась выпустить все это наружу, никогда бы не допустила, чтобы ее слуха достигло, пусть еле различимое, произнесенное шепотом, мое «А почему так не делают?».

Когда приходят друзья, отец преображается. Исчезает его замкнутость, он размякает, делается оживленным, он много говорит, он спорит, что-то вспоминает, рассказывает анекдоты, он развлекается сам и любит развлекать других. Все сидящие вокруг, за большим овальным столом в столовой, смотрят на него с симпатией, с восхищением, в нем столько ума, остроумия... даже мама как-то сказала мне, — редкий случай, она редко о нем говорила... «Твой отец очень умен...»

— Она сказала это однажды еще в Петербурге, просто так, без повода, равнодушным, безразличным тоном, как будто только констатировала факт, не придавая ему особого

значения...

— По воскресеньям, во второй половине дня, ко мне приходит Миша, его родители тоже здесь, а еще господин и госпожа Переверзевы, господин Иванов, большой друг отца, и господин Билит, у которого есть привычка приходить без предупреждения, в любой вечер, когда ему захочется, и если мы в это время как раз ужинаем, ему ставят прибор. Вера, которую смешит и удивляет его волчий аппетит, подает ему на десерт, даже если ужин был достаточно обилен, огромный омлет с вареньем — его любимое блюдо. Господин Билит — замечательный математик. В каком-то сражении или, может быть, покушении он потерял левую руку — из рукава у него высовывается деревянная ладонь в коричневой кожаной перчатке. Тут же сидят две сестры, дамы в возрасте, и другие гости, которых я меньше знаю и про которых я меньше помню.

Когда я смотрю на мужчин и женщин, собравшихся вокруг стола, людей стареющих, усталых и чуть печальных, я думаю, что никто, наверное, не догадался бы, какие они незаурядные, выдающиеся личности — революционеры, герои, которые не колеблясь шли навстречу самым страшным опасностям, давали отпор царской полиции, бросали бомбы... они шли со скованными ногами, «по этапу», в самые недра Сибири, их сажали в карцеры, приговаривали к повешению, и они, не теряя выдержки, ожидали смерти, готовые, когда взойдут на виселицу, когда палач приблизится к ним, чтобы накинуть на их головы ужасный капюшон и обвязать шею намыленной скользкой веревкой, прокричать в последний раз: «Да здравствует Революция! Да здравствует Свобода!»

Я равно восхищаюсь ими всеми, без исключения, но больше всех, даже больше, чем родителей Миши и господина и госпожи Переверзевых — которых я очень люблю и часто хожу к ним в гости, — я люблю господина Иванова.

Тонкие черты его красивого лица, да и его фигура словно «пронизаны добротой»... ею лучатся морщинки вокруг его губ, его очень светлые, как бы выцветшие глаза и даже маленькие мешки под глазами...

Господин Иванов слегка заикается и кажется от этого еще более мягким, безоружным, простодушным... При мне кто-то рассказал, что он заикается с тех пор, как его разбудили в камере смертника и объявили, что приговор смягчен и казнь через повешение заменяется пожизненным заключением. Разумеется, он не подписал прошения о помиловании. Невзирая на мольбы близких и даже требования судей, он так и не согласился на такой шаг. Как, впрочем, не согласился бы никто из сидящих за этим столом. О тех, кто просил царя о помиловании, говорят понизив голос, как будто эти люди несут на себе позорное клеймо.

С двадцати до сорока пяти лет господин Иванов пробыл в заключении в Шлиссельбургской крепости, долгое время в одиночной камере, и единственным его чтением там была Библия... Я часто слышу эти слова — «Шлиссельбургская крепость», «Петропавловка», «охранка», «черная сотня»... Часто говорят о встречающихся в «колонии» подозрительных личностях, которые выдают себя за революционеров, а на самом деле не исключено, что они тайные полицейские агенты, шпионы... Мише они чудятся повсюду, и папа, смеясь, говорит, что господин и госпожа Агафоновы заразили его своей болезнью, «шпиономанией»...

— Несколько лет спустя, когда произошла революция и начали открывать досье охраны, выяснилось, что эти подозрения были порой вполне оправданны.

— Отец, хоть сам и смеется над этой их манией, не может удержаться, и когда ему кто-нибудь не по душе, начинает разбирать его по косточкам, превращая в столь беспокойную, мудреную и комическую фигуру, что гости внимают ему как замороженные, они очарованы его юмором, находками, остротами... его темные глаза горят, белые зубы сверкают, его острословие, его ум, будто искрящееся лезвие, режут... иногда прямо по живому... порою мне кажется, что оно режет и во мне... однако оно вонзается в кого-то другого, почти или вовсе мне незнакомого... но

я уже чувствую на себе его ледяное скольжение... мне немного больно, немного страшно... интересно, чувствуют ли это другие, как я? Господин Иванов, например? о котором отец говорит, что у него такой ясный, такой пронизательный ум, не считает ли он, что отец заходит слишком далеко... До сих пор он улыбался своей мягкой, тихой улыбкой... но вдруг его улыбка словно застывает, во взгляде проскальзывает какое-то движение... мне кажется, в нем что-то сжимается, съеживается... но совсем легонько, чуть-чуть...

Кто-то вежливо прерывает отца... «По-моему, Илья Евсеевич, здесь вы все-таки преувеличиваете... особой симпатии он, конечно, не вызывает, но я хорошо его знаю, не такой уж он плохой парень...» Господин Иванов лишь снисходительно кивает головой, он, должно быть, смотрит на необузданную горячность отца, как взрослый наблюдает за шалостями ребенка, порой слишком шумными, когда тот возбуждается, резвится... но он понимает, что отец на самом деле вовсе не злой... понимает, что, если тот, кого только что так безжалостно высмеял отец, обратится к нему за помощью, отец мгновенно забудет, каким он ему представлялся, и увидит в нем просто несчастного, нуждающегося человека, и никогда ему не откажет, отец не умеет отказывать...

— Вера пыталась порою его удержать... «Даешь неизвестно кому, все этим и пользуются... Уверяю тебя, у него побольше средств, чем у нас...», а он отвечал ей, слегка пожимая плечами: «Что ж, тем лучше для него».

— Вера сидит напротив отца, на другом конце стола, на месте, которое должна занимать хозяйка дома, перед большим медным самоваром. Она разливает чай в чашки и стаканы, раздает их, забирает пустые, ополаскивает дно над мисочкой, подставленной под кран самовара, снова наполняет их, передает обратно и постоянно следит за тарелками гостей, надо, чтобы всем всего хватало... она никогда не разговаривает, произносит разве что несколько слов, скорее даже слогов, или коротко смеется, из вежливости... Слушает ли она, что говорят? Ее неподвижные прозрачные глаза, напоминающие порой глаза кошек, порою хищного зверя, останавливаются время от времени на чьем-нибудь лице... а после ухода гостей она говорит, особенно о тех, кто бывает у нас нечасто, кто появился впервые, своим резким, не допускающим возражений тоном: «Такой-то (или такая-то) очень высокого о себе мнения». Чувствуется, что это окончательное обвинение, приговор, не подлежащий обжалованию... и это каждый раз вызывает у меня все то же удивление, все те же вопросы: с чего она это взяла? Почему из всех возможных суждений о человеке она выносит всегда одно-единственное? И почему она придает этому такое значение? Мне кажется, все люди, какими бы они ни были, делятся у нее на две категории: те, кто высокого о себе мнения, и остальные.

— Долгое время ты и не пыталась разобраться, что может содержать в себе это суждение...

— Оно поражало меня... Я начинала испытывать симпатию и даже некоторую зависть к тем, кто был «высокого мнения о себе»...

— Может, это были как раз самые живые, самые интересные люди?

— Не исключено... Когда Вера после ухода гостей исторгала из себя эту короткую фразу: «Он (или она) очень высокого о себе мнения», сопровождаемую сухим звуком, гм-гм, мне казалось, она задувает пламя свечи или лампы...

Стулья опустели, свет погашен, можно наконец уйти к себе, отдохнуть... I

Я впервые задумываюсь об этом, в то время у меня и мысли такой не могло возникнуть, я считала все настолько естественным, само собой разумеющимся, но теперь меня поражает, что тогда у нас никто не делал различия ни с моральной, ни с интеллектуальной точки зрения между мужчинами и женщинами. У меня было "чувство...

— Даже не чувство, ты ведь не отдавала себе отчета.

— Да, правда, это было скорее полное отсутствие чувства какого-либо неравенства.

— Что же касается отваги и беспощадности к себе, то Вера, не принимавшая никакого участия в революционных действиях, проявила эти качества в полной мере, когда добровольно ушла на фронт санитаркой во время русско-японской войны. Когда отец вспоминал об этом, она раздраженно перебивала его: «Прошу тебя, что ты такое говоришь... Я делала только то, что должна была делать».

Проходя по коридору мимо спальни — Вера уже легла, она любит лечь пораньше, чтобы «спокойно почитать хороший роман», пока отец еще какое-то время проводит в своем кабинете, просматривая химические журналы и делая заметки, — я улавливаю странные звуки... ничего подобного мне никогда не приходилось слышать... вроде бы стоны, вздохи... или сдерживаемые рыдания... но в них чувствуется какая-то растерянность, невинность... это похоже на отчаяние ребенка, на жалобы, которые он не в силах сдерживать, они вырываются у него, выплескиваются из глубины души... слышать их уже больно. Я открываю дверь, в спальне горит свет, Вера лежит в постели, отвернувшись к стене, зарывшись головой в простыни, так что видны только ее каштановые волосы, расчесанные на ночь и заплетенные сзади в косичку, как у маленькой девочки...

Я подхожу, наклоняюсь над кроватью и говорю ей тихо-тихо: «Что с тобой? Тебе нехорошо? — Я смотрю на ее лицо, лиловое, мокрое, распухшее от слез, лицо большого младенца... — Я могу тебе чем-нибудь помочь? Хочешь, принесу попить?» Она качает головой и с трудом выговаривает: «Ничего, ничего, сейчас пройдет...» Я вытираю ей лицо уголком простыни, глажу по шелковистым, мягким волосам, по теплomu лбу... и понемногу она успокаивается... Так же, не поворачиваясь, она высовывает руку, кладет ее на мою, сжимает мне пальцы... я спрашиваю, не надо ли выключить свет... «Нет, нет, не стоит, не беспокойся, ничего страшного, все хорошо, я еще немного почитаю...» И я ухожу, осторожно прикрыв дверь...

Напишите о своем первом огорчении. «Мое первое огорчение» — так будет называться домашняя письменная работа по французскому.

— В муниципальной школе говорили, наверное, сочинение?

— Может быть... но в любом случае эта письменная работа или сочинение — по французскому — отличается от всех других. Когда учительница велела нам написать в тетрадях «Мое первое огорчение», у меня наверняка возникло предчувствие... а я редко ошибалась... что это «золотоносная тема»... мне чудилось даже поблескивание самородков в далеком тумане... предвестников сокровищ...

Я, наверное, сразу же принялась за их поиски. Мне не к чему было торопиться, времени хватало, но мне хотелось поскорее найти... от этого-то все и будет зависеть... Какое же все-таки огорчение?..

— Но не начала же ты прикидывать, какое бы выбрать, перебирая все свои огорчения...

— Вспомнить одно из своих огорчений? Да нет, что ты, как такое могло прийти тебе в голову? Настоящее огорчение? пережитое мною на самом деле?.. и вообще, что я могла бы назвать огорчением? И какое из них было первым? У меня не было ни малейшего желания задавать себе все эти вопросы. Мне нужно было огорчение, не имеющее никакого отношения к моей жизни, огорчение, которое можно изучать, держась на отдалении... это дало бы мне чувство, которое я затрудняюсь определить, но теперь я его вновь ощущаю, так же как тогда... чувство.

— Может, собственного достоинства... сегодня это, кажется, так бы назвали... и еще превосходства, силы...

— И свободы... Я держусь в тени, вне досягаемости, ничем своим я делиться не собираюсь... но другим готовлю то, что считаю для них подходящим, то, что они любят, чего могут ждать, какое-нибудь такое огорчение, которое будет им по душе...

— Тогда-то и появилась у тебя возможность заметить... но откуда взяла ты это огорчение?

— Я не помню, но своим появлением оно принесло мне уверенность, удовлетворение... я и мечтать не могла о таком красивом и безупречном огорчении... самом что ни на есть показательном, соблазнительном... это просто образец всамделишного первого огорчения настоящего ребенка... гибель щенка... что другое может быть пронизано такой детской чистотой и невинностью.

И как ни странно, я и вправду это чувствовала...

— Так ли уж это странно для ребенка одиннадцати-двенадцати лет?., ты была уже в выпускном классе.

— Эта тема, как я и предполагала, породила во мне множество образов, пока еще скудных, расплывчатых, легких набросков... но со временем они обещали превратиться в настоящее чудо... У меня день рождения, о, какой сюрприз, я прыгаю и хлопаю в ладоши, кидаюсь на шею папе, маме, в корзинке лежит белый комочек, я прижимаю его к груди, потом мы играем, где? — ну как же — в большом красивом саду с цветущими лужайками, полянками, это сад моих дедушки и бабушки, где мои родители, мои братья и сестры проводят каникулы... а потом, о ужас, белый комочек устремляется к пруду...

— Пруд, поросший камышом и покрытый кувшинками... ты видела его на какой-то картине...

— Да, надо признать, он выглядит очень заманчиво, но есть кое-что, еще более многообещающее... железная дорога... мы гуляем неподалеку от нее, щенок забирается на насыпь, я бегу за ним, зову его, но вот на полной скорости мчится поезд, огромный, ужасный локомотив... и тут уж передо мной открываются такие красоты...

Теперь самое время... я всегда оттягиваю эту минуту... боюсь начать не с той ноги, плохо разогнаться... прежде всего — заглавие... «Мое первое огорчение»... может, оно меня подтолкнет...

Слова, которые меня сейчас окружают — не повседневные, не обычные мои слова, сероватые, еле различимые, какие-то неряшливые, — нет, эти слова будто облачены в роскошные праздничные одеяния... многие появились из мест, посещаемых добропорядочной публикой, где надо уметь держаться, блистать... они вышли из моих хрестоматий, из диктантов, из...

— Может быть из книг Рене Буалева^{[{10}](#)}, Андре Терье^{[{11}](#)} или уже из Пьера Лота^{[{12}](#)}?

— Во всяком случае, эти слова, происхождение которых гарантирует элегантность, изящество, красоту... мне нравится быть в их обществе, я оказываю им все знаки уважения, которых они заслуживают, слежу, чтобы ничто их не обезобразило... Если мне кажется, что какая-то несообразность портит их облик, я тут же лезу в «Ларусс», ведь нельзя допустить, чтобы какая-то противная орфографическая ошибка, как мерзкий прыщик, изуродовала их. А чтобы связать слова между собой, надо придерживаться строгих правил... если мне не удастся найти правила в учебнике, если остается хоть малейшее сомнение, лучше уж такие слова совсем не трогать и поискать другие, которые я смогу вставить в другое предложение, где они окажутся на нужном месте, в подходящей для себя роли. Даже мои собственные слова, которыми я обычно пользуюсь, хорошенько не вглядываясь в них, когда они появляются здесь, приобретают, от сопряжения с остальными, респектабельный вид и хорошие манеры. Иногда я вворачиваю тут или там какое-нибудь редкое словечко, какое-нибудь украшение, которое еще усилит блеск всей фразы.

Часто слова сами диктуют мне выбор... например, в этом «первом огорчении» сухой шелест осенних листьев, которые мы со щенком приминаем, бегая или катаясь по ним, после долгих колебаний заставил меня для игр в бабушки-дедушкином саду предпочесть весне осень...

— Хотя, впрочем, «нежные ростки» и «подернутые пушком почки» тоже были весьма заманчивы...

— Осень победила их, и я не жалела об этом... ведь нашла же я в ней «кротость лучей тусклого солнца, золото и багрянец листвы...»

Затворив дверь своей комнаты, я предаюсь самому естественному в мире занятию, самому законному и похвальному — я делаю уроки, и просто случилось так, что в эту минуту я готовлю задание по французскому. Я же не сама придумала тему, мне ее предложили, более того, задали, эта тема выбрана специально для меня, в соответствии с моим возрастом... мне разрешено резвиться в этих пределах, на специально подготовленном и хорошо оборудованном участке, вроде школьного двора или даже, поскольку мои прыжки сопровождаются огромным напряжением, вроде гимнастического зала.

Теперь наступает момент сосредоточить все силы для решающего броска... приближается поезд, его грохот и горячий пар, его громадные светящиеся глаза. А потом, когда поезд пронесся мимо, клочок белой шерсти на рельсах, лужица крови...

Но я пока сдерживаю себя и не касаюсь этого, не тороплю слова, жду, когда они сами выберут нужное мгновение, я знаю, что могу на них положиться... последние слова всегда появляются так, словно их подгоняют все предыдущие...

В темном кинозале на улице Алезии, где я смотрю не помню уж какой немой фильм, сопровождаемый приятной, волнующей музыкой, я призываю эти слова или, вернее, вызываю их вновь, они уже являлись мне прежде, но я хочу еще раз увидеть их... момент благоприятный... я произношу их... они раздаются... может, поменять их местами?., я снова вслушиваюсь... нет, правда, они хорошо ложатся, составленная из них фраза звучит очень красиво... еще одна небольшая перестановка... но хватит проверять, а то все испортишь... надо только постараться сохранить эту фразу такой, какая она есть, и не упустить ни слова до той минуты, когда я буду переписывать ее начисто, в тетрадь, начав с новой строки, чтобы она снова предстала во всей своей красе, и в ее конце поставлю заключительную точку.

Теперь мне остается только, отступя от последней строки, провести чистым пером по линейке прямую, четкую линию.

— Никогда потом, на протяжении всей твоей жизни, ни один написанный тобою текст не приносил чувства такого удовлетворения и счастья...

Разве что чуть позже, в другом домашнем сочинении, про игрушки...

— Сочинение по французскому, заданное в третьем классе лицея. Я снова испытала тогда ощущение завершенности дела, мне явились прелестные слова, принесшие с собой «веяние прошлого, запах затхлости, ударивший мне в лицо, когда, оказавшись одна на чердаке старого дома, я приподняла крышку сундука, в котором валялись в куче выброшенные, сломанные игрушки... нахлынули чудесные воспоминания...», я словно зачарованная слушала, как глухо мурлычат в моих фразах «сдерживаемая печаль, волнующая ностальгия...».

— На этот раз ты черпала свои слова в основном из Бальзака... Согласись, ты не видела особой разницы между твоими сочинениями и книгами Бальзака, Буалева, Терье...

— Ну да, и это сходство придавало мне чувство уверенности, защищенности... Но должна признаться, мои сочинения нравились мне больше.

— Перечитав в последний раз «Мое первое огорчение»... я уже знала наизусть целые пассажи... я нашла его безупречным, совершенно гладким, и четким, и завершенным...

— Тебе была необходима эта четкость, гладкая завершенность, ты хотела, чтобы ничто не выбивалось из...

— Мне нравилось все точное, строго очерченное, неизменное... Позже именно поэтому меня привлекли планиметрия, неорганическая химия, основы физики... теорема Архимеда,

машина Атвуда... ^{13} тут уж я была застрахована от всяких колебаний, непрочности, неустойчивости... у меня почва уходила из-под ног, как только мне нужно было удалиться от этих областей, где я чувствовала себя в полной безопасности, и ступить на зыбкую, тревожную почву стереометрии и органической химии... «Первое огорчение» завершено и отделано как нельзя лучше, в нем нет ни малейшей шероховатости, ни одного резкого, сбивающего с толку движения... только равномерное и легкое покачивание, тихий напев...

Нет, такое домашнее задание, безусловно, заслуживает того, чтобы я показала его отцу. Он любит смотреть мои тетрадки. Особенно по французскому.

Нам надо остаться одним, между нами существует молчаливый уговор, что Вера не должна при этом присутствовать. Так же как, не произнося ни звука, мы условились, что ее не будет рядом, когда я показываю отцу свой школьный дневник.

Конечно, от нее невозможно скрыть крестик, который учительница прикалывает мне на фартук, и я хожу с ним всю неделю, и тогда в Вере поднимаются легкие волны недовольства, враждебности.

Когда я, с тетрадкой в руке, вхожу в рабочий кабинет отца, он тут же оставляет все свои дела и начинает меня слушать... а я, читая ему, вновь испытываю наслаждение, как при чтении наизусть, только сейчас оно еще сильнее... в каком другом тексте моя интонация сможет лучше оттенить все нюансы?

Отец всегда очень сдержан, он не рассыпается в комплиментах, да они мне и не нужны, я понимаю по его лицу, по тому, как он меня слушает, — он скажет мне, что это очень хорошо. Ничего больше. Но мне достаточно. Нам и в голову не приходит, что эти домашние задания заслуживают оценки иного порядка. Никогда, даже отдаленно, намеком, не возникает у нас мысль о «писательском даре»... это уж самое последнее, что можно себе вообразить...

— Ты в этом уверена?

— Абсолютно. Я просто очень хорошо справилась с домашним заданием. Я ничего такого себе не позволила, да мне и не хотелось, я никогда не стремлюсь перейти предписанные мне границы, блуждать бог весть где, забраться туда, где мне нечего делать, искать неведомо что... или, чтобы быть точнее... я не позволяю себе того, что больше всего ненавидит отец, о чем он не может говорить без презрительной усмешки, — того, что он называет «мелкой славой»... нет, конечно, я к этому не стремлюсь. У меня и мысли не возникает о том, чтобы стать писательницей. Иногда я задаю себе вопрос, не смогла ли бы я быть актрисой... но для этого надо родиться красавицей, вроде Веры Корен или Робин. Нет, я бы хотела стать учительницей.

Когда учительница собирается вернуть нам сочинения, я предчувствую, вернее, я уверена, что она начнет с моей фамилии. Отметка не так уж и важна... наверное, 8, а может быть, 9... Но мне необходимо, чтобы мой успех был признан, чтобы мое сочинение стояло в начале списка!..

— А ты совсем не задумывалась о том, что это будет просто первое из тридцати довольно посредственных сочинений, и, следовательно, это отличие...

— Нет, не задумывалась. Номер первый представляется мне верхом совершенства. Чем-то, что царит над всем. Неважно где. Я пребываю во власти заблуждения, что это уже вне конкурса. Ведь не может быть, чтобы то, что сделала я, шло после того, что сделал кто-то другой.

— А помнишь ярость против себя самой... в лицее Фенелон... когда мсье Жоржей, раздавая латинские переводы, впервые сказал тебе: «Что случилось? Вы...», ты оказалась тогда третьей или второй?

По дороге домой я вытащила из портфеля эту мерзкую тетрадку, растоптала, разорвала ее на кусочки и выбросила в фонтан на площади Медичи.

Все дети вокруг меня говорят «мама», Лили умеет теперь произносить это слово, Вера,

говоря обо мне, называет меня своей дочкой... и люди иногда удивляются... У вас уже такая большая дочь? она ведь и вправду только на пятнадцать лет меня старше... И потом, хотя Вера и выглядит молодо, мне неудобно называть ее по имени, будто я взрослая, как папа, и поэтому однажды я предлагаю... совершенно не помню, как все это было... говорить ей «мама». Она отвечает: «Хорошо, только спроси разрешения у своей матери»...

Зато я прекрасно помню, как, сидя за столом, между отцом и Верой, я роняю слезы прямо в суп, помню молчание, царящее вокруг меня... отец не задает мне вопросов, он, должно быть, уже знает... Вера, наверное, все объяснила ему, как только он пришел, она, наверное, сказала: «Борецкая... — я знаю, между собой они называют маму Колиной фамилией... — Борецкая...» ответила... что она не согласна».

Я пытаюсь сдержать слезы, но они текут все сильнее и сильнее, я утираю их носовым платком, сморкаясь... отец раздражен, рассержен, он хмурится... похлопывает меня по плечу... «Не горюй... — он всегда употребляет это слово, когда я «расклеиваюсь»... — не горюй, поверь мне, оно того не стоит». Но он не знает, что было в этом письме... мамина обида, негодование... какой надо быть бессердечной, черствой, неблагодарной, как можно забыть самые священные узы, то, что должно считать самым дорогим на свете, свою мать, это имя не может носить ни одна другая женщина, даже речи быть не может... ведь я предложила ей и другое... «мама Вера». Слово «мама» ни с кем больше не сочетается. У меня только одна мать на свете... и она еще жива...

Те давние слезы, высохшие уже почти два года назад... но какими длинными были годы в том возрасте... те мои слезы наворачиваются вновь, еще более горькие, жгучие.

Из больших синих листов бумаги, которыми я обычно обертываю учебники и тетради, я вырезаю маленькие квадратики, несколько раз складываю их, как мне показали, и у меня получаются бумажные птички. На голове у каждой с одного бока я надписываю имя, с другого — фамилию девочек из класса: вместе со мной их тридцать. Я расставляю птичек на столе, в несколько рядов, и я — их учительница... не та, настоящая, которая учит нас в этом году... я сама ее придумала... сажусь на стул, напротив.

Так, без особых мучений и даже забавляясь, я могу выучить самые тоскливые уроки. Я держу перед собой учебник по истории или географии и задаю вопросы своим ученицам и себе самой — «этим бездельницам», — когда я сама еще не очень хорошо знаю урок... они что-то лепечут, наговаривают мне бездну глупостей и нелепостей, которые я тут же изобретаю, передразнивая... мне очень нравится передразнивать людей, и иногда у меня это выходит очень смешно...

Замаскированное моими выдумками, дурачеством и уморительной белибердой, в меня может проникнуть то, что в обнаженном виде наверняка было бы отторгнуто: мирные договоры, названия битв, городов, департаментов, стран, их площадь, число жителей, промышленность... я приправляю все это чем-нибудь повкуснее... ну, например... «Скажи-ка мне, да, ты, ты, Мадлен Тамбуатт... чего же ты растерялась... Кто выиграл битву при Пуатье? Кто? Не подсказывайте... — я нетерпеливо стучу карандашом по столу... — Кто, ты сказала? Шарль и Марсель... Браво! Не надо смеяться. Шарль Мартель, невежда... Шарль Мар-тель... А ты, Сюзанна Морэн, скажи нам, кого он победил? Да ну! Немцев! Да что ж ты такое несешь, у тебя просто каша в голове... Немцы как раз отняли у нас... что, скажи, Жермен Пеллетье?... — и она отвечает своим писклявым голосочком... — Эльзас и Лотарингию, в 1870 году... Очень хорошо... Но в один прекрасный день мы их отберем обратно. А при Пуатье... Мадам! Ну ладно, давай... Правильно, при Пуатье мы победили арабов... в 732 году. Запомните хорошенько: 732 год...»

Иногда к нам на уроки приходят инспекторы... самые разные... толстяки, страдающие одышкой, они, тяжело пыхтя, еле выдавливают из себя по слову... бледные тощие злюки, с

шипением исторгающие кисло-сладкие или резкие замечания... но я тоже преображаюсь и меняю как мне заблагорассудится свою внешность, возраст, голос, манеры...

Этот инспектор туговат на ухо... «Что сказала ваша ученица? — Я тут же изменяю неправильный ответ... — Она так сказала? А мне показалось... — Нет, господин инспектор, весь класс слышал... Ведь правда (слащавым голосом), дети мои? — И весь класс, хором, будто блеет... — даааааа, мааадааам...»

Как мне не хочется говорить моим ученицам, что наши занятия на сегодня окончены, собирать бумажных птичек, плотными рядами укладывать их на место, в коробку.

Я лежу у себя в комнате, на вилле в Медоне, куда мы приехали на лето... Моя правая рука распухла, одеревенела и вся горит, от плеча до запястья она сплошь покрыта прыщиками, у меня высокая температура... это от укола, который, чтобы мы не заразились дифтеритом, сделал нам с Лили здешний доктор. У Лили ничего нет, а я... говорят, что игла, наверное, была не очень чистая... мне становится все хуже и хуже, по моему телу снуют жирные ухвертки, которых я до смерти боюсь, они сейчас залезут мне в уши, я кричу... папа что-то ласково мне говорит, его ладонь лежит у меня на лбу... каждый раз, приходя в себя, я протягиваю руку и касаюсь его, он здесь, рядом... Только он... Вера — никогда...

— Ну, это вряд ли... Так уж и никогда?

— Никогда. Во всяком случае, за время той болезни...

— Она, должно быть, сердилась на твоего отца...

— Возможно. Она часто мстила ему так — совершенно переставала мною заниматься. А уж если Вера принимала какое-нибудь решение... можно было умереть...

— Это как раз был тот случай...

— Уже почти стемнело... Отец внезапно поднимает меня, закутывает в одеяло и несет куда-то, ему помогает незнакомый мужчина... шофер такси, которое он вызвал из Парижа... Всю дорогу он утешает меня своим прежним голосом, гладит по голове... «Это пустяки, вот увидишь... мы едем к очень известному детскому доктору, профессору, уж он сумеет тебя вылечить...» Такси останавливается на широкой парижской улице, меня поднимают наверх, проносят на руках через просторные залы в ослепительно белую комнату... доктор осматривает меня... берет пинцет и вскрывает один за другим прыщики у меня на руке.

— У тебя до сих пор еще видны следы.

— Он накладывает мне повязку, делает укол, он очень спокойный и ласковый. Папа с шофером выносят меня... Мы едем домой, у папы счастливый вид, он прижимает меня к себе... Ты обязательно выздоровеешь, профессор Лесаж...

— Он часто повторял это имя... «Профессор Лесаж... какой врач... я никогда его не забуду... Если бы не он...»

— «Профессор Лесаж обещал... Как хорошо, что мы у него побывали... сейчас ты уснешь, скоро ты уже будешь в кровати, и все пройдет, ты быстро поправишься, Ташочек, доченька моя дорогая».

С недавних пор, выходя в четыре часа из школы, я не слоняюсь по двору, не болтаю с подружками, не играю в классики, мне хочется поскорее попасть домой, я знаю, что она слышала школьный звонок и ждет меня... я теперь не проскальзываю по коридору к себе, я сначала захожу в ее комнату, куда ведет дверь прямо из передней, я подбегаю к ней, целую ее, обнимаю, я называю ее по-русски «бабушкой» или по-французски «grand-mere», она сама так захотела, хоть она и Верина мама.

Но ни одна настоящая бабушка на свете не сможет мне понравиться больше, чем эта. Хотя в ее внешности нет почти ничего общего с бабушками, про которых пишут в книжках.

— И почти ничего общего с той, которую ты сама описала позже в одной из своих

собственных книг...

— Да, ничего, кроме мягкой юбки, пятен на руках, маленькой ложбинки у сустава... Но волосы у нее блекло-желтые, а глаза желтовато-зеленые, немного выцветшие, а не эмалево-голубые, у нее широкое бледное лицо с довольно крупными чертами... попробуй слепи из нее изящную розово-голубую статуэтку бабушки из волшебных сказок... она никогда не затвердеет... в ней есть какое-то постоянное движение, искрящаяся живость, которые тут же обращаются на то, что ей показывают.

Я кладу портфель, мою руки в ванной комнате, разделяющей наши спальни, и мы садимся полдничать, она заваривает чай на маленькой плитке, достает из шкафа баночку морковного варенья, приготовленного ею по собственному рецепту, и только мы с ней можем по достоинству его оценить... я рассказываю ей о том, что произошло в школе, и ее манера слушать делает все интересным, забавным... Теперь самые противные уроки я учу вместе с ней... благодаря ей даже в заданиях по географии появляется что-то приятное, мне больше не нужны бумажные птички. Я показала их только ей и однажды даже провела свой урок в ее присутствии, она очень веселилась...

Мы с ней много смеемся, особенно когда она читает мне комедии... «Мнимого больного»... или «Ревизора»... она здорово читает и иногда сама так хохочет, что даже не может читать, а я буквально корчусь от хохота на коврике у ее ног.

Не верится, что она приехала во Францию впервые в жизни... Она так говорит по-французски, будто всегда здесь жила, ни в ее произношении, ни в интонациях нет и следа иностранного акцента, она никогда не ищет слова.

— Только иногда... очень редко... она употребляет не много старомодные слова... например, «определять» вместо «класть» — «определи это в ящик комода»...

— Случается, во время еды она забывает, что находится во Франции, и если говорит по-русски и хочет, чтобы подающая на стол прислуга не поняла ее, переходит на французский, и порой ее замечания весьма нелюбезны... тогда Вера напоминает ей по-русски, что она во Франции, она краснеет и очень сокрушается, теперь уже по-русски... «Боже мой! конечно, я совсем сошла с ума! Какой ужас...»

Папа называет ее Александрой Карловной... Карл — имя нерусское, ее отца звали Шарль Фё де ля Мартиньер, он был французским офицером, которого Наполеон послал в Россию с особой миссией (я долгое время считала, что это был Наполеон I, и была разочарована, узнав, что речь шла о Наполеоне III). Там он женился на русской, и некоторое время спустя оба умерли от холеры, оставив после себя дочь Александру...

В ее присутствии наши трапезы преображаются... я чувствую, что между нею и отцом существует взаимное уважение, привязанность... отец помногу говорит с ней, и она, в свою очередь, что-то ему рассказывает, спорит, они задают друг другу вопросы и задают их мне тоже — о моих занятиях, с полнейшей беззаботностью, как будто Веры здесь нет, и я отвечаю как ни в чем не бывало. Отец расхваливает методы обучения и воспитания, которые приняты здесь в начальной школе, если судить по той, в которой учусь я... Французские школы — просто образец просвещения... Отец хочет передать ей свою любовь к этой стране.

После ужина я обычно возвращаюсь к ней в комнату, она учит меня вязать крючком большой круглый платок в крупную сетку, она вяжет такие платки для себя и всегда носит их, сложив пополам и накинув на плечи... Мне нравится вместе с ней вспоминать немецкий, который я выучила когда-то, болтая с бонной, и она дает мне читать тексты, написанные готическим шрифтом... Она учит меня играть на фортепиано, хотя меня это увлекает гораздо меньше, но ей очень хочется, чтобы я научилась играть, и я, сидя возле нее, безропотно повторяю одно и то же, бесконечные гаммы и упражнения — что может быть скучнее!..

Однажды я спросила ее, где она выучилась всему тому, что знает, и она рассказала мне, что после смерти родителей над ней взяла опеку царица и отдала ее на воспитание в Смольный институт... В Петербурге у меня была книга, действие которой происходило в Смольном институте... Мама говорила, что это безвкусная, пошлая книга... «И что в ней тебя так привлекает?» Но я была без ума от нее... Я даже думаю, что именно ею был навеян один эпизод моего злополучного романа, в котором с первым дыханием весны умирал от чахотки юноша...

Устроившись прямо на полу, я опираюсь о бабушкины колени, слушаю ее рассказы о детстве, и в моем воображении возникают голубоватые отсветы широких заснеженных площадей, колонны на фасадах дворцов, окрашенных в нежные тона, высокие окна с двойными рамами, между которыми лежит слой ваты, посыпанной серебряными блестками, разукрашенные морозным узором стекла, переливающиеся сосульки, санки... и в одном из таких дворцов — просторные галереи со сверкающим паркетом, белые спальни... красивые форменные платья, строгий распорядок... каждый второй день надо говорить только по-французски... на следующий — по-немецки... ни за столом, ни в коридоре даже шепотом не разрешается произнести хоть одно русское слово. Француженки, немки, англичанки неусыпно следят за всем, от них ничего не укроется... А праздники... приезд царицы... явление самой красоты и доброты... представления, реверансы... бал, белые платья, приколотые к волосам цветы... как бесконечно далеко все это от узких здешних улочек, скучных, серых домов, от наших черных передников, от моей школы, от ее классных комнат, от школьного двора с асфальтовой площадкой, от смотрящего со стены доброго старого президента Фальера... Ну что тебе еще рассказать? Не думай, что у нас там всегда было так уж радужно, мы часто мерзли, распорядок был — строже некуда, родители у меня умерли... — А потом, когда ты окончила?... — О, потом... я очень рано вышла замуж... за офицера... Я знала, что ее муж, Федор Шереметьевский, начал пить... уж не помню кто, но, конечно, не она, сказал мне, что он умер от ужасной болезни, когда больному мерещится, что вокруг снуют кошмарные звери... от белой горячки... После его смерти я осталась одна... он был таким транжиром, все спустил... с четырьмя детьми на руках... мне пришлось учительствовать, давать уроки... — Ты потому так все знаешь? — А что ж ты хочешь, у меня не было другого выхода... дети были еще совсем маленькие... Теперь Федор... бабушка всегда с гордостью говорит о старшем сыне... Федор — профессор в университете... Женя получила прекрасное образование... Лидия... о ней бабушка не особенно любит рассказывать... Вера иногда говорит, что у ее сестры не все дома... ну а сама Вера... бабушка называет ее «деткой», она ее младшая дочь... я чувствую, как она любит ее...

— Кажется, за все время, что она пробыла здесь, между ними не возникало никаких разногласий, они не обменялись ни единым неприятным словом... Вообще, если подумать, очень странно, что Вера приняла твою нежную дружбу с ее матерью... и некоторую отчужденность, или скорее дистанцию, между нею и Лили... Но Вера знала, что совсем маленькие дети не очень-то ее интересовали, и понимала, должно быть, что нервозность Лили, ее бесконечные капризы и нытье отдаляли от нее людей, даже собственного отца... Он только потом с нею сблизился...

— Чувствовалось, что Вера очень любит и уважает мать, и та относится к ней с нежностью, но что Вера ее немного тревожит, должно быть, она была трудным ребенком... бабушка как-то сказала мне... больше она никогда к этому не возвращалась... «Она вылитый отец... Никто из моих детей так на него не похож... Когда она хотела или не хотела что-нибудь делать, не было никакой возможности... она унаследовала это от него... и еще его страсть к танцам, настоящий талант... его бесстрашие... Сама-то я скорее...» Я крепко обнимаю ее, прижимаюсь к ней... «О, ты, ты... ты лучше всех на свете».

А потом так же внезапно, как она у нас появилась, бабушка уехала, ее умолял вернуться

сын. Она много занималась тремя его дочерьми и обещала приехать через несколько месяцев, а вот уже скоро год... поэтому пора уезжать... она повторяла мне это не раз, но я не сосредоточивалась на ее словах, это же было невозможно, я не хотела...

Когда перед самым отъездом мы остались с ней вдвоем и она сжала меня в объятиях, у меня словно помутилось сознание... Она чуть отстранила меня, чтобы поглядеть мне прямо в глаза, погладила по щеке и сказала: «Продолжай хорошо учиться, это самое главное». А потом добавила, очень удивив меня: «И береги папу».

У меня не сохранилось никаких воспоминаний о своем состоянии после ее отъезда... я только могу вообразить его, это нетрудно. Зато я отчетливо помню, как позже, некоторое время спустя, папа спросил Веру слегка встревоженно... они были в соседней комнате и думали, что я их не слышу... «Что происходит с Наташей?» И она ответила: «Это из-за маминого отъезда...»

Адель иногда водила меня в церковь Монруж, и я повторяла там за ней ее жесты... которые, впрочем, на мой взгляд, мало чем отличались от проявления элементарной вежливости... быстро окунуть руку в кропильницу, автоматически перекреститься, слегка преклонить колено, проходя мимо алтаря... не сделай я этого, она была бы очень шокирована, — точно так же, как если бы я забыла сказать «до свидания, мадам», выходя из лавки... или не посторонилась в дверях... Мне в голову не приходило... несмотря на все эти обряды, строго и неукоснительно исполняемые Адель — она часто ходила на шестичасовую утреннюю службу, никогда не пропускала воскресной мессы, — я не могла даже заподозрить в ней хоть намек на духовность, на даже малейшее чувство возможного существования чего-то неземного, внеземного, не укорененного в мире, в котором она жила.

— Но ты сама, когда молилась...

— Ну, это было скорее суеверием... я читала «Отче наш» или «Богородицу»... точно так же, как стучала по дереву, чтобы не сглазить или со смутной надеждой получить то, чего мне очень хотелось...

В русской церкви на улице Дарю, куда меня водила бабушка, я вместе с ней падала ниц, касалась лбом пола, крестилась, но не так, как с Адель, слева направо, всей ладонью, а наоборот, справа налево, тремя пальцами, прижав большой к среднему и указательному.

Не знаю, действительно ли бабушка была верующей, мне кажется, она ходила в церковь по праздникам, чтобы принять участие в любимых ею обрядах, чтобы вспомнить свою Россию, погрузиться в нее, и я погружалась в Россию вместе с ней... я узнавала жар, пламя бесчисленных свечей вокруг себя, иконы в серебряных и золотых, словно из кружева сотканных окладах, освещенные огоньком разноцветных лампадок, церковное пение... узнавала разлитое вокруг и изливавшееся на меня саму какое-то рвение, тихую и спокойную восторженность, которую я уже переживала когда-то... не помню где — в Петербурге или еще раньше, в Иванове...

— Как странно, что в таком возрасте тебе даже в голову не приходило, что обе эти религии вовсе не были религией твоих предков... что никогда никто с тобой об этом не говорил...

— Мама не хотела этого знать... по-моему, она как-то не задумывалась. Что же касается отца, то он считал все религиозные обычаи пережитками... устаревшими, отжившими верованиями... он был «свободный мыслитель», и для него, как и для всех его друзей, один только факт упоминания о том, что такой-то — еврей, или что он не еврей, или что он славянин, был проявлением самой дремучей реакционности, да просто-напросто непристойностью...

О людях, которые бывали у нас, говорили только, что они русские или французы. А в школе вроде бы и вовсе не существовало такого понятия, как «русский», всех детей, каким бы ни было их происхождение, считали просто славными маленькими французами. Я не помню, чтобы мне задавали какие-то вопросы, ни у кого, очевидно, и мысли не возникало о различии рас или религий.

Отец отпускал меня во все церкви, куда меня водили... возможно, он считал, что эти красивые церемонии могли оставить у ребенка только прекрасные воспоминания, и от Бога, от Христа, от святых, от Богородицы он меня пытался отвратить не больше, чем от просьб, обращенных к Деду Морозу...

Но позже, всякий раз, когда возникал этот вопрос, я слышала, как отец тут же объявлял, просто трубил на всех перекрестках, что он еврей. Он считал, что стыдиться этого подло и глупо, и говорил: «Нет, сколько же понадобилось ужасов, гнусностей, сколько лжи и низости, чтобы дойти до такого положения, когда люди стыдятся своих предков и вырастают в собственных глазах, если им удастся приписать себе других, неважно каких, лишь бы не тех... Ты не считаешь, — говорил он мне иногда, уже гораздо позже, — что все-таки, когда только подумаешь...» Да, я тоже так считала...

Мадам Бернар никогда не спрашивала меня о моей семье и говорила мне, как всем остальным: «Скажи маме, чтобы она зашла в школу...» — она, должно быть, заметила, что приходил всегда папа... во всяком случае, не знаю уж почему, она как-то пригласила меня на следующий день к себе на чай... и после чая мы смогли бы вместе с ее детьми готовить уроки...

— Может, из-за того случая... ну, ты помнишь... вши...

— А, да, вши... в классе еще почти никого нет, за мной сидят только две наши худшие ученицы, неразлучные сплетницы, вечно они шепчутся между собой, перемигиваются, хихикают... Я их избегала, но они играли не последнюю роль в моем классе бумажных птичек, они оказывали мне неоценимую помощь, когда я начинала скучать, благодаря им я могла повеселиться, заставляя их произносить всякую абракадабру и смешно, нагло отвечать на мои вопросы.

Но сейчас они, во плоти, сидят за мной, и вовсе они не смешные, а скорее отвратительные, грубые, злобные, они постоянно шепчутся, хихикают... приглушенно прыскают и вскрикивают, а когда я оборачиваюсь, замирают... Как только кончаются уроки, они несутся вниз по ступенькам, подбегают к мадам Бернар и что-то с возбужденным видом шепчут ей... и вот уже мадам Бернар ищет меня глазами, делает мне знак приблизиться и ведет в маленький кабинет возле класса. Там она говорит мне: «Дай-ка я посмотрю твою голову...» Она наклоняется и, вглядываясь в мои волосы, произносит смущенным, негодующим, серьезным, сочувственным тоном эти неожиданные слова: «У тебя вши... Надо от них избавиться как можно скорее... Ты должна несколько дней посидеть дома... Кто-нибудь из учениц принесет тебе все что нужно, чтобы ты знала, что мы проходим, и ты передашь с ней домашние задания, ты не отстанешь... и скажи маме, чтобы она ко мне зашла». И она смотрит на меня обеспокоенным, проницательным, ласковым взглядом, в котором я, как всегда, чувствую ее деликатность, большую, застенчивую доброту...

Я со всех ног бегу домой и сообщаю Адель и Вере эту удивительную новость: «У меня вши! Да, в волосах»... Адель бросается ко мне, смотрит, расплетает косички, подтверждает... «Неужели ты ничего не почувствовала? Голова не чешется? — Да нет... — Иезус Мария, пресвятая Дева, смилуйся над нами, тут даже гниды...» Я впервые слышу это слово... Да, здесь и гниды — такие яички, которые откладывают вши... Вера брюзжит, сердится на Адель, Адель защищается, обвиняет меня... «Вот что значит делать все самой... Мадемуазель сама заплетает косы, сама умывается, дотронуться до себя не дает... Не прекращая «отвечать мадам», которая изволит пребывать в ярости, Адель собирается в аптеку и приносит оттуда мазь, смазывает мне всю голову, разнимая по прядкам волосы, тщательно пропитывает их и туго закручивает в полотенце.

Я ничего не знаю о том объяснении, которое, надо думать, состоялось позднее между Верой и отцом.

Я плохо понимала возбуждение и хихиканье тех двух учениц, серьезное, озабоченное, смущенное лицо мадам Бернар, ее мягкое и деликатное участие... и взволнованность, протесты Адели, яростные нападки Веры... я всегда чувствовала себя чистой, и вши у меня в голове не так уж отличались, на мой взгляд, от микробов, которые в тебя проникают, ничего уж тут не поделывать, заразилась же я корью...

Не помню, сколько раз была я у мадам Бернар, если вообще ходила к ней часто... все мои воспоминания основываются на нескольких ярких штрихах... поблескивание желтовато-зеленой клеенки, которой покрыт большой квадратный стол в столовой, освещенной люстрой под абажуром из опалового стекла... лицо мадам Бернар — розовое пятно, обрамленное густыми серебристыми волосами... ее округлая и небольшая фигурка, живые и точные движения, когда она раздает нам — мне и своим детям — плитки шоколада, бутерброды... и еще тетрадки, открытые перед нами, наши руки... нас самих я не вижу, только руки, пальцы, которые тянутся вперед и обмакивают перья в массивную стеклянную чернильницу, стоящую посередине стола... Мадам Бернар сидит в кресле, немного в стороне и молча вяжет... и от ее позы, от движения ее пальцев, легкого постукивания спиц, от ее взгляда, останавливающегося на мне, когда я поднимаю голову, взгляда, полного внимания... сдержанного и... нежного? — нет, все же нет, и так мне даже больше нравится, так спокойнее, надежнее, если мы не станем переходить границы... отдаленные, но все-таки не слишком, эти границы на хорошем, на самом подходящем расстоянии... границы простой доброжелательности.

— Наверное, это все-таки было до бабушкиного приезда...

— Или, может быть, после?

— Нет, до... по-моему, бабушка приехала, когда ты переходила в выпускной класс...

— В этом году нашей учительницей была мадемуазель де Т... Полностью ее фамилию я не вспомню... мне кажется, короткая, с игреком или «э» на конце. Приемную дочь мадемуазель де Т., она была младше меня, звали, кажется, Клотильда.

Мадам Бернар, должно быть, «передала» меня мадемуазель де Т... потому что с первых дней я почувствовала ее внимание, ее симпатию ко мне... потом, в течение года, она иногда предлагала мне, если мы вместе выходили из школы, проводить ее до дому, она жила недалеко, где-то на той же стороне улицы Алезии, так что на обратном пути у меня не было ни одного опасного перехода.

Она тоже не задавала мне никаких вопросов личного порядка, мы шли молча или говорили о том, что проходили на уроках, или о книгах, которые я читала дома... я, как и она, брала книги в библиотеке мужской школы... Мы идем по улице Алезии, в сторону парка Монсури, она держит за руку Клотильду, она слегка наклоняет ко мне свое длинное, худое туловище, свое узкое лицо с плоскими щеками, откидывает назад, это ее привычный жест, прядь каштановых волос, спадающую ей на лоб, на ее живые глаза...

На уроках она произносила каждое слово с предельной отчетливостью, объясняла медленно, терпеливо, часто, слишком часто, повторяя одно и то же... С ней, еще полнее, чем с мадам Бернар, меня охватывает чувство, что я исследую... я своего добьюсь, надо только собраться... исследую целый мир, с четко очерченными границами, мир прочный, повсюду открытый для взгляда... как раз по моим силам.

Еще при мадам Бернар у меня стоял комок в горле и у нас обеих на глазах наворачивались слезы, когда она рассказывала о войне 70-го года, об осаде Парижа, о потере Эльзаса и Лотарингии. От «Марсельезы», которую мы пели хором, во мне все пробуждалось, вибрировало, я чувствовала, что ее звуки пронизывает гнев нестерпимого поражения, жажда отмщения, воинственный порыв...

С мадемуазель де Т. преклонение перед теми людьми, которые жертвуют жизнью ради

отечества, достигло своего апогея...

Портрет Бонапарта на Аркольском мосту, бросающегося вперед со знаменем в руке, висел между рамкой и зеркалом у меня над камином и был воплощением моих грез о героизме и славе.

— Но твоя великая любовь к нему возникла позже...

— Была ли это любовь? Я настолько отождествляла себя с ним... Когда позже, в лицее, я приколотла на стену в своей комнате огромную карту битвы при Аустерлице, которую сама начертила цветными карандашами, — там был отмечен каждый полк, каждый холмик... я перевоплотилась в этого тучноватого, с брюшком Наполеона, но его-то я как раз не видела, это была я, я сама, и словно сквозь него я смотрела в подзорную трубу, отдавала приказы...

— Когда мадемуазель де Т. повела весь класс в Люксембургский музей и задала потом на дом сочинение «Какая картина вам больше всего понравилась», ты выбрала, разумеется, «Мечту» Детайя...^[14]

— От этого сочинения, где я описывала «батальоны героев», шествующих по небосклону славы над спящими солдатами в темных шинелях», у меня осталось ощущение восторженности, изливавшейся во фразы, которые неизвестно откуда у меня взялись, фразы и так донельзя выпренные, но я раздувала их еще и еще, чтобы они вознеслись как можно выше, мне все было мало...

Студент склонился над столом, заваленным тетрадками, книгами, он готовится к экзамену... как вдруг, за его спиной, раздвигаются портьеры из темного бархата... оттуда высовываются руки с толстыми сильными пальцами, тянутся к нему... руки в перчатках из белесой кожи... из человеческой кожи!, они медленно приближаются, обхватывают шею студента, сжимают ее... нет, я сейчас умру, тщетно я оставляю гореть свет в комнате и, лежа в постели, прижимаюсь спиной к твердой голой стене, без всяких портьер... из нее ничего не может высунуться... я вижу эти руки душителя, они приближаются сзади к моей шее... я не выдерживаю, прыгиваю с кровати, босиком бегу по коридору, стучусь в дверь спальни, папа открывает мне, выходит, тихонько притворив за собой дверь, Вера спит... «папа, умоляю, позволь мне побыть с тобой, я боюсь, я больше не могу, я уже по-всякому пробовала, мне мерещатся руки... — Что такое? Какие руки? — Ну, руки в перчатках из человеческой кожи... — я всхлипываю... — ну, пожалуйста, я тихо буду, я лягу на коврик, у кровати...

— Ты с ума сошла... насмотрелась всяких идиотских фильмов... даже не спрашиваешь... — Почему? Я тебя спросила. — Нет, ничего ты не спросила. — Нет, я спросила, можно ли мне посмотреть с Мишей «Фантомаса», и ты разрешил... — Нет, это невероятно... подумай только, какая трусиха... Я уверен, что Миша не испугался... — Но я сейчас умру... как представлю, что они могут вернуться... посиди со мной... — Этого еще не хватало. Мне вставать в шесть часов... ты же здорова, у тебя ничего не болит, распускаешься, как младенец, нюня ты этакая... в одиннадцать лет надо уметь владеть собой, стыдно. Больше ты в кино не пойдешь...»

Я возвращаюсь к себе, ложусь, меня переполняет ярость, я подверглась унижительному отказу, мною так оскорбительно пренебрегли, ярость переполняет меня, я сейчас лопну, взорвусь, разнесу все, что посмеет только приблизиться ко мне... руки... да какие угодно руки, даже в перчатках из человеческой кожи... пусть только покажутся... но пока я ложусь, поворачиваюсь, не спиной к стене, зачем, нет, спиной к пустоте за собой, нарочно, — вот сейчас поглядим... хоть я и закрываю глаза, замираю и спокойно жду, мое бешенство должно удержать их на расстоянии, уж за моей-то спиной они вылезти не осмелятся, они себе спокойненько остались там, в фильме, далеко-далеко... за спиной того юноши... руки... Миша был прав... перчатки из человеческой кожи, вот эти? Да видно же, что они резиновые... перчатки из толстой резины... я смеюсь, немного громче, чем надо, я не могу остановиться, я плачу от смеха и засыпаю.

Последнее время у Веры более размягченный вид, она веселее обычного, исчезли ее вечно поджатые губы, ее жесткий, неприязненный взгляд, она такая, как была прежде, когда кружила меня на улице Буассонад или сидела со мной и отцом в Люксембургском саду...

— Даже позже — ведь все это было так давно — она иногда, правда очень редко, оттаивала, молодела, как во. Время наших велосипедных прогулок в лес Фонтенбло, или когда ты смешила ее, поглощая полные тарелки макарон, или когда она, возбужденная, веселая, обертывала тебе книги и тетрадки... были же минуты...

— И в эти минуты, о которых я сейчас говорю, еще теплее, чем всегда, я ощущаю в ней то, чего никогда не ощущала прежде... да, привязанность, сердечность... конечно, это возникло уже давно, но было погребено, затвердело, засохло, а теперь поднимается на поверхность, распускается... и тотчас мое доверие, мои чувства к ней... так мало надо, чтобы они забили... разлились во мне, затопили все, выплеснулись наружу...

Поэтому, когда Вера предлагает, чтобы мы с ней — я ведь так давно об этом мечтаю — поехали смотреть на большие фонтаны Версаля и предлагает мне позвать с собой двух подружек... «Кого ты хочешь? — Люсьен Панар... — А еще? — Клер Хансен, с ней всегда весело... мы вместе играем на переменах, мы уже научились жонглировать тремя мячиками... и даже четыремя, чуть-чуть... — О, ну вы мне покажите... мы устроим пикник... — Да, только... что же мне делать? Ведь мама-то уже приедет... Это же будет на следующий день после ее приезда... — Ну и что, ты ей скажешь... она все прекрасно поймет, она будет в восторге, что ты так хорошо проводишь время. Я... — Ты думаешь? — Конечно, я уверена, какая мать не обрадуется?.. Ведь это всего на один день... Впрочем, как хочешь, я вовсе не собираюсь...»

Я колеблюсь лишь мгновение, я не в силах устоять, очень уж это заманчиво и увлекательно... «Ладно, будь что будет, я ей скажу... значит, точно, мы едем?»

И вот мама уже здесь, она приехала, она проведет со мной весь август... она ждет меня, сейчас я увижу ее... я так давно ее не видела, мне было тогда только восемь лет...

— Ровно восемь с половиной — это было в феврале 1909-го.

— А восемнадцатого июля мне исполнилось одиннадцать... я кажусь себе совсем взрослой, когда, выйдя из дома на улице Маргерэн, отправляюсь сама, без провожатых, куда-то далеко, куда мои домашние не могут со мной пойти... впрочем, если бы и могли, они бы все равно не захотели, это ведь их не касается, это касается только меня...

Но я сама не очень-то понимаю, к чему же я иду, это так неопределенно, далеко, почти чуждо... и в то же время я знаю: то, что меня там ждет, — самое близкое мне на земле, потому что у человека только одна мать, и он не должен предпочитать свою мать никому на свете, и вот я иду сейчас к своей маме...

Перед выходом мне объяснили...

— Сейчас ты бы сравнила себя с парашютистом, которого в последний раз наставляют перед прыжком в пустоту: «Так ты запомнила? не ошибешься? Ты поняла, как надо прыгать?» Ты отвечаешь: «Да, поняла...» И за тобой закрывается дверь.

Я исправно следую всем указаниям... сворачиваю налево, на улицу Алезии, дохожу до площади Монруж, потом еще раз налево, на Орлеанский проспект, и у Порт-д'Орлеан опять налево, на этой же стороне, через два или три дома, должна быть маленькая гостиница... а, вот она, я ее вижу, это отель «Идеал».

Я открываю застекленную дверь, вхожу и говорю полной даме, сидящей справа от входа, за стойкой администратора: «Я бы хотела видеть мадам Борецки...», это имя звучит так странно, мне кажется, я слышу его впервые в жизни...

— Хотя когда-то, на улице Флаттер, его произносили уже именно так, на французский манер...

— Но ведь это было так давно, мои шесть и одиннадцать лет разделяет гигантское временное пространство... Теперь «мадам Борецки», впрочем, как и все слова, которые я выговариваю, звучат нереально, чудно... и как они непохожи на ответные слова дамы, она произносит их так, как будто они вполне нормальные, обыденные, и тон у нее безразличный, слегка рассеянный: «Мадам Борецки у себя», и она называет мне номер ее комнаты...

Я стучусь, слышу «Войдите!», и внезапно этот голос становится мне самым родным на свете... низкий, хрипловатый, да, это ее произношение, в котором только раскатистое «р» и некая интонация выдают русский акцент.

Мне кажется, я не узнала бы ее, если бы встретила случайно на улице... она немного располнела, но главное — изменила прическу, на висках, у лба, две темные закругленные и гладкие пряди, как у Веры... ей это не идет, они придают ее лицу, которое было не похоже ни на одно лицо в мире, какую-то стандартность, жестковатость... Но стоит моим губам коснуться ее кожи... ни у кого не видела я такой кожи, она мягче и шелковистее всего самого мягкого и шелковистого на свете, и тонкий, нежный запах ее духов... мне хочется опять протянуть руку и провести по ее волосам, но я не осмеливаюсь, боюсь испортить прическу... ее красивые карие глаза, с золотистым отливом, немного разные, над одним бровь поднята чуть выше, чем над другим, внимательно наблюдают за мной, мне кажется, она разочарована, я не «красотка», как мне частенько говорили когда-то, она тоже это говорила, а теперь уже никто не говорит... она неодобрительно качает головой... «Как ты плохо выглядишь, совсем бледная... Все-таки это варварская система... уроки до конца июля... Забивают детям голову, превращают в маленьких старичков...» Я вспоминаю, что мама не придает большого значения школьным занятиям... и даже немного презирает их...

— Она часто говорила тебе, что сама плохо училась, вечно витала в облаках... и словно гордилась этим... Она рассказывала, как ее выгнали из гимназии за хранение листовок... вовсе не из революционных побуждений, ее попросила подруга, а она не отдавала себе отчета в опасности... я думаю, она была убеждена, что способна на большее... Ее выгнали из гимназии, и все, что она узнала потом, она прочла в книгах...

— Если даже все эти детали и не всплывают у меня в памяти, пока она смотрит на меня и говорит, как вредна для здоровья здешняя школьная система, я все равно не собираюсь ничего рассказывать ей о моей школе, о моем усердии, о моих успехах...

Она полулежит на кровати, а я сижу на стуле перед ней, ужасно жарко, она приспустила пеньюар с плеч, чересчур низко, она слишком оголилась, и это меня немного корбит, но потом я вспоминаю, что в России многие вещи не так коробят, как здесь... я вспоминаю нас обеих, совершенно голых, среди других обнаженных женских и детских тел, спящих в густом горячем паре, это было давным-давно, в Петербурге, когда мы вместе с ней ходили в «баню».

Так мы и сидим, смотрим друг на друга, я не знаю, что говорить, и понимаю, что мама тоже толком не знает, что говорить...

— А говорить надо было... А что еще оставалось делать, как иначе было вновь обрести друг друга?

— Мама говорит: «Коля просил крепко тебя поцеловать, он очень огорчился, что не смог поехать со мной, он кончает новую книгу...» Она умолкает, я чувствую, как она нащупывает... «Помнишь тех ребят, с которыми ты играла в Разливе? Их дача была рядом с нашей... — Да. У меня сохранился флакончик с золотой цепочкой, который ты мне подарила, когда мне исполнилось семь лет... — Так вот, представляешь, я встретила их маму, — старший из мальчиков, ему было тогда девять лет, очень болен, у него костный туберкулез, он должен все время неподвижно лежать... А у его сестренки, она твоя ровесница, — помнишь Валью? — все хорошо, она вроде бы такая же затейница, как прежде... Прошлым летом мы ездили на Волгу... Я

послала тебе оттуда несколько открыток... даже нашу с Колей фотографию, на экскурсии, с друзьями... — Да, они у меня...» И мама снова нащупывает... колеблется...

— Как в магазине игрушек, перед продавщицей, которая спрашивает: а сколько лет вашему ребенку? Может, кубики? Нет? Он уже большой... Тогда конструктор?

— Наконец, она решается... «Знаешь, прошлым летом, там был один рыбак, он ловил вот таких огромных рыб... Мы разводили большой костер, варили уху...», она останавливается, чувствуя, что это не вполне то, что мне надо... «Что же ты молчишь, давай поговорим о тебе... Ты ничего не рассказываешь о своих письмах... вот у тебя есть маленькая сестренка... сколько ей теперь? — В августе будет два... — Ее зовут Лили? — Да. — А полное имя? — Елена... — Елена?», мама, кажется, потрясена... я понимаю почему — так звали ее дочку, мою «настоящую сестру», как я ее называю, когда думаю о ней, когда жалею, что я одна, что ее нет рядом... В те далекие времена, когда папа, да и мама тоже порой мне о ней говорили, они называли ее самым тихим и умным ребенком, которого только можно себе представить... даже слишком... про таких говорят, что они не жильцы на этом свете... «Елена... но хоть Лелей они ее не называют? — Нет, ее всегда зовут Лили, и по-французски, и по-русски... — И на том спасибо... Я слышала, она очень трудная, нервная девочка... и что эта... Вера...», я вся сжимаюсь... я чувствую, что мама опять толком не понимает, с кем говорит... теперь она уже и вовсе не видит во мне ребенка, она думает, что обращается к взрослому человеку... но я же не взрослая, во всяком случае, не такая, как она думает... Ее слова «эта... Вера» полны, исполнены презрения, пренебрежения, они не для меня, мне они не подходят, я их не хочу...

— И, однако, ты поняла, как понял бы взрослый, что в ее пренебрежении не было и тени ревности, зависти... ты достаточно хорошо помнила маму, чтобы быть уверенной, что она не может испытывать ничего похожего... ни на минуту она не пожалела о своем отъезде и скорее даже сочувствовала той, которая приняла жизнь, отвергнутую ею... а собственная жизнь ее вполне удовлетворяла... но главное, мама всегда находилась на большом, слишком большом удалении от людей, чтобы иметь возможность соразмерить, сравнить себя с кем бы то ни было...

— Что как раз и делает слова «эта... Вера» еще более болезненными для меня... презрение это было вызвано чем-то, что рассказали маме люди, к которым она относилась с доверием, мама вполне могла бы уважать Веру, если бы ей изобразили ее по-другому... Но вот Вера вызывает, Вера заслуживает это презрение, и мне больно, мне страшно, я отступаю все дальше, туда, где слова, которые должны за этим последовать, уже меня не заденут... но мама ничего не замечает, она продолжает, будто говорит одновременно и себе самой: «Эта... Вера не совсем нормальная... она, кажется, истеричка...»

То, что заключено в этом слове, очень сильно бьет и ранит меня... я не вполне понимаю, что это такое, но во мне поднимаются, пробегают легкие волны ужаса... я мотаю головой... «Нет? Не истеричка? Ну что ж, тем лучше... тем лучше для тебя...»

И внезапно я ощущаю — никогда я не ощущала этого прежде — полное мамино безразличие ко мне, оно буквально выплескивается из ее слов: «Ну что ж, тем лучше для тебя...» Оно обрушивается на меня с чудовищной силой, оно переворачивает, отбрасывает меня обратно к тому, что, как бы плохо оно ни было, все-таки немного мое, все-таки ближе мне... оно толкает меня к той, которая ее заменяет, к которой я вернусь, с которой я буду жить, с которой живу сейчас...

Как я сказала маме, что завтра... это было на следующий же день после ее приезда... я поеду в Версаль и, только вернувшись оттуда, приду к ней? Как она отреагировала на это? Как я провела этот день вместе с Верой, Клер и Люсьен? Я ничего не помню... Где был отец? Он не очень-то любил такие воскресные выходы, крайне, впрочем, редкие. Наверное, сидел и читал в своем кресле...

— Я даже не уверена, сообщила ли ему Вера о наших планах... и рассказала ли что-нибудь потом... А сама ты говорила ему? Не думаю...

— Во всяком случае, в то воскресенье... и это так никогда и не стерлось из моей памяти, я совершенно отчетливо вижу... как во второй половине дня бегу в отель «Идеал» и спрашиваю внизу, у себя ли мадам Борецки, и как мне отвечают: «Мадам Борецки вышла. — А когда она вернется? — Она ничего не сказала».

А на следующее утро, когда я вошла к маме, она сообщила мне, что уезжает, возвращается в Россию, сегодня же вечером, она уже заказала место в поезде... Но все, кроме этого, все слова, произнесенные ею, все выраженные ею чувства и чувства, которые я испытывала, — все уже давно забылось... Я могу только вообразить себе, хорошо узнав это позже, ее спокойную холодность, ощущение ее непреклонности — точно она сама получила некий толчок, которому не в силах противиться... Что-то подобное должен был чувствовать отец, когда она уходила от него... я поняла это гораздо позже благодаря нескольким его словам, не о ней, просто о «людях, которые»... добаться до нее было невозможно... я чувствовала, что она уже там, далеко от меня. И вряд ли я пыталась удержать ее.

Я, наверное, оцепенела от удивления. Я была раздавлена бременем своей вины, достаточно тяжелой, чтобы вызвать такую реакцию. Может, во мне и возникли какие-то всплески протеста, возмущения... Не помню.

Только одно возникает из забвения и обретает формы: она сидит слева от меня, на скамейке в саду или сквере, незадолго до нашего расставания, вокруг нас деревья... я смотрю на ее профиль, золотисто-розовый в лучах заходящего солнца, а она смотрит перед собой взглядом, обращенным вдаль... потом поворачивается ко мне и говорит: «Как странно, есть слова, звучащие одинаково красиво на двух языках... послушай, как красиво по-русски звучит «гнев» и как красиво по-французски «coûteux»... сразу и не скажешь, в каком из них больше силы, благородства...», она повторяет с каким-то счастливым видом «гнев»... «coûteux»... вслушивается, качает головой... «Бог мой, как красиво»... и я отвечаю «да».

Сразу же после маминого отъезда мы переехали, как обычно летом, на виллу в Медон... У меня, наверное, был подавленный, грустный, мрачный вид, и Веру с отцом это, видно, обескураживало и раздражало... и может, именно это побудило отца через некоторое время после маминого отъезда подойти ко мне, размахивая письмом... «Ну-ка, посмотри, что пишет мне твоя мать... вот, читай...», и я вижу слова, выведенные крупным маминым почерком: «Поздравляю вас, вам удалось превратить Наташу в эгоистичное чудовище. Оставляю ее вам...», не дав мне дочитать, отец вырывает письмо у меня из рук, сминает его, комкает в кулаке и закидывает далеко в сторону, у него вырывается какой-то скрип, как будто он взорвется сейчас от негодования, от ярости... Ааа...

Три года спустя, в июле 1914-го, мама вернулась. На этот раз мы жили с ней в Сен-Жоржде-Дидонн, в красивом доме, где у нас были две комнаты и кухня, выходящие в большой фруктовый сад.

Никогда прежде не приходилось мне видеть людей таких цветущих и веселых, как мама в то лето, она без конца восторгалась всем вокруг — соснами, морем, лужайками, деревьями, цветами... она никогда не рвала их, просто смотрела... в любой момент готова была забавляться всяким пустяком, на нее, как и на меня, нападали безудержные приступы смеха...

«Мой дом не мышеловка!»... когда мама повторяла эту фразу, мы обе хохотали до слез... Мы слышали, как ее с необыкновенным пафосом произносил актер в какой-то мелодраме, поставленной бродячим театром... «Мой дом... — и мама выбрасывала руку, запрокидывала голову... — не мышеловка!» Нам это казалось очень смешным...

А потом, в августе, барабанный бой возвестил всеобщую мобилизацию. А еще позже из

листочков, наклеенных на стенах мэрии, мы узнали, что началась война. Мама заметалась, надо было срочно уезжать в Россию, иначе ей могли отрезать все пути, задержать здесь... она еще могла сесть на корабль, отплывающий из Марселя...

Я проводила ее до Ройана, на поезде... я вся истерзалась... и более всего — от ее радости, которую она и не пыталась скрыть... какое прекрасное путешествие, Константинополь... а там — Россия, и Петербург, и Коля... как он, наверное, ее ждет... как волнуется...

Когда я вернулась на нашу виллу, которую отец и Вера сняли на другом конце Сен-Жоржде-Дидонн, мой расстроенный вид, наверное, опять раздражал их, отец держался со мной холоднее обычного, а Вера по-змеиному шипела и жалила, еще более обычного, с ней это довольно часто случалось в то время.

Вскоре после отъезда бабушки Вера решила, что пришло время нанять для Лили английскую гувернантку. Если не поторопиться, у Лили будет плохое произношение.

Сама она английского не знала, но велела тщательно проверять выговор молодых англичанок, приведенных ей, какой-то подруге, которая в этом понимала и выбирала только из тех, кто говорит чисто.

Вера сразу давала понять каждой, что берет ее только для «маленькой», старшая же в них не нуждается.

Довольно скоро стало ясно, что больше всего Вера сердилась и настраивалась против них, когда они говорили со мной по-английски, делали мне какое-нибудь замечание относительно моей воспитанности или, наконец, просто обращали на меня внимание.

Теперь мне кажется, что она просто силилась уравновесить наши с Лили шансы, преимущества... Я прекрасно говорила по-русски, немного по-немецки, мне не так уж и нужен был еще и английский... Возможно даже, что благодаря знанию английского, а она считала это признаком избранности и изящества, Лили обгонит меня на несколько очков... И кроме того, она, должно быть, решила, что ее мать мне уделила гораздо больше внимания, чем своей настоящей внучке, и что отец слишком уж много занимается мною...

Как бы то ни было, но если бы Вера захотела пробудить во мне страсть к английскому, ей не удалось бы сделать это лучше... А потом оказалось, что язык сам по себе очаровал меня. И кроме того, юные, простодушные англичанки были, в общем, очень симпатичны — только-только вылупившиеся из своего деревенского детства пасторских или учительских дочек... того самого «настоящего» детства, другим оно и не могло быть, — детства, прожитого в беспечности и безопасности, под строгим и благожелательным наблюдением дружных, справедливых и спокойных родителей... Здесь они совершенно терялись, беспрестанно сталкиваясь с необузданными страстями, с дикими выходками Веры.

Некоторое время спустя они понимали, что находятся в самой «горячей», самой опасной точке нашего дома — они отвечали за Лили... Лили, защищенную от всего на свете мощнейшей системой обороны, воздвигнутой вокруг нее матерью... те из них, кто допускал хоть малейшую оплошность, позволяя Лили привести в действие своим нытьем и хныканьем это оружие, всегда находившееся в боевой готовности, вынуждены были спешно отступать... И если, не дай бог, они осмеливались оказывать сопротивление, в них выстреливала пулеметная очередь Вериных слов, произнесенных ее категорическим тоном: «Лили-никогда-не-врет».

Немногим из них удавалось выдержать долгое время на этой должности, и при Вере я старалась к ним не приближаться. Но всегда спешила воспользоваться ее отсутствием, что случалось довольно часто.

Обычно по вечерам, когда Вера с отцом уходили, мы собирались с этими юными одинокими англичанками в их комнате, соседней с моей, раньше ее занимала бабушка: у этой комнаты было то преимущество, что она была рядом со входом... оттуда мы могли быстрее

услышать шум на лестнице, хлопанье входной двери, шаги... они останавливаются на лестничной площадке... в замочную скважину на ощупь вставляют ключ, сейчас он повернется... Мне надо прервать это блаженство, с которым я слушаю их язык, и пытаюсь на нем говорить, и открываю для себя в их ностальгических, полных нежности рассказах, как в *nursery rhymes*^[15] и книжках Лили, неведомую страну, где все очаровывает меня, пробуждает и во мне тоже ностальгию и нежность... но нельзя терять ни минуты, я удираю, я тихонько прикрываю за собой дверь...

— Помнишь, как многие годы спустя ты встретила мисс Филипс...

— Наверное, лет через двадцать после ее отъезда... Я увидела ее в Булонском лесу, в темно-синей форме няни, она катила коляску с ребенком... Я тут же узнала ее, она, казалось, была приятно удивлена, что мне удалось выжить... Она сказала мне: «I still see your stepmother in my nightmares...»^[16], и мы, рассмеявшись, расстались.

Мне в комнату поставили старый комод, купленный у торговца подержанными вещами, он из темного дерева, с массивной столешницей черного мрамора, из его выдвинутых ящиков веет затхлостью, плесенью, в них лежат объемистые тома в картонном переплете, обернутые в черную бумагу с желтоватыми прожилками... продавец, наверное, забыл их там или поленился вынуть... это роман Понсона дю Террайля «Рокамболь»^[17].

Ну и издевался же отец... «Это просто пошлятина, он не писатель, он писал... я лично ни строки не прочел... но насколько я знаю, он писал весьма вычурными фразами... «Ее холодные, будто змеи, руки...», это был балаганный шут, он не интересовался своими персонажами, путался, забывал их... Чтобы вспомнить своих героев, ему приходилось изображать их в виде кукол, которых он запирает в шкафах и потом доставал оттуда без разбора, наобум, поэтому через несколько глав умерший герой появлялся в полном здравии... надеюсь, ты не станешь терять времени...» Как же... Все напрасно. Как только у меня выдается свободная минутка, я бросаюсь к этим съезжившимся, словно еще чуть влажным страницам, усеянным зеленоватыми крапинками, источающим что-то интимное, тайное... какую-то мягкость, вроде той, что обволакивала меня в провинциальном, ветхом, душном доме с многочисленными лесенками, потайными дверцами, переходами, темными закутками...

Но вот наступает долгожданный момент, я могу наконец разложить на кровати этот томино и открыть на том самом месте, где я вынуждена была прерваться... я ныряю, погружаюсь в него... меня уже не остановишь, не удержишь словами, их смыслом, внешним видом, развертыванием фраз, невидимое течение увлекает меня вместе с теми, к кому я привязана всем своим несовершенным, но алчущим совершенства существом, к ним, к воплощенной доброте, красоте, изяществу, благородству, чистоте, мужеству... вместе с ними я должна встречаться лицом к лицу с катастрофами, подвергаться жесточайшим опасностям, сражаться на краю пропасти, получать удары кинжалом в спину, меня вместе с ними заточают и мучают чудовищные мегеры, мне грозит гибель... и всякий раз, когда мы уже на грани того, что я могу выдержать, когда не остается никакой надежды, ни малейшего выхода, хоть самой зыбкой возможности... происходит то самое... нам на помощь, как раз вовремя, поспевают безрассудная смелость, честь, ум...

Это мгновение наивысшего счастья... всегда мимолетное... вскоре я вновь буду во власти кошмаров и чудовищных мук... конечно, самые храбрые, самые красивые, самые непогрешимые, пока что всегда спасались... до сих пор... но как же мне не бояться, что на этот раз... случилось ведь с людьми, чуть менее совершенными... нет, они, конечно же, были менее совершенны, менее притягательны, я не была к ним так привязана, но я надеялась, что им тоже, они заслужили это в последний момент... но нет, они и я — какая-то часть, вырванная из меня самой, — мы вместе были сброшены со скалистых вершин, расшибались, тонули, стонали от смертельных ран... потому что Зло рядом, повсюду, готовое в любой момент нанести удар... Зло так же могуче, как Добро, и всегда может победить... и на этот раз все погибло, все самое

благородное, самое красивое на свете... Зло утвердилось тут основательно, не пренебрегая ни малейшей предосторожностью, ему теперь нечего бояться, оно заранее предвкушает свое торжество и не торопится... и как раз в эту минуту я вынуждена отзываться на голоса, долетающие из другого мира... «Тебя же зовут, стол накрыт, ты что, не слышишь?»... надо возвращаться к этим рассудительным, осторожным людишкам, с которыми ничего не происходит, да что вообще может произойти там, где они живут... тут все так скованно, мелко, жалко... а там, у нас, на каждом шагу дворцы, особняки, всякие красивые вещи, мебель, сады, роскошные экипажи — здесь таких не увидишь, — потоки золотых монет, реки бриллиантов... «Что такое с Наташей?» — это тихо спрашивает отца его приятельница, пришедшая к нам на обед... мой отсутствующий вид, блуждающий и, может, немного высокомерный взгляд, должно быть, повергли ее в изумление... и отец шепчет ей на ухо: «Она вся в Рокамболе!» И приятельница кивает головой с выражением, означающим что-то вроде: «Ну, тогда я понимаю...» Но что они могут понять...

В Ванве, на перекрестке двух длинных и мрачных улиц, в доме, построенном из грязно-серого камня и похожего внешне на все остальные дома в округе, мой отец пытается воссоздать сильно уменьшенный вариант своей ивановской «фабрики красильных материалов».

За домом, во дворе с утрамбованной землей, окруженном маленькими сарайчиками, я ощущаю, так же как и там, во дворе, простиравшемся за огромными деревянными строениями в Иванове, тошнотворный запах кислоты, и точно так же переступаю через ручейки желто-красно-синей жидкости... Проходя мимо открытой двери маленького кабинета, я вижу на столе знакомые счеты с желтыми и черными костяшками, которые передвигаются вдоль металлических стержней. В лаборатории отец в белом халате склонился над столом, где перед пробирками, на деревянных подставках, разложены стеклянные пластинки... на двух из них высятся кучки пронзительно-желтого порошка... я знаю, что этот порошок — отец часто про него говорил — называется «желтый хром»... Он долго вглядывается в одну кучку... «Посмотри хорошенько, тебе не кажется, что вторая ярче? Эта серее, что ли... Я силюсь увидеть разницу... — Нет, не вижу... хотя, может быть, чуть-чуть... — Ну, конечно, она тусклее... Ничего страшного, мне кажется, я знаю, почему так получилось, я просто переделаю, и все... но на сегодня хватит, давай собирайся, пошли...»

Мы спускаемся по лестнице и заходим попрощаться с господином и госпожой Флоримон. Они работают здесь и живут рядом, на той же улице, на первом этаже.

Я их видела редко, но, как ни странно, образ этих людей отпечатался в моей памяти ярче многих других, кого я знала лучше... Потому, наверное, что Флоримоны были точной копией образов, которые заронил в меня отец со всей своей пристрастностью и убежденностью... образов простых и ясных... как миниатюры, как лики святых... как иллюстрация качеств, так почитаемых отцом... На лице господина Флоримона, на его хохолке, на шее, на руках, словно пропитанных красной краской, будто написана его любовь к работе, он забывает даже о необходимых предосторожностях... в его покрасневших глазах столько ума, который словно перетекает из его глаз в мои... многие ученые могли бы ему позавидовать... и его искренность, достоинство... У госпожи Флоримон пухлое тело, круглые щеки, большие внимательные глаза, и когда она улыбается, губы у нее приподнимаются с одного края чуть выше, чем с другого... она воплощенная преданность, скромность, но и решительность... И как они любят друг друга, нотка печали проскальзывает в голосе отца, когда он говорит об их трогательных отношениях... «они прекрасные люди, не знаю, что бы я без них делал, это лучшие мои друзья, мне просто повезло...» Они наклоняются, гладят меня по голове... «Как она похожа на вас...» Отец ждет на пороге... Его тонкая прямая фигура вырисовывается в дверном проеме, он тоже — воплощение четкости, энергичности... лицо у него моложе и счастливее, чем обычно... Он говорит: «Ну,

хорошо. До завтра»... и это его «ну, хорошо» выдает его удовлетворение, в этом «ну, хорошо» я слышу «как хорошо, как я доволен, что получил сегодня свою долю повседневных трудов и получу ее завтра... Без этой доли как мог бы я жить?.. Ну, хорошо. Значит, до завтра... Идем, дочка».

С тех пор, как я в Париже, он иногда, в порыве нежности, так меня называет. Не Ташок, а дочка, доченька, девочка моя... и в этих словах я чувствую, никогда до конца не сознавая этого, что-то вроде мучительного признания некой сторонней связи, объединяющей нас... что-то вроде заверения в его постоянной поддержке, но в то же время какого-то вызова...

— Неужели ты действительно полагаешь, что даже в тот момент, в этой тихой гавани, в этом святилище, под покровительством святых образов, ты ощутила в его словах...

— Думаю, что даже там я не могла слышать отцовское «дочка», как я слышу слова простые, привычные, обиходные, совершенно естественные, сами собой разумеющиеся — слова, которые слышали господин и госпожа Флоримон.

Мы с Верой возвращаемся с Орлеанского проспекта, куда ходили за покупками, мы медленным шагом идем по улице Алезии, через несколько метров мы пересечем ее и свернем на улицу Маргерэн... И тут вдруг я касаюсь Вериной руки, которой она слегка придерживает свою длинную юбку, и спрашиваю, что называется, в упор: «Скажи, ты меня ненавидишь?»

Я прекрасно понимала, что Вера не ответит: «Да, я тебя ненавижу»... я, должно быть, надеялась, что это жестокое, брошенное внезапно слово ударит ее, заставит обернуться ко мне и сказать, погрузив в глубину моих глаз свой опечаленный взгляд: «Что ты выдумываешь? Наоборот, ты что, неужели ты не чувствуешь?»

— Тут уж ты преувеличиваешь, не могла ты ожидать таких излияний...

— Ну, тогда по крайней мере мне хотелось, чтобы она раздраженно взглянула на меня и сказала, пожав плечами: «Какая чушь! Честное слово, и впрямь «уши вянут», когда слышишь такое...», она часто употребляла это выражение...

Во всяком случае, я наверняка ожидала и добивалась такого успокаивающего шлепка.

— А может, ты попыталась воспользоваться этим покоем, согласием, чтобы ее напугать: вот теперь, когда ты ведешь себя так примерно, давай-ка взглядишь в то, что порой происходит в тебе, в свои еле сдерживаемые вспышки гнева, в свое клокотание, шипение, откуда только все это берется?.. может, оттого только, что я с тобой рядом... вот, посмотри, это и называется «ненавидеть» — так уж про это говорят. Совершенно ясно, ты меня «ненавидишь». Нет? Ничего не ясно? Не то? Ты меня не ненавидишь? Тогда что же? Давай разберемся вместе... со всей откровенностью... душа в душу... я готова увидеть в своей душе то, что видишь в ней ты, и ты, в свою очередь... наши желания и наши сердца слиты воедино...

— Да, видимо, что-то вроде того и было, как это ни дико...

Вера внезапно останавливается, выдерживает паузу... и потом произносит своим резким, решительным тоном: «Как вообще можно ненавидеть ребенка?»

Эти слова она искала и нашла где-то там, куда я не могу за ней последовать... слова сжатые, непроницаемые, в которых я различаю только это знакомое мне «как вообще можно»... людям нормальным, нравственным, таким, какими должны быть, к которым принадлежит она сама...

А «ненавидеть»... ну и словечко!.. чересчур сильное, дурного тона... хорошо воспитанный ребенок не должен его употреблять, а главное... какая дерзость... осмелиться применять его к ней...

«Ты меня ненавидишь?»

Нет, за кого принимает себя этот ребенок? «ненавидеть»! да как может ребенок вызвать подобное чувство?

У меня еще не дорос — какое тут «ненавидеть»... Мне придется еще ждать и ждать,

прежде чем я обрету такую честь...

Но потом, когда я уже не буду принадлежать к миру жалких пигмеев с почти неосознанными, беспорядочными движениями и еще не созревшими мозгами... если и тогда то, что уже есть во мне сейчас, будет по-прежнему присутствовать... чего не вижу я, но видит она... если это останется во мне — то, что пока нельзя ненавидеть, как вообще можно ненавидеть ребенка... но когда я не буду больше ребенком... а если бы я не была ребенком... ох, вот тогда...

Я несусь вниз, я скатываюсь кубарем по ровной густой траве, усеянной мелкими горными цветами, к самому Изеру, поблескивающему за лугом, между высоких деревьев... я опускаюсь на колени у кромки прозрачной воды, окунаю в нее руки, брызгаю себе в лицо и, растянувшись на спине, вслушиваюсь в шум ее течения, вдыхаю аромат влажной древесины, огромных ободранных стволов, которые река принесла и выбросила около меня на берег, в высокую траву... я изо всех сил прижимаюсь спиной и раскинутыми как крест руками к земле, поросшей мхом, чтобы в меня проникли все ее соки, чтобы они растеклись по всему моему телу, я смотрю в небо, как никогда еще не смотрела... я растворяюсь, у меня нет границ, нет конца.

Туман, который поднимается до самого отеля, покрывает луга, застилает равнину, он благотворен, он смягчает, скрадывает горечь близкого конца каникул... его прохлады, его сизые тона вселяют в меня силы, увеличивают мое нетерпение встретиться наконец лицом к лицу с тем, что ждет меня по возвращении, с «новой жизнью» в лицее Фенелон, мне сказали, там надо так много работать, преподаватели очень требовательны, вот увидишь, первое время может быть довольно трудно, это тебе не начальная школа...

И вот уже ранним утром Вера провожает меня до угла Орлеанского проспекта и улицы Алезии, к остановке трамвая Монруж — Восточный вокзал... Она помогает мне взобраться на подножку, наклоняется к дверце и говорит кондуктору: «Будьте так любезны ~ «малышка» первый раз едет одна, напомните ей, когда сойти, — на углу бульвара Сен-Жермен...» Она еще раз просит меня быть повнимательнее, я жестом успокаиваю ее и сажусь на деревянную скамейку у окна, мой портфель, тяжело набитый новыми тетрадками и учебниками, стоит у меня между ног, на полу... Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскакивать каждую минуту, я верчусь из стороны в сторону, пытаюсь разглядеть улицу сквозь запыленные окна... мне очень досадно, что трамвай так долго задерживается на каждой остановке, что он не едет быстрее...

— Ладно, успокойся, я закончила, я не стану тащить тебя дальше...

— С чего это вдруг, раз уж ты не побоялась забраться так далеко?

Не знаю... я бы лучше пошла еще куда-нибудь, в другое место...

Может быть, потому, что именно здесь, как мне кажется, и завершается для меня детство... Когда я смотрю на то, что открывается теперь передо мною, я вижу какое-то огромное загроможденное пространство, залитое ярким светом.

Я была бы уже не способна собраться с силами и восстановить какие-то минуты, какие-то движения, еще, как мне кажется, нетронутые и еще достаточно мощные, чтобы высвободиться из хранящего их защитного слоя, из беловатой, мягкой, словно ватной толщи, которая распадается и исчезает вместе с детством...

«Золотые плоды»

Авторизованный перевод Р. Райт-Ковалевой (1969)



—Послушай, ты вел себя ужасно, неужели нельзя было сдержаться... Мне стало так неловко...

— Неловко? Что за чепуха? Почему неловко, черт возьми?

— Все это ужасно... эта открытка, эта репродукция... с каким видом он ее достал... А ты бы посмотрел на себя: взял ее в руки, сунул мне не глядя, даже не посмотрел в его сторону.. Он был так обижен...

— Обижен... подумаешь! Обиделся, потому что я не впадаю в экстаз, как они все, не падаю ниц...

Падать ниц всем, сразу, в экстазе... возгласы хором... чудо единения... До чего странные люди... Вот он засунул руку в нагрудный карман и вынимает... Тут тебе надо бы обрадоваться, как радуется врач, когда приходит конец его сомнениям и он видит там, где и предполагалось, крошечный прыщик, сыпь... надо было обрадоваться, когда он достал из внутреннего кармана, у самого сердца, именно это и протянул тебе, жадно блестя глазами, предвкушая эффект: «Вы видели этот рисунок?... Курбэ... Изумительно... Взгляните...»

—Смешно. Чудак он. Понимаешь, это же та самая репродукция... теперь они все держат ее у себя дома...

Прикноплена на серых с розами обоях, над письменным столом — для вдохновения — или над камином, меж зеркалом и рамой, и везде — о, чудо! — та же самая... А какие у них становятся лица... какие ужимки... Застенчиво... Гордо... Это мое открытие... Моя находка... Мое

маленькое тайное сокровище. Не расстаюсь с ним никогда. Новы, вы... с вами можно... Вы вполне достойны... Вам я могу без боязни: это не профанация, не принижение... С вами, только с вами поделиться. Дарю. Подношу вам. Лучшее, что у меня есть. Крупная голова, выпуклые глаза, толстые губы — трубочкой... и — приглушенным голосом, с трепетом: «Курбэ. Единственный. Самый великий. Да, я утверждаю. Я не боюсь этих слов. Он — величайший гений. Шекспир и он. Всегда говорил и говорю: Шекспир и Курбэ».

— Что же, по-твоему, — он повысил голос, — я позволю собой вертеть? Мне в высшей степени безразлично — пусть обижается. Не люблю, чтобы меня учили... Считали за дурака.

— Право, я тебя не понимаю. И никогда не понимала, как ты можешь принимать все это так близко к сердцу? А мне всегда до того боязно. Особенно с ним. Да и вообще с ними со всеми... Честное слово, я просто не знаю, куда деваться. Мне всегда кажется...

— Да, на тебя и смотреть было смешно... Вся подалась вперед... с таким благоговением, так серьезно... Будто перед причастием... А голосок... «Ах, да... Прелестно... Где она? В каком музее? Да, да... Великолепно...» Нет, ты меня рассмешила... А сама и не смотришь.

— Да, не смотрю. Я из вежливости. Может, если бы не ты, я бы тоже не так... Но мне за тебя неловко, не могу я...

— А вот представь себе, по-моему, ты вела себя с ним нехорошо... Ты не права... Я, например, вовсе не презираю его...

— А я презираю? Ты с ума сошел!

— Вот именно. Презираешь. «Ах, бедняжка, надо с ним помягче. Он так страдает от своего снобизма, от своей глупости... Не надо трогать... болезненное место. Не замечать ничего, так стыдно... А он такой чувствительный, страшно дотронуться...» Ты с ним обращаешься, как с психическим больным. Да и все ломают с ним комедию. Вы мне напоминаете пьесу Пиранделло¹¹⁸, помнишь — санитары изображают придворных? Он — слово — и все в восторге. Он несет чепуху — и все соглашаются, пряча глаза. А он рыщет взглядом, нет ли где несогласных. Он их не терпит. И чуть кто пытается взбунтоваться — все на него, скопом... Все, как ты: «Ах, мне неприятно... Я разволновалась». А я вот не разволновался... С такими вещами не шутят, я этого не люблю... Курбэ тут ни при чем... Не в том дело... Я сам ходил его смотреть, нашего знаменитого Курбэ, нарочно ходил во время завтрака, чтобы никого не встретить. Посмотреть спокойно, со свежей головой. Невозможно! От них не удерешь... Уже на лестнице — иду наверх, а он спускается — этот Дюлю, ну, критик, пишет бездарные статьи и всегда невпопад... А тут он сразу — палец вверх: «Что, будете смотреть?.. Какая выставка, а? Вы в первый раз? Вот увидите. Первоклассно. Грандиозно. Потрясающе... Только умоляю, не пропустите... там, в конце, в малом зале... крошечное полотно... внизу слева...» Это уж он сам открыл, лично. Это его заслуга: «Голова собаки. Вот увидите. Молчу, молчу!»

— Но ведь им и вправду это нравится... Уверяю тебя. Им хочется с кем-нибудь поделиться... По-моему, это даже трогательно.

— И я знаю эту потребность — непременно делиться, общаться. Да, все это прекрасно, все это очень хорошо... Но такой тип, как Дюлю — нет, не смей меня...

Узнают друг друга с первого взгляда. Люди одного круга, не так ли? Те же закрытые клубы, те же салоны. Те же портные, поставщики. Тот же цветок в петлице, те же гетры и шелковые жилеты, тот же монокль в глазу. Но эта маленькая деталь, этот чуть заметный признак изящества... такой смелый, такой тонкий штришок... редкий вкус, изысканность... «О, пустяк... Только вам, строго между нами... пройдите туда, скажите — от меня, — что вы, что вы, пожалуйста! — и там, в глубине, слева... Никто не замечает, но я вам советую. Поразительная вещь, вы просто влюбитесь: голова собаки...»

«А голова собаки? Вы ее видели?.. По-моему, восхитительно... По-моему, просто чудо...

Одна эта маленькая вещь могла бы...»

Да, эта маленькая вещь объединила всех... восторги... слияние душ, единство... Кажется, и я поддаюсь... щекочет нервы, изумительно... Подступает, накатило... Возгласы... Экстаз... Ну же, давайте, все вместе, громче... Еще, еще. Вперед. Теперь и я лечу со всеми вместе, сметая преграды, срывая тормоза... До конца... Меня ничто не удержит .. ни жалкая боязнь смешного, ни леденящий страх стыда. Еще. Я поддаюсь, я охвачен восторгом... А он, вон там... смотрите. Он впадает в транс... в него вселилось божество, он в конвульсиях, закатил глаза, на губах пена, катается по земле, рвет на себе одежду... «Для меня...» Он бьет себя в грудь... «Для меня, я не боюсь сказать... нет ничего выше. Курбэ — самый великий. Шекспир...» Последний спазм. Все тело — дугой: «Шекспир и Курбэ».

— Слушай, меня от этих людей мутит. Стадо овец, отвратительно... Мне осточертели их вопли, их истерики. Все преувеличено, и восторги и похвалы... Главное — переплюнуть друг дружку. Только послушать их. Он один, нет ему равных ни среди современных художников, ни среди старых мастеров. Величайший гений мира. И все это всерьез, понимаешь? Никто не улыбнется. Им все нипочем, они не боятся быть смешными, да и кто им судья? Они всегда правы, будьте спокойны! И если кто осмелится им перечить... Ты видела, как он на меня посмотрел? Да если бы я даже боготворил Курбэ... у него действительно есть прекрасные полотна... все равно я бы промолчал. Этот их Беллок, который хвалит самую жуткую пачкотню... А Мазиль... всегда бьет мимо. Любую дрянь превозносит до небес....Но об этом ни слова. Молчание. Им все сходит с рук. И горе тому, кто посмеет напомнить...Ты себе представляешь — неуч, тупица вдруг спросит: « Неужто мнение Мазилия имеет значение? Помните, как он расхваливал этого маляра?...» Фу, как он смеет...Ату его! Ату! Какой ужас! Какая непристойность! Разве можно так оголяться? Нельзя же... напоказ... Вот ты меня считаешь безжалостным, грубым... Но я бы и то не стал... Слишком легко их уязвить... Ведь в душе я такой же, как ты... Мне их как-то жалко...

— Тебе — жалко? Вот мне было действительно жаль его, когда ты с таким видом... А он как будто весь раскрылся... такой беспомощный, беззащитный. Мне казалось, ты пользуешься его слабостью... не знаю... так грубо... Да, уверяю тебя, в тебе было столько превосходства, высокомерия... Мне вдруг стало ужасно его жаль...

...Так мягко, деликатно, немного боязливо. Смутно чувствуя какую-то враждебность, угрозу, стараясь, напрягаясь, не жалея сил, только бы их обезоружить, задобрить, отдать им все, да, все, что угодно... вон то, или нет — вот это... Все вам, вот... кладу у ваших ног... все, что я видел... все, что знаю... фильмы, пьесы, романы, концерты, выставки... Ну как, вам нравится?.. Угодил?.. Хоть бы отвести от себя... хоть бы... слабая надежда — да смогу ли я, удастся ли мне... До чего трогательно это детское упорство, эта наивность... удастся ли увлечь вас, захватить?

Робкая улыбка сразу гаснет, доверчивый, дружественный взгляд вдруг тускнеет, туманится, подергивается влагой, в нем беспокойство, удивление... Вот животное — ничем его не смягчить, бесчувственный, бесстрастный, улещивай его сколько угодно. И тут последняя попытка... рука во внутреннем кармане... вынуть это сокровище... талисман... тайный знак. Ведь мы же братья, правда? Я знаю, знаю... Я вам несу святые дары... Я подаю вам хлеб-соль...

— Нет, ты был несносен... Ты был невежлив. Потому тебе всегда хочется наказать человека, если он чему-то поддался хоть немного, зачем силой заставлять его быть независимым? Ты его задел, ты его обидел... Мне было больно смотреть — он так съежился...

— Ничуть он не съежился... Впрочем, вполне возможно, что он и съежился. От презрения. От отвращения... А на тебя смешно было смотреть, до чего ты старалась сгладить мою «промашку», выпросить за меня прощение. А по-моему, он мне надерзил... вдруг переменил тему, завел разговор про отпуск...

— Конечно, ведь ты сам показал, что отвергаешь его дары. Ты не захотел побрататься с ним... Вот он и попытался найти другую тему...

— Другую тему, хо-хо! Вот именно. Другую тему. Доступную моему пониманию. Поездки — вот это для меня. Еще немного — и он стал бы обсуждать со мной марки автомобилей: это доступно! Но до чего ты перепугалась... Не выдержала...

— Да, не выдержала, не могла...

Земля разверзлась. Гигантская пропасть. И он на той стороне, он удаляется, не обернувшись... надо крикнуть... позвать... пусть обернется, пускай возвратится... ах, не бросайте нас... мы идем к вам, на ваш берег, помогите, помогите, мы идем... хватайте конец... еще одна попытка... доверьтесь нам еще раз... Скажите, а вы читали?... Что вы об этом думаете?..

— А самое потешное, когда ты его спросила... мало тебе было разговоров, нет, надо нарочно его втягивать... когда ты его спросила про эту книжицу...

— Про «Золотые плоды»?..

— Да-да, про них. Я подумал, проверяешь ты его, что ли? Хочешь узнать, действительно ли он такой... что он думает. И ты про книгу... Что у тебя было на уме? Что ты вообразила?

— Абсолютно ничего. Мне и дела нет до его мнения. Просто хотелось его успокоить. Вернуться в его дом, в его вотчину...

Опоздала... Он не поддался. У него до сих пор стоит поперек горла, что я не глядя передал тебе репродукцию и слова не сказал... Опоздала ты. Смешно было смотреть, как он с ледяным видом процедил сквозь зубы: «Да. Читал. Очень неплохо». А чего другого ты ждала? Ведь эта в книжка — последний крик моды, да? Статья Вернье была? Рамон про нее писал? Что же еще он мог тебе сказать?

— Ах, не в этом дело... Ты не понимаешь. Я надеялась, что завяжется разговор... Невыносимо было чувствовать, что все пути отрезаны...

Часами, без устали, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на чуть напряженных лицах, они раздувают пламя внимания, они питают его всем, что у них есть, черпают из своих сокровищниц — полными охапками, полными горстями, — отдавая все свои богатства, все клады — не жалеть, не жадничать, все отдать! Но вдруг у одного из них пламя, едва заметно трепеща, сникает, гаснет, и тот, другой, который неустанно следит за этим пламенем, продолжает, будто ничего не случилось, веря, что пламя снова вспыхнет, зная, что его не оставят во тьме, не дадут ему заблудиться, без помощи пропасть во мраке, и, стараясь не сбиться, найти верный путь к этому пламени, он идет к нему, вслепую, смело, напрямик...

И пламя снова вспыхивает... вздрогнуло, заметалось и опять ожило — ведь это была только минута слабости, усталости, не бойтесь, вот оно снова горит. «Да-да, я вас слушаю, вы правы, я тоже так думаю... мне тоже очень-очень понравилось... вот только конец как будто... Нет? Вы не считаете? Должно быть, вы правы... Непременно перечитаю, подумаю...»

Тебя ломает, все тело ноет, но надо держаться во что бы то ни стало... смелей... еще усилие... ближе... вот... — и рука погружается во внутренний карман, вынимает репродукцию, протягивает ее... И вдруг — грубый отпор... Ледяной порыв ветра... Все гаснет... Черная ночь... Где вы? Отвечайте. Мы здесь, мы, оба. Слышите, я вас зову, ответьте же мне! Дайте знак, что вы еще здесь. Ау! — кричу я изо всех сил. «Золотые плоды» ~~ вы меня слышите? Что вы о них думаете? Неплохо, правда?» И унылый голос, как эхо, отвечает: «Золотые плоды»? — Неплохо...»

Пустынные улицы. Стучат шаги. В домах темно, но какое счастье, сама судьба, нежданная удача — то окно, его окно еще светится... Ну, жребий брошен... Парадное открывается, лампочка зажглась, две ступеньки, стеклянная дверь, лестница — взлететь сломя голову... нет, зачем?.. где это видано?.. Это только так говорится — сломя голову, но кто же так ходит? Вот как надо —

спокойно, только не думать... ни о чем не думать... через две ступеньки, нет — ступенька за ступенькой... Палец тянется к звонку. Нажимает. Звонок. Вот оно... Шаги приближаются... Нет, не хочу, стойте... Но дверь открыта... Взять себя в руки, собраться...

— Ничего, не пугайтесь, увидела свет, решила, что можно... Забыла перчатки... шарф... кажется, здесь...

Нет, поздно, отступать некуда. Да не толкайте меня, дайте хоть минуту собраться, решиться, ну вот, я разжала пальцы, наклонилась над пустотой, я отрываюсь, под ногами пропасть, лечу, лечу...

— Нет, не в том дело... Я вернулась, чтобы вас спросить... Вы будете смеяться... Это безумие... Но я хочу знать... Я страдаю, понимаете? Я хочу, чтобы вы со мной поговорили... Вот вы только что мне ответили: «Золотые плоды»?.. Неплохо...» И мне показалось, что тон у вас... Умоляю вас, скажите, не отказывайте мне... Вы, только вы можете мне помочь... Для этого я и вернулась...

...В общей палате — растрепанные женщины, волосы — сухими космами, одни бьют себя в грудь, кривляются, хохочут, задирают юбки, показывая худые серые икры, вертят задом, другие стоят, вытянув руки, неподвижно, в кутерьме и шуме, словно изображая статуи в живых картинах — кататония, эпилепсия, истерия, смирительные рубашки, души, удары, свирепые надзиратели...

...Но это ничего, мне все равно, я не боюсь... Мне необходимо, чтобы вы мне сказали... Вы обиделись, правда? Скажите. Дайте мне ответ. Вы отшатнулись от нас? Вы подумали... Что вы подумали?... Несомненно, вы подумали то же, что и я... Отвечайте же, это необходимо. Вы молчите. Ага, молчание — знак согласия... видите, я угадала... Вы подумали, что вас считают... Все вокруг пылает, обжигает тело, лицо... Но я должна схватить, вытащить из костра, спасти... вот оно... дайте мне подойти... Только протянуть руку... пустите... Вот я взяла, схватила... позвольте... Вы обиделись на нас за Курбэ, вы хотели отойти, сжечь все мосты... А когда я попыталась подойти, протянула к вам руки, когда я вас спросила о «Золотых плодах»... вы хотели нас оттолкнуть, показать, что уже поздно, что разрыв окончателен... Нет, не говорите ни слова, если неохота... Только подайте знак, большего я не прошу, только мигните, прищурьте глаз... И я буду спокойна. Мир. Я буду спасена. Мы будем спасены. Навеки. Вечное спасение. В нетленном свете. В небесах. Созерцая лик божий.

Ах, значит, ничего этого не было? Вы ничего не подумали? «Золотые плоды»?.. Неплохо!» Вот все, что вы сказали. Больше ничего. Вот что вы мне бросили, вот чем я должна довольствоваться, вот что вы бросаете голодным, чтобы от них избавиться, вы, вы, такой богач, владелец стольких сокровищ. И вот все, что мне досталось: вы считаете, что «Золотые плоды» — это неплохо. Что же мне еще надо? Не станете же вы читать нам лекции, объяснять... Вот что вы мне выдали — мелкую денежку... как ее ни верти, ни разглядывай — непонятно, откуда она... Я таких не видела... Наверно, вы привезли эти монетки из дальних стран, но я там никогда не бывала... А тут они не в ходу, тут, где я живу, — и вы это знаете. Что же прикажете с ними делать? Берите их себе. Вот, возвращаю вам. Мне они ни к чему.

...Знакомые образы вновь обретенной родины... Они излучают нежность, от них веет покоем. К ним устремляется путник, возвращаясь из диких краев, узник, выпущенный на волю... вот они, все тут, на месте, приколоты к стене над письменным столом. Вот Верлен в пелерине, со стаканом абсента сидит на клеенчатом диванчике в старом кафе, вот Рембо с легким галстуком, развевающимся на ветру, Андре Жид — узкие щелки индейских глаз из-под широкополой мексиканской шляпы... И эта...

— Ага, вы ее прикололи... я тоже... не расстаюсь, всегда со мной... Восхитительно, правда? Я считаю — вы со мной согласны? — что Курбэ никогда ничего прекраснее не создавал... — Его

пальцы, словно лаская, чертят в воздухе. — Особенно эта линия... Вся эта часть... Поразительно, вы не находите? Вообще для меня Курбэ, честно говоря...

Длинная узкая голова наклоняется. Что-то мелькает в лице... словно едва уловимая ирония... Во взгляде — удивление... Что с вами? Что это на вас нашло? Неужто здесь, среди своих, еще надо как-то выражать... объяснять... Разве это не ясно само собой?

Верно, как это он забыл? Ведь они тут у себя дома, в родной стране, в стране цивилизованной, где уважают истинные ценности, воздают по заслугам, где царит справедливость, торжествует правое дело. Но как объяснить тому, кто никогда не сталкивался с произволом, с обскурантизмом, с варварством? Откуда ему понять, как он может даже предположить — и как посметь признаться ему в этом?

Так блудный сын, еще пахнувший сырыми углами, пропитанный запахами нищеты, застиранного белья, дешевой помады, липучих духов, алкоголя, наркотиков, блевотины, испытывает мучительный стыд, когда, подняв голову над тонкой, чуть благоухающей духами рукой, он видит серебряные локоны матери, ее все еще стройную шею, стыдливо охваченную бархоткой, и встречает доверчивый взгляд ее глаз.

— Если бы вы знали, какое наслаждение быть подле вас, здесь, до чего я счастлив, что вы тут... Вам трудно понять... для вас это непонятно... с вами такое никогда не случилось... Знаю, так бывает только со мной. Помните, мы как-то об этом говорили, а может быть, я только собирался вам рассказать? Есть люди, с которыми нельзя встречаться, их надо избегать, они — яд, от них остается оскомина... Даже наутро отвратительное состояние. Будто смотрел скверную пьесу, скверный фильм... Знаете, как после дурного ужина... язык обложен... Они тебя пачкают... Унизительно...

«Скажите, а «Золотые плоды» вам нравятся?..» На длинной, худой шее — маленькая головка, гладкое, чуть старообразное лицо примерной девочки... приторная бесполой физиономия ханжи... «А «Золотые плоды» вам нравятся?» Голос — как тонкий гибкий зонд, она вводит его осторожно, деликатно... Еще немного — и она засюсюкает, как с младенцем. Я, мол, все понимаю, знаю, как к нему подойти... Знаю, что кому подходит... Вот что нужно ему подsunуть. Смотри, я ему подношу вот это... увидишь, тут он не будет сопротивляться... Ты его спугнул, и зря, но я все улажу... «Золотые плоды» — вот то, что ему надо, это точно.

— Есть люди, которых нипочем нельзя подпускать к себе. Паразиты, которые сжирают в тебе самое сокровенное. Одолевают тебя, как микробы... Конечно,, я уверен, что вы никогда... Вы бежите от них, как от чумы... Что я говорю — бежите! Для вас они просто не существуют...

— Да, разумеется, я избегаю неприятных мне людей . насколько возможно, я не люблю тратить на них время...

— Знаю, знаю, я так часто наблюдал за вами. В вас живет инстинкт самосохранения... Завидую. Восхищаюсь вами — вы так умеете избегать лишних контактов, так держитесь в стороне.

— Но кто же и вам мешает? — Уже в снисходительном взгляде суровость, на тонкой переносице — морщинки, легкое отвращение на лице: — Зачем вы с ними связываетесь?

— Ах, зачем... Вот именно — зачем? Да, зачем?

Но разве есть такой декрет, такой закон, разве есть распоряжение свыше, которое дает ему право отказываться от встреч с этими милейшими людьми, с людьми такой культуры, такими достойными, интеллигентными? Что они сделали, чем настолько нарушили правила, законы, обычаи, что к ним надо применять такие жестокие меры, лишать их всех человеческих прав?.. Отвечайте! Что они вам сделали? Какие у вас основания? Какие улики? Никаких, верно? Тут уж только ваша утонченность, ваша сверхчувствительность. Вы даете волю каким-то своим неуловимым впечатлениям. Ни один нормальный человек этого не почувствует, никто вас не

поймет. Но вы так углубляетесь в свои переживания, так нянчитесь с ними. Да, конечно, вы такой утонченный, такой деликатный... Нет, пожалуйста, не думайте обо мне плохо, не осуждайте меня. Уверяю вас — я себе ничего не позволяю. Абсолютно ничего. Никакой небрежности, никакой бесцеремонности, ручаюсь вам. Я прекрасно знаю свои обязанности, свой долг... Ах, как я тронут... какая радость, как мило с вашей стороны... давно не виделись... Прелестные люди... такие простые, открытые, такие доверчивые, у него в гостях. Под его крышей... Они ему вверили эти минуты, эти драгоценнейшие, священные моменты своей жизни. Он сделает все, что может, он будет достоин их доверия, можно на него рассчитывать. Он принимает эту честь... поклон... разрешите взять ваши пальто... Вам не жарко? Ах, прохладно? Погодите, сейчас, вот сюда, к камину, садитесь, пожалуйста, нет-нет, сюда, тут вам будет удобнее... кресло, подушки, портвейн, виски... Они немного стесняются... как-то сжались... кажется, их что-то переполняет и они стараются сдержаться, не дать себе воли... Что же это? Подозрительность? Враждебность? Что-то есть в нем самом, от него что-то исходит, проникает в них, и там что-то прорастает, растет. Ему хочется отвернуться, опустить глаза... Смешно, нет, просто глупо: как тот герой — откуда это? — который всегда опускал глаза, чтобы не ослепить людей светочем своего ума... какая чепуха... Смотрите — нет ничего, нет во мне ничего такого, что мешало бы посмотреть вам прямо в глаза. Видите — я гляжу на вас, мы равны, мы равны, мы абсолютно одинаковые, вы это знаете... Вы и чувствуете, как я, вы все понимаете, как я, а может быть, и лучше меня... Зачем же мне ломать комедию? Зачем вас обманывать? Какое я имею право скрывать от вас... Что же в вас таится, что может помешать мне поделиться с вами тем, чем я делюсь со всеми? Для вас, как для всех моих друзей, я поищу, я выйщу для вас из всего, что знаю, из всего, что вижу... выжму, высосу... все для вас... погодите... сейчас я вам покажу... Рука погружается во внутренний карман пиджака. Внимание... Но инстинкт самосохранения вспыхивает, удерживает его руку. Стоп. Осторожно. Не делай глупостей. Это чужие, это враги, они насторожились, словно чувствуют невидимую угрозу, незримую опасность... Ни в коем случае нельзя рисковать, не то вызовешь... Что вызовешь? Бред, фантазия, искушение. Изыди, сатана. Власяница, вериги, осенить себя крестом, преклонить колена, избави нас от лукавого... Вот... Молитва услышана. Он очистился, он безгрешен. Смиренно, покорно он подчиняется, он выполнит послух. Рука подчиняется... она опускается во внутренний карман. Достает... так и надо... так и полагается, ведь ты принимаешь у себя милейших друзей... их все так интересуется...

— Этот Курбэ... Не знаю, видели ли вы его? Изумительно, правда?

Ни малейшего признака интереса. Чужая рука берет открытку двумя пальцами и передает ее. Молчание. Да, вот именно. Молчание. Ни слова. Взял репродукцию и передал ее, не сказав ни слова. Но что же тут такого, скажите на милость? Где же тут презрение, сдержанность? Какая тут скрытая издевка? Перестань выдумывать, слышишь? Ты опять за свое? Простой человек, понимаешь, обыкновенный честный малый, знающий цену таким вещам, взял у тебя из рук репродукцию — ты сам ему подал — и, взглянув на нее... Нет, он почти и не взглянул... Хорошо. Пускай. Вероятно, он ее знает. Человек он тонкий, культурный. Ничего не сказал? Но ведь молчание — знак согласия. Промолчал из уважения. Из скромности. Считает свое мнение несущественным. Думает, никому оно не интересно. Это делает ему честь. Он человек прямой. Он из тех простых, искренних людей, которые не любят пустых фраз, притворства...

Простой. Скромный. Искренний. Полный уважения. Молчание — знак согласия. Хорошо. Пусть будет так, сдаюсь. У меня галлюцинации. Опасные симптомы мании преследования. Хорошо, больше не буду, даже когда это бьет в глаза. Даже когда это вопиющая явь, даже когда она наклоняется над репродукцией, словно подавленная, когда она пищит от восторга, а он на нее смотрит с изумлением, — хорошо, я ничего не думаю, никакого сговора между ними нет, никаких тайных знаков они не подают, ничем они не показывают, что мы бесконечно далеки

друг от друга, что они откуда-то издалека видят меня, всего, целиком, заключенного в их поле зрения. Нет, не то. Они тут рядом. Так близко, что видят меня не всего целиком, им виден только я, таким, каким я себя им сейчас показываю, крупным планом, — ясным, доверчивым, чистосердечным взглядом я смотрю на них — глаза в глаза.

— Зачем я с ними встречаюсь? Сам не знаю. От глупости, наверно, от безволия. Конечно, это дико... не знаю, как вам объяснить... Во мне есть нелепое чувство равенства. Я принимаю их на веру. Говорю с ними о том, что мне ближе всего... Пытаюсь затронуть их лучшие чувства... Мне всегда кажется, что я сумею их убедить... Что надо лишь показать... кому угодно... Вот, взгляните, какое чудо. Этот Курбэ...

— А «Золотые плоды» вам нравятся?.. — Тонкий, сладкий голосок так вкрадчиво, осторожно пытается проникнуть. Именно то, что ему нужно... вот увидите... я-то знаю, как к нему подойти... Настороженный, ищущий взгляд... Что ж, она не ошиблась, пусть все видят, пусть слышат, сейчас крикну во весь голос: «Да, нравятся! Слышите, нравятся!..» Стоп. Смирно. Ни с места. На караул! Да, нравятся. И никаких объяснений. Я такой. Смотрите — вот я какой, видали? Да, мне нравятся «Золотые плоды», как вы уже догадались. Все. Точка. И я вам запрещаю приставать ко мне. А теперь — вон отсюда! Подите прочь! Насмотрелся я на вас, кончились мои причуды. Позабавился, дал вам приблизиться, захотелось снизойти до вас. А теперь — марш на место, в людскую, в подвал. Здесь господские покои.

— Фу, не стоит о них думать, довольно. Ну их к черту! Все. Мне сейчас на них наплевать. Забыл. Мне тут так хорошо, все свои... Лучше скажите мне, я давно хотел спросить... по правде сказать, я книгу не читал, времени не было, только пролистал... хотелось бы от вас узнать: эти «Золотые плоды» — что вы о них думаете?

— Изумительная книга. Кстати, я сейчас о ней пишу... Задумал статью... И-зу-ми-тель-но...

Какой-то привкус в этом слове, чем-то оно не вяжется с этим человеком — у него такое хорошее, усталое лицо, у этого старого друга, такие добрые, выцветшие глаза, а в этом слове есть что-то высокопарное, глупо-самодовольное, немного смешное... Он смешон... Слышишь?.. Они подслушивают за дверью, они тут, настороже... И-зу-ми-тель-но... Слово отдается в них, отскакивает назад, ко мне, усиленное, искаженное. Изз-ззу-ми-и-тель-но!.. Они толкают друг дружку под локоть, гогочут... ишь, как он самоуверен... какой тон... не терпит возражений... приказ отдан. Главнокомандующий принял решение. А тот, наш, сразу... Что я тебе говорила? Знаю я его! Вот увидишь...

Нет, нет и нет. Ничего вам не увидеть. Я свободен, слышите? Абсолютно свободен. Независим. Меня не проведешь. Никто мне ничего не навяжет...

— Неужели? А вот для меня эти «Золотые плоды»... Что-то я в них не верю... столько разговоров... Лемэ в восторге...

Не боюсь я этого взгляда сквозь прищуренные веки, хоть он и вонзается мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, я подхожу — смотрите все! — прямо к столу, где на крупно исписанных листах лежит эта книга. Я ее открываю... И как останавливают рукой зазвеневший стакан, так я устанавливаю в себе тишину... Пусть все замрет, застынет. Я уйду в себя, во мне — уравновешенность, утяжеленность, почти инертность. Уверяю вас, меня не так просто заставить вздрогнуть, заставить сдвинуться с места — тут нужен сильный ток. Но ничего — сознаюсь, — ничего не вызывают во мне эти глянцевиные, жесткие, накрахмаленные, замороженные фразы... Ничего... Совершенно ничего... И мне становится спокойней, сам не знаю почему. Я чувствую какое-то облегчение... Оттого ли, что я становлюсь ближе к вам, перехожу на вашу сторону, ощущаю свое сходство с вами, — от этого ли мне стало легче? Рад, что могу вам сказать: ничего не чувствую, ни малейшей вибрации, видите, как я честен, как откровенен. Да, я свободен, я силен, я честный, искренний. Свободен... свободен до конца... честен...

...Но что это?.. Вот... Честное слово... Как будто прошло дуновение?.. Нет, я должен... откровенно... нельзя отрицать... должен признаться... я что-то почувствовал... невольно... слышу какой-то необъяснимый звук... неуловимый звон... волны — от слова к слову, от фразы к фразе — расходятся, а в ответ какой-то отзвук, я его слышу... ничего не поделаешь — слышу... Да, вам, конечно, его не услышать, для вас надо бить в барабаны, орать. А мне, чтобы ничего не слышать, надо затыкать уши... И вот уже слова мне кажутся весомыми, хочется их удержать, взвесить, раскрыть, исследовать на досуге... уверен, что я в них найду... знаете, чем человек умнее... [\[19\]](#) Да отойдите же! Вы мне мешаете!.. Столпились тут, шумите... При вас я ничего не слышу, все звуки сливаются, при вас мне кажется, что в комнате — скверная акустика... вам же сказано — уходите! Вы — вязкие, волглые, вялые. Ваше присутствие, ваша близость пачкают... Тут, среди нас, вам места нет...

— Да, как видно, это чудесная книга, вы правы. Непременно прочту. Каждую фразу надо смаковать. Брейе — настоящий писатель. Это бесспорно. И некоторым неучам будет полезно услышать это именно от вас.

Что, слышали! Вы, там! Вас заставят восхищаться, вас припрут признанием, загонят, как стадо овец, под охрану псов!

— Да, все эти люди разыгрывают знатоков... Тупицы... Не понимаю Бодлера — что он в них находил [\[20\]](#)... А я... при одной мысли, что они есть на свете, я страдаю... Бывают минуты, когда хочется всех их уничтожить.

— Чудак вы... Берите пример с меня. Не обращайтесь на них внимания. Больше уверенности. Правда и красота всегда побеждают, даю вам слово. Надо только спокойно делать свое дело. Потихоньку идти своим путем.

— Знаю, это глупо, вы, несомненно, правы. Ну, мне пора. Простите, если помешал. Но вы понимаете, есть минуты, когда я становлюсь эгоистом, и тут уж ничего не поделаешь — мне необходимо вас видеть.

Защитная завеса жестов, слов... «Нет, нет, вовсе нет... не извиняйтесь, нет, нет... напротив, заходите... И не принимайте так близко к сердцу! — Ласковое похлопывание по плечу, добродушный смешок. — Перестаньте встречаться со всеми этими людьми... ну, желаю удачи, хорошей работы, до встречи, да-да, вечером... с удовольствием...» — И за тонкой дымовой завесой все, что в нем исчезло с приходом незваного гостя, все, что рассыпалось, но втайне ждало, все это снова собирается, складывается, приходит в порядок. И только закрылась дверь — без шума, как можно тише, осторожнее... так, что тот услышит только приглушенное короткое хлопанье, но этот легкий щелчок грубо сбросит его в небытие, заставит растаять, распасться — ни следа от него не останется... Даже запечатлевшийся на миг образ — длинная темная фигура спускается по лестнице — и тот исчез без следа. Не осталось ничего — даже чувства облегчения. Не надо ничего ставить на место, вытирать, не надо никаких исправлений. Не осталось ни царапины, ни пятнышка, ни пылинки на гладком, блестящем механизме: старая машина, великолепно сконструированная, прочная, неуязвимая, отлично вычищенная и смазанная, приходит в движение, начинает идти полным ходом.

И, садясь к столу, он знает, что теперь часы потекут медленно и послушно, они пройдут перед ним вдаль, в тишину, в одиночество ночи, они вольются в него, они его наполнят ощущением свободы, силы, незыблемости — предчувствием вечности. Разбросаны листы бумаги, рядом — раскрытая книга. «Изумительно» — так он сказал. Значит, так и надо написать: это изумительная книга.

Как огромные цветы, искусно разбросанные на тщательно подстриженном, густом и шелковистом газоне, раскрывают свои плотные жестковатые лепестки, так со страницы, взятой наугад, из фразы, плавной и сжатой, тяжелый и громоздкий *imparfait du subjonctif* [\[21\]](#) с

царственной уверенностью разворачивает свое длиннейшее, неуклюжее окончание.

Нет, скорее этот subjonctif, чье неподатливое, утяжеленное окончание так легко поднято четким и гибким ритмом всей фразы, — он скорее похож на расшитый шлейф тяжелого парчового платья, — шлейф отброшен нервной ножкой, изящная напудренная голова церемонно наклоняется и вскидывается вновь с высокомерной учтивостью. И на этот реверанс каждый благородный кавалер сразу отвечает глубоким и низким поклоном.

Тяжеловесные, немного смешные старинные моды попадают в руки искуснейшего модельера, и он, очистив их от всего наносного, обнажив их сущность, умело располагая линии, придает современной моде печальную прелесть воспоминания, юную и древнюю, как мир.

В это грамматическое чудовище, в его несколько смешной, неуклюжий хвостовой придаток проникают тончайшие разветвления нашей мысли, они проходят, как нервные волокна, в грозное острие скорпионова хвоста — и вот уже выскакивает чуткое жало, вытягивается, пружинит и молниеносно впивается во что-то бесконечно хрупкое, почти неосязаемое — в какой-то зачаток смысла, в едва уловимый замысел.

Как бы критики ни хвалили это произведение, все будет мало: со всей строгостью, со всей настойчивостью они должны перед каждым писателем поставить как образец этот литературный язык — настолько в нем все просеяно, отобрано, рафинировано, очищено, ограничено строгой, упругой, но все же несколько жестковатой формой, в которой отливается и застывает то, что должно сохраниться во времени.

Тут само собой отбрасывается, нипочем не пропускается все расплывчатое, вялое, слюнявое, скользкое. Все то, что разговорная речь подхватывает и разносит мутным потоком.

Тут вас не встретят резким смехом, лихорадочным взглядом, пожатием потных рук. Никто не хватает вас за лацканы пиджака, никто не дышит вам в лицо тяжелым жарким дыханием.

Тут каждый знает свое место. Тут вы в своем кругу, в хорошем обществе. С какой сдержанной благовоспитанностью, с какой изысканной вежливостью вас приглашают войти. С каким целомудрием, с каким гордым достоинством ищут вашего внимания. Полно, да ищут ли его? Просто перед вами в чистейшей радости пляски кто-то танцует соло. Каждое предельно точное движение, каждый освященный вековыми традициями жест насыщен скрытым смыслом: тысячелетний образ восславляет великие тайны — любовь, смерть.

Изумительно. Это надо сказать. Надо крикнуть. Но прежде, чем начать — пауза. Пальцы с пером подняты кверху, локоть опирается о стол: «Я считаю — и пишу об этом, взвешивая каждое слово, — что «Золотые плоды» — воплощение...»

...Чистейший образец высокого искусства — вещь, замкнутая в себе, наполненная, округлая, гладкая. Ни трещины, ни царапины, куда могло бы проникнуть что-то постороннее. Ничто не нарушает цельность превосходно отшлифованной поверхности, сверкающей всеми гранями в светлых лучах Красоты.

И под этим теплым сиянием в нем начинает играть кровь, смело взлетают слова... «Изумительно»... Выше: «Редчайшее произведение искусства»... Выше: «В современной литературе еще не было такого произведения». Выше, еще выше... Горные вершины встают вдали... «Лучшая вещь, написанная после Стендаля... После Бенжамена Констана...»

— Отличная статья Брюлэ о «Золотых плодах». Первокласно. Превосходно.

Бесстрастный голос, холодная констатация. Лицо неподвижно, взор устремлен вперед. Как жерло орудия, нацеленное солдатом, который, застыв на броневике, проезжает по улицам завоеванного города.

Нечего смотреть по сторонам: всякое сопротивление сломлено. Кто посмеет шевельнуться? Эй вы, бунтари, сорвиголовы, что, хотели все смести с лица земли? Плясали по засеянным полям, топтали посевы в дикой пляске, орали во все горло — знайте, кончился ваш праздник.

Победили вековые устои. Честные люди могут вздохнуть спокойно. Да, теперь можно сказать — немало пережито. Все было захвачено ревущей ордой, всюду грязный плебс, он крошил святые образа, осквернял священные храмы. Любой варвар — бог весть откуда — выкрикивал бессмысленные речи. И все это приходилось молча терпеть. Видеть из дня в день, как самые верные, самые стойкие друзья подло перебежали на сторону победителей. Смерд и пот. Вульгарные, хриплые выкрики. Гнусная брань. Все приходилось терпеть. Смотреть беспомощно на эту развинченность, распущенность, на темные заросли, кишмя кишевшие нечистью, — бесформенная магма, темный хаос, ночи, пронзенные зловещими вспышками огня...

И вдруг — о чудо! Эта вещь — маленькая, скромная, безобидная. Девственница в одежде пастушки. И одним махом сметены все силы зла. Наконец воцарился порядок. Мы спасены. Теперь им покажут, этим лентяям, неучам, этим «детям природы», «сильным личностям», теперь их научат идти в строю. Уважать правила хорошего тона, приличного поведения. Им внушат — ага, вам это не по душе? — что литература — святыня, недоступная обитель, что только смиренным послушничеством, терпеливым постижением великих мастеров немногие избранники завоевывают право войти в нее... А шулерам, выскочкам, втирушам в ней места нет.

Со всех сторон стекаются толпы — принести присягу верности, преданности вновь установленному порядку, отдать ему поклон.

Вот они, высокие учреждения. Правительство. Члены обеих палат. Все пять академий. Высшие школы. Университеты.

После Ларошфуко, после мадам де Лафайетт, да, я скажу во всеуслышание, после Стендаля — Брюлэ прав, — после Бенжамена Констана... Скажем, я — ведь я романов вообще не читаю... — Длинный палец задумчиво потирает тонкое морщинистое веко. — Времени нет... дни так коротки... а вечерами надо как-то входить в курс... сейчас все так быстро меняется... надо читать последние труды... И когда выдастся свободный часок, я не вправе растрачивать его впустую... предпочитаю возвращаться к классикам, к любимым писателям... Но тут, должен сознаться, в этих «Золотых плодах» я обрел редчайшую радость, я и не думал, что современное произведение может так захватить... Изумительно... Настоящая жемчужина... — Рука любовно гладит воображаемую округлость... — Прелестная вещица. Замкнутая. Плавная. Полновесная. Ни одного промаха, ни одной погрешности против хорошего вкуса. Тут этого не найти. Ни одной ошибки в построении. И такая утонченность, правда? Кажется, так просто, но какая изысканность. Настоящее чудо, и это в наши времена!..

Да что они, с ума сошли? Ей хочется вскочить, остановить их... Да как они смеют? Неужто они забыли, что он тут, что он слушает, уйдя в себя... и с каждым словом, которое они произносят таким бесцеремонным тоном, в нем — и она это чувствует (нет ни одного движения его души, которое не передалось бы ей), — в нем что-то накапливается, тяжелеет... Она не сводит глаз с его пальцев — холеные ногти нетерпеливо постукивают по столу... Ей хотелось бы стать мизинцем на этой руке, которая когда-то первая перелистала, нет, не верится... так давно это было... до ее рождения. Она хотела бы стать морщинкой у его глаз, уставших от пристального созерцания стольких полотен, статуй, стольких рукописных страниц, подписанных незнакомыми именами, страниц, в которых она (посметь ли ей признаться?), она, невежественная, нечуткая, видела только безобразное месиво, унылое нагромождение и в которых он, будто в нем чудом затрепетала игла компаса, мог показать восхищенным поклонникам, молча ждущим, когда приоткроются нехотя губы и прозвучит короткое суждение, — показать одним мановением руки, одним взглядом нацеленных в нужную точку глаз: «Вот смотрите... вы видите... вот тут...» И тебя словно током пронзает, перед тобой встает и трепещет что-то живое, упругое... «О-о, смотрите, как хорошо... превосходно... Как, вы сказали, ее зовут, вашу молодую приятельницу?»

Исполнились все смутные предчувствия... Те минуты счастья, когда еще в шесть, в семь лет она, лежа на траве на берегу ручья, смотрела как тополя окружают высокое небо дрожащими листьями... Неужто это правда? Это он обо мне? Про мои стихи? Неужели он так сказал... Она уже давно перестала ждать, отказалась... и с ней случилось чудо... крыло архангела благой вестью коснулось ее склоненной головы... Будет ли она достойна?.. Хватит ли сил?.. Учитель... сейчас... она опускает голову... простите их. Ибо не ведают... простите этих варваров, этих невежд, которые тужатся, лезут из кожи вон, да как они смеют, безумцы, кто дал им право при вас судить с такой безапелляционностью... Им, этим пешкам, нулям, безымянным выходцам из толпы, которой только и пристало в молчании проходить по священным покоем, полным реликвий, — это вы научили их почитать святыни, это вы открыли им глаза, пробудили в них священный трепет, а теперь они смеют, забыв свое место, выскакивать, разглагольствовать — при вас!.. Тише! Перестаньте! Кому интересно ваше мнение? Замолчите. Учитель, мы хотим слушать вас.

Она едва удерживается, чтобы не склониться к его руке, нетерпеливо постукивающей по столу, к его колену, подрагивающему в раздражении... она поднимает на него взгляд... мы ничтожества... бедные невежды... мы блуждаем в ночи, вязнем в трясине... спасите, вызволите нас, заклинаю... она смотрит на него молящими глазами: «Почему вы молчите?.. Скажите нам... Что вы думаете об этом романе?»

Он коротко фыркает сквозь сжатые ноздри, отделяя себя ото всех, отстраняя их... гн... га... «Но, милый друг, вы ко мне обращаетесь, словно я оракул... — В подергивании щеки — презрение, даже легкое отвращение. — Я и сам не знаю...» — «О нет, нет, вы знаете, знаете...» Они снисходительно усмеваются, его умиловили, почти растрогали... «Да? Неужели? — И медленно, словно нехотя, по принуждению: — Мне кажется, что я склоняюсь к мнению доктора Легри... Прекрасный роман эти «Золотые плоды». Хотя, быть может, и не по композиции. Тут я лично вижу некоторые недостатки. Да и не в том, как подчеркивает Брюлэ, достоинство книги, что она написана отличным классическим языком. Теперь его превосходно умеют подделывать. Все начинающие этим грешат. Нет... дело не в языке... Кстати, я вовсе не нахожу, что он так уж классичен. То есть классичен в том смысле слова, как его обычно употребляют. Наоборот, тут много запутанности, барочности, он тяжеловат, даже иногда неуклюж. Кстати, мы склонны забывать, что классики, когда они были новаторами, тоже казались запутанными, неуклюжими. Это трудная книга. Я брался за нее несколько раз. И мне она нравится именно своей современностью. Превосходно отражает дух нашего времени. А ведь именно это, если я не ошибаюсь, и отличает настоящее произведение искусства...»

А этой хочется просить пощады, снисхождения к своим старым мышцам, старым костям. У нее мелькнула надежда, она почувствовала облегчение, увидев, что он сидит в стороне — у него так часто бывает этот надутый, недовольный, немного раздраженный, презрительный вид, — в такие минуты ее всегда тянет к нему как зачарованную, ей хочется покрасоваться перед ним, оголиться — одна эта мысль ее вгоняет в краску, как она смеет? — выдать себя, сказать ему: «Да, вам я могу признаться, Люсьен, вам, как старому другу... Знаю, вы меня не выдадите, не станете презирать... Вам я доверяюсь... вам сознаюсь... Эти «Золотые плоды»... о них столько разговоров... ничего не могу поделаться... десятки раз бралась за них... Это так жестко, так холодно. Думаешь укусить сочную мякоть и ломаешь зубы о металл»...

А он — ни слова, только посмотрел на нее... и в его глазах, в его улыбке как будто мелькнуло сочувствие... Между ними — и она это почувствовала, она это знает, — возникло что-то вроде заговора, какая-то близость — ее отраженное восхищение, неизменное преклонение, — и он откликнулся... да, она знает, что иногда она его забавляет, что ее болтовня развлекает его подчас, — и ее обожание, ее постоянство, он их видит, милый Люсьен...

И вот ему бросили вызов. Его вытаскивали из уединения, заставили играть роль, которая ему положена по чину.

Облечься в красную мантию с горностаевой оторочкой, надеть черную судейскую шапочку и произнести перед стоящей в молчании публикой роковой приговор. И он произносит его со всей ответственностью. Каждое слово взвешено. Приговор окончательный: «Золотые плоды» — отличная книга».

Что ж, надо подчиниться. Пробыл час поста и молитвы. Надо оторваться от всего, что любила... от сокровенного тепла, когда, свернувшись клубочком, она плыла по течению все дальше, дальше, бог знает в какой сладостной неге, в приторных, стыдных, восхитительных ароматах... Все это надо забыть. Вот так. Прямая, чистая, она идет вперед.

Что-то серое, холодное расстилается перед ней... Гробницы, своды, склепы, музеи, где тусклый свет падает на плиты пола, на разбитые колонны, на мраморные саркофаги, на статуи в царственных, иерархических позах, с незрячими глазами, с застывшими лицами. Ей хочется отпрянуть, убежать, вернуться туда, в мягкое тепло, к другим, к своим ближним, к себе подобным, они тянут ее, зовут... Да пустите же меня... она оборачивается, гнев ее душит... отпустите, не цепляйтесь, уходите, у меня нет ничего общего с вами, мне отвратительны ваши пылающие лица, ваши голодные глаза, непристойные жесты цепких рук — они все хватают, щупают, ноздри жадно раздуваются, втягивая мутные тошнотворные запахи гнили. Отойдите прочь, я вхожу. Видите, вот я. Одинока. Чиста. В молчании, в уединении, издали я почтительно созерцаю.

И вдруг из мертвой серой мути, от каменных фигур, высящихся в неясном свете, что-то подымается, постепенно, тихо... словно повеяло теплым дыханием, знакомым, близким, ободряющим дуновением... она его узнает... она так часто его вдыхала, вбирала... Это дуновение шло к ней со страниц журналов, от модных картинок... от портретов герцогинь, принцесс, королевских особ... оно исходило от их замкнутых лиц, где никогда волнение не искажало неподвижные черты, словно рожденные для увековечения. От их глаз, где никогда не возникал влажный маслянистый отблеск мысли, от их надменных лбов, увенчанных сверкающими диадемами в рубинах, изумрудах, алмазах... Теплая волна охватывает ее, неуловимая дрожь, восхитительный трепет смирения, преклонения перед этими признаками — они безошибочны, она их сразу узнает, — признаками высшего аристократизма, изысканнейшей элегантности — верной приметы благородного происхождения, породы... Ожившая, возбужденная, сияющая, она тянется к нему:

— Ах, как вы меня порадовали. Да, вы правы... Это шедевр... Совершенно верно, что ж, должна признаться, вначале мне было трудно... сразу не проникнуть... Но зато потом — какая награда! Изумительная книга. Разумеется, те, кто в ней ищет психологию, переживания, для тех, кто хочет узнать себя, кто везде ищет отражение своих чувств, тем, конечно, книга ничего не дает. Так им и надо. Но для меня... Ах, как мне приятно, милый Люсьен, что и вам нравится эта чудесная книга!

Ей бы только авторитетное мнение. Больше ничего. Никакой непосредственности, никаких естественных чувств. Стоит только взглянуть на нее — и надо же было с ней встретиться, вот уж не повезло, — ходит за ним по пятам, в церкви, в музеи, боится высказаться, подходит к нему, смущается, неуверенно шепчет: «Но, кажется, это копия, правда?»

— Да, копия, ему хочется крикнуть ей в лицо: «Да, копия. Осторожно. Опасный поворот. Все эти «Золотые плоды» — подделка, имитация. Вы ошиблись. Вы еще пожалеете...» — и увидеть, как она вздрогнет, отскочит, поджав хвост, отбежит, испуганно озираясь.

Но на этот раз она держится крепко. Выбрала себе место — ее оттуда не сдвинешь. Но разве устоишь, чтобы ее не подтолкнуть, не сдвинуть хоть немного... подвиньтесь же, надо и другим

дать место...

И мне тоже... пустите-ка... ну, пошевеливайтесь же, дайте и мне усесться как следует. Втиснулся, жадно вытянул губы, нацелил богохульные руки — нет для него ничего священного... Ну-ка, дайте посмотреть поближе, разрешите? Не возражаете? Можно потрогать?

— Видите ли... для меня лично... Когда я читал эту книжечку, я себя спрашивал — вообще-то говоря, вещь премилая, — но я себя все-таки спрашивал: черт возьми, как же она сделана, в конце концов, эта штука?

Он откидывается назад, складывает руки на животе. Взгляд устремлен вдаль, он сосредоточился... не будем торопиться, спешить нам некуда... он любит присмотреться, подумать... Старый знаток, старый ценитель искусства... не терпит, чтобы ему навязывали мнение... он чувствует их почтительные взгляды.

— Как вам сказать? Да, разумеется, тут не найти никаких «глубинностей», где кишмя кишат какие-то нерожденные существа... Нет этого копания в болоте, откуда поднимаются зловонные миазмы, в гнилых трясины, куда тебя постепенно засасывает. Нет, нет — в «Золотых плодах» ничего такого не найти. Зато в них есть то, что отличает великие романы. По-моему, искусство большого писателя состоит именно в том, чтобы подняться выше этих тошнотворных топей, выше разложения, выше всех этих «непостижимых глубин», как их называют... если только они и вправду существуют, в чем я сильно сомневаюсь. Откровенно говоря, я в них не верю... впрочем, не будем оспаривать... Так вот, изволите ли видеть, искусство имен но в том и состоит, чтобы осушить эти трясины, создать твердую почву, на которой можно выстроить, сконструировать произведение искусства. Для меня великий роман похож на Санкт-Петербург, выросший на болотах, на Венецию, отвоеванную у хлябей морских ценой бог знает каких гигантских усилий...

Он прикрывает веки, умолкает... Благолепие городов — сверкающие купола, певучесть площадей, простор жилищ, изящные колонны, дворцы в тончайшей росписи, мирные улочки, мощенные уютным старым камнем... Там он всегда бродил... там жил он с самого рождения, там протекла его жизнь... его истинная жизнь... И там воздвигнут новый памятник... в полной гармонии со всем... нет, новое жилище в его вкусе, ему под стать, под стать каждому человеку... в нем он как дома...

Он открывает глаза, смотрит в окружившие его внимательные лица... Он наклоняется к ней:

— Да, мой друг, «Золотые плоды»... Думаю, что и наш дорогой мэтр со мной согласится... Почему эта книга — настоящее произведение искусства? Прежде всего потому, что она правдива. В ней есть удивительная точность. Она реальнее самой жизни. Все организовано. Упорядоченно. Умело построено. Изумительные пропорции. Гибкий, сильный слог — он как те воспетые Валери колонны — «Дочери златых сечений», — он поддерживает, он несет правдивые, высокие чувства... чувства всех нормальных, душевно здоровых людей, а не кучки неврастеников, психопатов, нет, это высокие личные чувства — мои, ваши чувства, дорогая моя... Возьму хотя бы для примера эту удивительную сцену... я выбираю почти наугад, там много таких... сцену, которую я могу сравнить только со сценой в гостинной у Реналей между мадам Реналь и Жюльеном...^[22] И тут такая же сила, точность... то же изящество, та же чистота и законченность линии... несколько слов — и в них все сказано... При вас рождается любовь... Помните... эта сцена на террасе, у озера, в Муши, когда Эстелла вздрагивает, а Робер... или Жильбер... не помню. Да, да, Жильбер встает и, не говоря ни слова, приносит ей шаль. И в этом простом жесте — но надо видеть, как это написано! — в нем сказано все. Всем нашим писакам, всем этим любителям рассусоливать, шлепать по лужам, им не достичь этого вовек, испиши они хоть целые страницы... а тут незаметно... какой-то паузой... чем-то невесомым... тончайшими оттенками, радугой, переливами красок, возникающими от неуловимого сродства слов... Никакого анализа. Все сделано ни на чем... Но читатель понимает, чувствует. Поверьте, именно

такая правда, такие моменты, такие озарения и создают великие книги.

Вот оно. То, что они всегда ищут, жадно ощупывая все, что попадает под руку, все, что им предлагается, что изготовлено специально им на потребу, — фильмы, романы, биографии, мемуары, трогательные признания их униженных сестер-страдалиц и советы их великих сестер — тех, что счастливей их и сильнее, победительниц... триумфаторш... Они собирают клочки, уносят, чтобы разглядеть на досуге, им неловко, стыдно, они не знают, можно ли...

Но на этот раз... они поднимают головы, в глазах — затаенная алчность... прочь все сомнения, страхи... тут все гарантировано — первый сорт, в самом лучшем вкусе, самые утонченные гурманы это ищут. Отсюда можно брать что угодно, за это их все одобряют, признают их изысканный вкус, тут есть то, что им надо...

Огромное озеро, туманные берега в плюмаже деревьев... как у Ватто, у Фрагонара... рябь волны в лунном свете.

Тихий плеск воды у мраморных ступеней. На террасе, у невысокой старинной балюстрады, темные тени сидящих людей, над ними — фигура мужчины, он наклоняется и окутывает белой шалью с помпонами стройную шею под собранными кверху волосами, тонкие обнаженные плечи. Головка с высокой прической слегка отклоняется назад, шея изгибается, плечи чуть заметно вздрагивают, приподнимаются — и в этом движении признание, нежная уступчивость, благодарность, полная покорность...

Ее словно током пронзает, ее разрывает боль... К чему она прикоснулась? За что неосторожно схватилась? То движение руки, расправляющей пальто на спинке сиденья в открытой машине, за тонкими податливыми плечами... Голова отклоняется назад, затылок прижимается к мягким складкам... нежность, молчаливая покорность таятся в этом жесте, скрытая дрожь... вибрирует, передается ей: при ней, у нее на глазах, свершается тайный сговор тех, двоих, скрытая клятва в верности.

Этот жест, как электрический, надежно изолированный, отключенный, абсолютно безвредный провод — сколько раз она его трогала в полнейшей безопасности, — этот жест, словно провод, внезапно оголился, подключился к мощному генератору и пронзил ее током, опалил... Всесильный мозг всеведущего божества выбрал среди всех возможных движений именно этот жест, как лучший проводник для передачи, переноса того чувства, которое с неудержимой силой пронзает, испепеляет ее: зарождения любви.

Смертельный страх застилает глаза, она слабо сопротивляется: «Но это неправда. Не верю я...» Помогите, она умирает, жизнь ее покидает, спасите ее. «Нет, я вас спрашиваю, скажите мне: где вы тут увидели какую-то глубокую правду?..» Собрав все силы, она кричит: «Да это же фальшиво! Уверяю вас. Сверхфальшиво. Это и есть фальшивое правдоподобие романов. Этот жест — накинуть шаль на плечи озябшей женщины, — ведь он может иметь тысячу значений — или ровным счетом ничего не значить... Простая вежливость — и все... Например, Пьер, мой муж... для него это так естественно, он ко всем одинаково внимателен, все равно к кому, он такой приветливый... Уж эти мне романисты — берут что угодно, наугад... Приметят какой-нибудь жест, пусть самый ничего не значащий, возьмут его, скажут себе: «Ага, отлично, это мне и нужно, тут он будет на месте»... любой случайно запомнившийся жест: «Пусть этот жест означает зарождение великой любви». Вот вам и все. Фокус удался. Все поверили. Твердо, безоговорочно. Обаяние печатной строки. Уверенный тон писателя. И читателю затуманили мозги. Он решает: писателю лучше знать. И уговаривает себя: как это правдиво! А потом находит аналогию в жизни... Обязательно находит, раз этот смысл тут вложен, раз люди привыкли видеть жизнь сквозь романы... Эти книжные истины иногда накладывают на людей отпечаток на всю жизнь... Я сама знала одну несчастную девушку... Вообразите, только оттого, что она прочла мопассановскую «Историю одной жизни»...

Да как она смеет? С ума сошла, что ли?.. Она, такая застенчивая, всегда молчит — какая муха ее укусила? Что это на нее напало?

— Дитя мое, все это чрезвычайно трогательно... — В суховатом голосе ледяной смешок, он больно колет... — Все эти люди, ваши знакомые, которые видят свою жизнь сквозь романы... Что ж, это их вина, но отнюдь не вина романиста. Он-то именно — тут вы меня не поняли, когда я сказал, что этот жест поразительно правдив, — он, романист, если он только настоящий писатель, он интегрирует каждое *движение в сложное целое* и это-то и придает всему значение. Сам по себе жест, отдельный от всего целого, значения не имеет, это же ясно. В произведении искусства, простите за настойчивое напоминание столь банальных истин, в произведении искусства ничто, повторяю, ничто нельзя брать в отдельности.

Это единое целое, каждая частица подчинена всем остальным и соподчиняет их себе... Те, кто читает романы, как эта ваша бедная девушка, только получают по заслугам... Они понятия не имеют, что значит истинное произведение искусства.

Ни малейшего представления...

Нет, слишком поздно, теперь их ничем не удержать, этих женщин, они уже набросились... Сломлена хрупкая преграда, она налетают, толкаются, роются... словно на распродаже большого универмага, они хватают, тянут, убегают, примеряют. Впору или нет? Затянуться потуже... Этот новый покррой немного непривычен, странен... ничего, надо привыкать... «А вы заметили? Да, да, перечитайте непременно, я вас уверяю...» — «Неужели? Что-то не помню...» — «Да, да, уверяю вас... вспомните, когда они в лодке, сразу после сцены на террасе... там ясно сказано: «Он взглянул на ее тяжелые ноги, на широкие щиколотки...»

Задумчивые взгляды скользят по залам музеев, по древним храмам, они карабкаются на Акрополь, ощупывают формы Венер и Диан-охотниц, фигуры кариатид, уносятся к беговым дорожкам, где с царственной грацией перебирают точеными ногами породистые кобылы... И зрительницы качают головами озабоченно, неуверенно... и потом, вскинув голову резким движением: «Да, Марсель безусловно прав... То, что хорошо в каком-нибудь романе...»

Пусть они расступятся. Разгоните это одураченное стадо... А виновного ко мне. Вон того, там, да, вот именно — вас! Вы арестованы. Наденьте ему наручники. Протяните руки. Я за вами давно слежу, давно собираю против вас улики. Теперь вы попались. Застигнуты на месте преступления. Что ж, давайте поговорим с глазу на глаз об этом самом знаменитом месте, где, по-вашему, будто бы с изысканнейшей простотой воплощены самые высокие чувства. Тот самый жест с шалью, в нем якобы с таким искусством «все сказано», что лучше не скажешь в целой книге. Вы это им подали. Вы их заставили выпить этот яд. Меня потрясла ваша самоуверенность, ваша смелость. Вы так уверены в своей безнаказанности, вам все сходило с рук. И вдруг — всего не предвидеть, правда? Вдруг непредвиденное препятствие, неожиданный случай. Вдруг одна из жертв — и я восхищен: какая сила, какой темперамент... сопротивление организма, как у Распутина, — самый смертельный яд на нее не действует... вышла, крикнула: «Это еще что? Чем вы меня опоили? Что вы мне подсовываете? Это опасно, вредно... тут фальшь вместо правды... Это ничего не значит... можно придать любой смысл...» Она не принимает, отталкивает. Тут вы пробуете другой прием: в ход пускаются снотворные, кляп в рот: «Да, разумеется, сам этот жест ничего не говорит, но тут чрезвычайно сложный комплекс, конструктивное единство. Вот что придает этому жесту такую значительность — эти отзвуки, этот резонанс... Да, во всяком искусстве». Тут ваши глаза мечтательно затуманиваются, видно, что вы удалились в неизвестные края, в таинственные неведомые страны... И ваши слушательницы, и все вокруг в трансе, словно одержимые, — вы их опоили, околдовали... Но я вас спрашиваю, я хочу знать... куда вы их завели? Какие поэтические откровения, какие невыразимые глубины они увидят в этой штампованной дряни, в этом рыночном ширпотребе?

Хоть бы вы мне показали. Если вам удалось открыть хоть что-то нетронутое, что-то живое, пульсирующее — значит, нужно показать именно это, а не ту пошлятину, ее прятать надо... И никаким «конструкциям» ее не спасти: грубой цементной глыбе не место в здании из прекрасного тесаного камня. Знаю, что вы мне ответите. Я вас раскусил. Вам уже сказано: попались! Сейчас вы начнете уверять... есть, мол, такие вещи... что, неправда? — ... скажете, что есть вещи и мне, тупице несчастному, пора бы их знать... То, что словами нельзя выразить... нечто невесомое, неуловимое, мерцающее... Но тут вам от меня не отделаться: вы же сами говорили, сами утверждали: без слов ничего нет. Слова — это само чувство, в них оно рождается, оживает. Вы даже углубили эту мысль — не отрицайте, я сам слышал: точно найденное слово, — и вы правы, иногда так и бывает, такое слово, в свою очередь, может зародить новые чувства... Так где же вы их нашли, эти слова? Где? В каком месте? Покажите мне их. Покажите мне это тончайшее соотношение слов, которое выражает неуловимые оттенки чувства. Где они? В чем? Нет, больше так продолжаться не может, понимаете? Надо помешать вам вредить. Вы — сама ложь, вы — зло. Вас надо вырвать с корнем — схвачу вас сейчас за глотку, рвану кверху, весь мир призову в свидетели, закричу, завоплю...

Но, как в страшном сне, он не может издать ни звука. Броситься бы сейчас на того, схватить его — но он чувствует, что не может сдвинуться с места. Онемевший в нем крик, оцепеневший жест — напрасно он пытается их высвободить, — невидимые частицы, обстреливающие твердое тело — человека, стоящего перед ним, — эти частицы отскакивают, летят к нему обратно, вонзаются в него, накапливаются в нем, ему больно... он оборачивается, наклоняется вправо, слышит наконец свой собственный голос: он с трудом пробивается тонкой струйкой, бормочет:

— Должен сказать... этот жест... с шалью... мне кажется, такой банальный жест...

Но за ним давно наблюдают. Подозрительный тип... Что это он затеял? Что это он там замышляет — нагнул к своей соседке с таким заговорщицким видом, шепчет ей на ухо... Строгий голос окликает его с другого конца стола:

— Что вы там рассказываете? Мы тоже хотим знать. Нам тоже интересно. Что вы там нашли, в этом превосходнейшем произведении? Что вам не по вкусу?

Все головы обернулись к нему, он чувствует, как его опутывают взгляды, он делает слабую попытку высвободиться...

— Нет, нет, ничего... Я совершенно не собираюсь подвергать сомнению ценность «Золотых плодов». Прекрасная книга, согласен. Я только хотел сказать, что именно этот жест, что, быть может... Я лично не выбрал бы его... как иллюстрацию... по-моему, этот жест скорее портит... а кроме того...

Но те, кому поручено охранять спокойствие и порядок, настороже, рука ложится на его плечо.

— О нет, Анри, не пытайтесь нарушить связь... Марсель совершенно прав: произведение искусства — это единое целое. И этот жест, такой, каким он описан в романе, взятый в общем контексте, приобретает такую наполненность... Это совершенство.

Но теперь кое-кто уже насторожился. Видно, он тут не один. Видно, есть тут и другие — прячутся, хитрят, — несогласные, хитрые еретики, критиканы. К ним присматриваются, прислушиваются... вон там один, по нему давно видно, он молчит — чувствуется, что от него что-то распространяется, и сидящим рядом с ним даже как-то неловко, неудобно, чем-то он им мешает, будто воздух вокруг сгустился... им не по себе, их движения скованны... а все из-за него, это теперь ясно: какие-то эманации, словно тяжелые струи невидимого газа, исходят от его молчания.

Желтое око хищной птицы устремляется на него зализанные назад жидкие волосы, впалые виски, изможденное, длинное, желтое лицо, лицо великого инквизитора, складывается в

презрительную гримасу:

А вы почему помалкиваете, Жан Лабори?... Да, Жан Лабори слушает нас, а сам ни слова. Но зато думает, много думает, верьте мне. Да, конечно, Жану Лабори не нравятся «Золотые плоды», совсем не нравятся... Я настолько в этом уверен, что готов держать пари.

Страшное подозрение тяготеет на нем. К его досье подшито тяжкое обвинение. Он знает — сейчас они откроют папку с его делом. Минута — и они все обнаружат, все выйдет на свет божий, вызванное из небытия, раскрытое перед их глазами... Ага, они все видят... «Да, вот оно, у меня в руках, оно самое... держу...» С неподвижными лицами, с застывшими взглядами они передают «дело» друг другу, незаметна, словно играя в «колечко»... Вот, пожалуйста... Взяли? Держите? Меж ними пробегает невидимый ток — симпатия, солидарность, захватывающее чувство сообщничества... Да, да, так и есть, правда? Вы со мной согласны? А я, представьте себе, совсем забыл, ни разу не вспомнил — и вдруг сейчас опять все всплыло... Отсюда, именно отсюда все и пошло. Вы это тоже почувствовали? Да, к сожалению, сомневаться не приходится... Вот она, улика... эта книжонка, да, вот эта брошюрка, он мне ее как-то послал... наверно, и вы ее получили? Теперь вспомнили?... Так и вижу ее перед собой... небольшая книжечка, светло-серая обложка, у этого издателя... У какого издателя?... Право, не помню... Неважно, издатель неизвестный, он уже давно исчез... издавал за счет авторов... Значит, и эта книжка за счет автора? Ну, конечно, неужто вы сомневались?... Но, несмотря на это, издатель потом — вы об этом знаете?... Да, знаю, он все пустил на макулатуру, продал весь тираж на бумагу... А мой экземпляр валяется где-то в пыли у букиниста, на набережной, — надпись я, конечно, вырвал...

И нигде об этом ни звука, ни малейшего интереса... Нет, кажется, была заметка... Пустое! Просто реклама издательской фирмы...

Вокруг него беззвучно кружатся их слова. Чутким, давно обострившимся слухом он воспринимает их, как легкий шелест страниц, осторожно перевернутых их пальцами... Но что же там было, в этой книге? Вы помните? Что там было?

Нет, ничего там не было, не ищите, умоляю вас, не троньте, уберите руки... — он пытается отодвинуть их, осторожно, деликатно, успокоить их...

— Сам не знаю... я ничего не говорил, потому что хотелось послушать... Мне это очень интересно, очень... не знаю, почему вы решили... Напротив, я... «Золотые плоды»...

Пусть они успокоятся, они явно ошиблись, ничего за этим нет, ничего любопытного для них, никаких, улик, никаких доказательств... с чего они вообразили? Ничего такого в нем не осталось, все давно вычищено, вымыто, продезинфицировано, нет ни следа, ни одной частицы, откуда могло бы просочиться что-то для них неприятное, никаких подозрительных эманации, никакой скрытой неприязни, низменной зависти, нелепых сравнений... да и с чем сравнивать, сами подумайте, ничего ведь не осталось, он может дать им гарантию, что никогда он не возвращался к прежнему, пусть знают — он исправился, поведение безупречное, никогда никаких проступков, никаких отклонений, об этом он и помыслить не может, он абсолютно ни к чему не причастен, он чист, словно в нем ничего не осталось — пустой сосуд, готовый принять все, чем вы захотите его наполнить, гибкая оболочка, готовая облечь, не деформируя, все изгибы этой прекраснейшей вещи...

— «Золотые плоды»... Прочту непременно, с наслаждением... Читал только отрывки... Да, надо будет обязательно... Уверен, что мне понравится...

Спокойные, непринужденные интонации его голоса вселяют веру, все отходят от него, они умиротворены, они его больше не трогают...

А он вдали от них, в одиночестве, куда никому из них не проникнуть, вдали от шумихи и мишуры, от светской возни, надев рубище и власяницу, достает из тайников статуи святых, подымает сорванные образа, снова затепляет лампадку — он сам ее погасил — и падает на

колени, устремив глаза на дрожащее робкое пламя.

— «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет.

Лицо безмятежно, взгляд устремлен куда-то вдаль. В голосе — уверенность человека, излагающего неоспоримый факт, непреложную истину.

И правда победно шествует вперед, топча все на пути: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет».

На этот раз удар пришелся не по тем жалким людишкам, которые только хотели бы сопротивляться, как вон тот — он еще весь дрожит, он при первых угрожающих признаках сдался, бросил оружие, — не по таким, как он, но по сильным, но по надменным, по властителям дум, по тем, кто еще минуту назад владычествовал над толпой в неприкосновенности, вне всяких сравнений и снисходительно раздавал поощрения и похвалы...

Это в меня, в меня он метнул копье, меня сбросил наземь, меня, перед кем это льстивое существо еще недавно пресмыкалось, ползало на коленях... «Вы — самый великий, самый сильный... Ваш последний роман — само совершенство... Вы превзошли себя... Лучшая ваша книга...»

Каким образом, в какую ночь, когда он мирно спал, те захватили власть? Когда же перебежчик перешел на сторону узурпатора? А с него сорвали регалии, его унизили, угнали, прогнали сквозь строй, ему грозит смерть... Пот — градом со лба, ноги подкашиваются, он чувствует, как бледнеет, как теряет сознание... Только не показать, не привлечь внимания, любой ценой сохранить спокойствие... Выше голову. Губы сжаты. Глаза пусты. Главное — не дрогнуть. Иначе, если увидят они, те, кто слушает окаменев, что происходит, если они заметят хоть малейший признак смятения, стыда, страдания, они, кому каждая едва заметная вибрация передается сразу и, отражаясь, идет от них волнами, все больше усиливаясь, — они сразу заволнуются, вмешаются, станут неловко защищать его, просить пощады себе, жалости к нему: «О-о, по-моему, вы преувеличиваете... Я знаю, что были и другие прекрасные книги... Знаю, о присутствующих не говорят, но все же нельзя забывать, есть еще романы Робера Юнье...» — и этим только ускорят его гибель.

От одной мысли о том, что тогда будет, он весь сжимается, съеживается, ужас пронизывает каждую клеточку кожи. И насторожившись при этих возгласах, вперив в него глаза, приметив его дрожь, с какой радостью палачи узурпатора бросились бы на него... Увидев, как он жалко барахтается, им на помощь сбегутся другие — раненых всегда добивают, таков закон, жалости нет места: «Да, да, конечно, и я, признаться, люблю книги Робера Юнье или, скажем, Жана Дюнан... но надо сказать откровенно... «Золотые плоды» — настоящий шедевр... Триста лет пройдет, а они останутся... Нет, честно говоря, «Золотые плоды» — вещь совершенно уникальная. Какое-то чудо...»

Нам, скромным людям, порядочным людям, которые оказались здесь случайно, когда бежать уже поздно, нам нельзя ни поднять глаза, ни опустить взгляд. Нам надо притвориться слепыми, глухими, совершенно непричастными, надо окаменеть, застыть на месте, стать вещью, куклой, набитой стружками, с фарфоровым лицом и стеклянными шариками вместо глаз. Одно движение, один только еле заметный вздох — и все вокруг нас оживло бы, зашевелилось — так просыпается расколдованная Спящая Красавица, — и страшное, невыносимое зрелище развернулось бы перед нами. Мы увидели бы, как перед строем проходят высокие чины: погоны и ордена с них сорваны, шпаги сломаны, на лицах едва заметная бледность, отсутствующий, притворно-равнодушный взгляд, а в мертвой тишине отчетливо, как выстрел, звучит каждое слово фразы: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет...»

Нет, она не такая трусиха, как все другие. Не желает она поддаться, как они все, сделать вид, что и ее обезоружил этот невинный, этот ни к чему не причастный вид, который он на себя

умеет напускать, будто он говорит сам с собой, будто забывает обо всем вокруг и вовсе не собирается никого обидеть, остерегается сравнивать, а просто-напросто со всей искренностью, прямоотой и простотой заявляет — а не сказать никак нельзя! — что вот есть вещи, настолько явные, настолько бросающиеся в глаза, перед которыми каждый — хочет он или нет — должен преклоняться, признать как неоспоримый факт эту истину: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет».

Для нее почти радость, какое-то сладостное удовольствие так знать его насквозь, ясно видеть, как он под защитой своей непроницаемой брони, с абсолютно бесстрастным, совершенно равнодушным выражением лица следит за ними, радуясь меткости и точности своих выпадов — их никто не может предвидеть, никто не умеет отбить, — как он издевается над своими жертвами — застигнутые врасплох его молниеносным грубым наскоком, они, шатаясь, пытаются удержаться на ногах, подавить гримасу боли, заглушить стоны, — и как он наслаждается растерянностью зрителей. Она знает: ему занято быть незримым для других — он считает, что недоступен чужим взглядам, — и видеть тех, что еще минуту назад были так спокойны, так уверены в себе, так безмятежно улыбались жалкому виду других, слабых, загнанных в тупик, ему смешно видеть, как и они тщетно бьются в той же западне. Несчастные! Чем больше они трепыхаются, чем больше стараются выпутаться, тем глубже увязают — их песенка спета, они погибли. Нет, она их не бросит на произвол судьбы, как эти трусы. Она не станет притворяться, что ничего не видит. Она смотрит во все глаза, она наклоняется к поверженной жертве, все ниже и ниже, совсем вплотную, она не боится, что вдруг на нее брызнет, замарает ее что-то тошнотворное, скверное. И вдруг бесстрашно, полная благородного возмущения, презирая все опасности, готовая на любые жертвы, она, такая слабая, с голыми руками бросается на обидчика, подставляет себя под удар, готовая все принять на себя, отвести от других, вырвать у него оружие.

— Да, конечно, — ее голос немного дрожит, — конечно, можете говорить, что хотите, но мне «Золотые плоды» не нравятся... По-моему, скука смертная... Темно, непонятно... Есть места — мне их приходилось перечитывать по три раза.

Она видит, как бедные, скованные пленники чуть заметно встрепенулись. В этом движении — благодарность, радость, какая-то робкая надежда...

— Да, я трижды бралась за эти страницы, и не я одна... Вот Барра — такой тонкий, такой умный, гораздо умнее меня, — он тоже сознался мне, что ничего в этом романе не находит. Может быть, это и гениально, но все-таки... Нет, мне хочется, чтобы мне это доказали с книгой в руках...

С книгой в руках. Пусть им растолкуют. Больше они ничего не просят. С какой силой, с какой смелостью — они преклоняются перед ней! — она сумела в нескольких словах изложить все их скромные требования. Пусть им кто-нибудь объяснит — с книгой в руках. Вот сейчас пусть кто-нибудь встанет, подойдет к книжной полке, возьмет в руки эту книгу, эти «Золотые плоды», и пускай откроет перед всеми, белым днем, на какой-нибудь странице, неважно на какой, и пусть им покажут, пусть объяснят... Ах, значит, вам объяснять текст, как в школе! Вот до чего вы дошли! Вот что вам нужно! Да, да, именно это им нужно, они до этого дошли. Они согласны снова стать детьми. Ведь они так беспомощны, так безоружны... Даже ту безвкусную жиденькую кашку, которую они с таким отвращением поглощали в школе, они сейчас готовы съесть, они даже выпрашивают ее... О да, они знают — такие вещи необъяснимы, нельзя точно определить все это — поэзию, затаенный смысл, великие тайны, глубины и полутени, в которых те, другие — избранники, обладатели сокровищ — чувствуют пульс жизни... да, они знают, что им придется довольствоваться сухими схемами, голыми словами и что эти слова так же не похожи на то, что видят другие, как не похоже название города на дорожном знаке на сам город,

который виднеется вдаль с домами и улицами, с мостом через реку, с колокольнями и зеленью садов. Но они готовы удовольствоваться и этим — им все годится: дорожные знаки, столбы, указатели, стрелки, — лишь бы им, невидящим, незрячим, не сбиться с дороги.

Пусть бы им объяснили в нескольких словах — хотя бы в самых бледных, самых неподходящих, самых сухих и серых. Да, это грубый способ, но иногда в руках людей скромных и тактичных, доброжелателей, которые чувствуют свое родство с нищими духом и любят уделять обездоленным от щедрот своих, — в руках таких людей даже эти слова, конечно, в очень упрощенном, в чрезвычайно обедненном виде все же могут передать основную идею... иногда самые сложные, самые глубокие вещи можно объяснить, была бы на то добрая воля... А уж они... пусть только кто-нибудь для них постарается... они, наверно, поймут... пусть только кто-нибудь попробует, откроет эту книгу, эти «Золотые плоды», на любой странице, где угодно...

Надо бы их пожалеть, они так пришиблены, они никак не осмелятся... они не умеют воспользоваться хотя бы этой маленькой, этой хрупкой точкой опоры и свободно, плавно взлететь... Им так нужна крепкая поддержка, они так боятся... Им хочется почувствовать почву под ногами, твердую, надежную... шагать в общем строю в заданном направлении... Они так любят, чтобы ими руководили, вели их мысли на поводке, они уверены, что тогда они пойдут по верной, проторенной дорожке. Как они честны, как охотно, послушно все принимают, как они податливы, как легко лепить из них что угодно... только нужна жесткая форма, прочный каркас, чтобы они влились в нее, застыли... Им нужно зацепиться за что-то устойчивое, крепкое, обвиться вокруг подпорки, иначе их слабые усики обвиснут, обмякнут, свернутся жгутом; отомрут, отсохнут... Они тянутся, тянутся — дайте им хоть кончик чего-нибудь, хоть что-то, только бы схватиться... о нет, они не требуют всего сокровища — достояния сильных, нет, только обломок, лишь бы крепкий, твердый... Пожалейте... они так просят... Положите конец этим мучениям — так тянуться изо всех сил, пытаться ухватить хоть что-то — и ничего не находить... Будьте к ним снисходительны... сделайте великодушный жест... Покажите им, объясните — с книгой в руках...

И может быть, тогда — они не осмеливаются даже подумать об этом, — может быть, тогда свершится чудо — они и надеяться на него не осмеливались. Они посмотрят, приглядятся... Только и всего?.. О, как они расхохочутся, как запрыгают, как будут кататься по земле от восторга — вернулись силы, вернулась вера в себя, радость... Только-то и всего?.. Да ведь они это давно увидели сами, давно схватили, а потом отбросили — настолько все это было рыхло, непрочное, настолько слабо и хрупко, — все рассыпалось в их руках, а руки у них крепкие. Они люди избалованные, и вовсе они не беспомощные — это ошибка, путаница, — это вон те, другие, те и вправду народ смиренный, неимущий, голодный... они-то довольствуются — еще бы, избалованный народ! — этой жидкой кашцей для беззубых. И до того им стыдно за этих несчастных, до того неловко, что они готовы обращаться с ними, как взрослые с детьми, когда те протягивают им на ладонь камешек, ветку, клочок бумаги и говорят: «Вот тебе апельсин, на, вот хлеб, вот конфетка, ешь, ешь...»

Они готовы причмокивать губами, заводить глаза, качать головой от восторга: «Ах, как вкусно... Ах, какая прелесть эти «Золотые плоды». Да, вы правы. Какая красота, какая глубина!»

Нет, все прошло, исчезло — мимолетная вспышка сразу притушена. Никаких признаков, ничего, что могло бы привести на мысль о сговоре, о тайном, робком сочувствии к ней, к этой сумасшедшей, к этой отчаянной женщине.

Но как же они, вон те, что они собираются делать? Все взгляды с тревогой обращены к ним. Что они станут делать, эти двое, сидящие в стороне, друг против друга с одинаковым выражением недовольства и скуки на лицах? Первый — худой, костистый, узловатый, похож на старое корявое дерево, искореженное и погнутое морскими ветрами. Скрещены длинные ноги,

остро торчат колени. Всем известно — да и ему самому ясно, как же иначе? — что в нем ураганом бушует мощный ум, скручивает, стягивает его мышцы в узел, вздувает суставы длинных жестких пальцев и локтей, втягивает кожу на впадинах висков и щек, выпирает на скулах и на кадыке. От мыслей в его глазах лихорадочно вспыхивают блуждающие огни. Ни одним взглядом не достаивает он эту несчастную психопатку. Кажется, он и не слышал ее просьбы. Через головы всех он вперяет взгляд в того, другого, сидящего напротив. Этот — тяжелый, тучный, тугой, как бурдюк с вином, переполненный до отказа чем-то редким, драгоценным, что он бережно несет в себе, охраняя от нечистых прикосновений, и нехотя, скупко чуть приоткрывает, делясь с немногими, с избранными. Но помимо его воли что-то просачивается вовне, то ли в его улыбке индийского божка, то ли во взгляде сквозь полузакрытые веки, — но вот он широко раскрыл глаза под жгучим взглядом того, другого. И они спрашивают друг друга глазами: «Что будем делать? Мимо не пройдешь, вы согласны?» — «О да, конечно. Такое неуважение, такая глупость — нельзя их терпеть безнаказанно». — «Да, и я охотно возьмусь...» — «Отлично, предоставляю вам это удовольствие. Давайте!»

Губы еле двигаются, слова сочатся сквозь застывшую таинственную улыбку:

— Думаю... и вы, безусловно, согласитесь со мной, дорогой друг... Для меня редкостное — я не боюсь этого слова, — именно редкостное обаяние всей книги — и вот почему ничего нельзя из нее выделять — заключается в том, что она уникальное в своем роде явление.

Он говорит в нос, нехотя растягивая слова, словно ему приходится силой протаскивать их сквозь узкую щель:

— Я считаю, что эта книга ввела в литературу особый язык, который устанавливает контакт путем особой непространственной структуры. Это принципиально новое и самодовлеющее использование ритмической знаковой системы, превосходящей в своей напряженности то необязательное, что выражено в самом их семантическом соотношении. Кстати, и вы, дорогой друг, превосходно описали именно этот необязательный аспект построения семантической модели.

Второй, сидящий напротив, передергивается, словно его пронзило сквозняком, но сразу успокаивается и медленно наклоняет голову:

— Да, это очевидно. Тут есть явный посыл, который снимает некую герметичность, растворяя ее в неопределенности смысловой ткани.

— Да, тут у нас расхождений нет. Именно этим вневременная сущность вплавлена в становление ведущей темы. Это качество и приближает книгу в ее глубинном аспекте к поэтическому сказу.

— Более того, я сказал бы, что автор формирует модель по структуре своего сознания, но и модель, соотношенная с объектом действительности, навязывает свою структуру авторскому самосознанию. В этом и разворачивается замысел во всю ширь, — и как разворачивается! — этим он нас и потрясает.

И те, кто на миг понадеялся выйти на солнечные просторы, мелькнувшие издалека, снова влачат свои цепи в тяжком походе, несчастные пленники, гонимые бог весть в какие болота, в бесконечную ширь ледяной тундры.

Только не я, не я, и не я, не я! Я — живой, легкий, веселый, я ускользнул, схватился за что попало, за соломинку, и меня понесло легче пены, я сверкаю, переливаюсь, словно шампанское, словно ртуть... Я держусь на весу, хватаюсь за все, что подвернется... «особый язык», «новизна», «структура», «смысловая ткань», «посыл», «семантика», «поэтический сказ»... Упругие слова, и я, легче пушинки, прилипаю к ним, к словам прозрачным и неуловимым, к ритмам, подъемам — и слова меня поднимают, я лечу над морем облаков, все выше и выше, в чистоту, в лазурное небо, в беспорочную белизну, к солнцу, в блаженстве, в экстазе...

Ах, как верно вы все объяснили, как это точно. Истинно поэтическое произведение. Да, вы правы, мы потрясены...

Если бы он только мог схватить их за плечи, встряхнуть как следует этих одержимых — слушают с блаженными физиономиями, словно под гипнозом... Да очнитесь же, вас погрузили в сон гипнотическими пассажами, внушением, придите в себя, взгляните же на них, на этих двух шулеров, которые только что проделали с вами свой фокус-покус. Всмотритесь в них повнимательнее: ведь в них есть какие-то особые приметы — достаточно их увидеть хоть раз, чтобы потом узнавать безошибочно. Не верится, что даже при всей вашей невнимательности вы ничего не заметили. Да это же бросается в глаза. Но вы предпочитаете признать свою неправоту, так гораздо спокойнее, вообще лучше на такие вещи взглянуть мельком и сразу отвернуться, позабыть — мы ничего не видели, ничего не слышали... И с недоверием, с удивлением слушаешь, когда кто-нибудь — о, как это неделикатно, как нескромно! — пытается обратить ваше внимание, во что бы то ни стало ткнуть пальцем... Нет, это возмутительно... Что вам, в сущности, надо? Вы всюду видите одно плохое. А так хочется жить спокойно, угнездиться потеплее вместе со всеми, прижаться друг к другу покрепче, так хорошо, так тепло и успокоительно жить в счастливом неведении, в невинности незнания.

Но ведь это необходимо, слышите? Поверьте мне, все это чрезвычайно важно. Наберитесь же смелости, подойдите поближе, все сами увидите... надо только уловить хоть малейший признак, ухватиться за него, не выпускать из рук... Вы не можете себе представить, как далеко, к каким невиданным сокровищам можно дойти, когда осмелишься рискнуть, держа в руке эту нить Ариадны.

Именно с этого я и начал, это меня и вело к цели: я заметил, что те двое желают держаться в отдалении от всех, царить где-то в недостижимых заоблачных высях, откуда в мимолетных разрывах облаков они являются нам, и мы видим, что они сигнализируют друг другу с одной вершины на другую, делают едва заметные знаки — вы это только что сами видели, прежде чем позволить себе уронить вниз для нас несколько слов, — да, должен сознаться, что сначала и я тоже тянулся к ним, пытаясь их достичь, уцепиться за них... но я такой массивный, такой тяжеловесный, не то что другие — пушинки, несомые легчайшим дуновением, — и каждый раз я тяжело падал, ушибался, долго лежал ничком, без сил и никак не мог подняться.

И вдруг однажды я заметил эту мелочь, эту малость, которую другие, как мне казалось, не замечали или не желали видеть. Я проследил за тем, что мелькнуло во взглядах, которыми они обменивались, я пронюхал, что кроется за их высокомерной отчужденностью, за их окаменевшей позой. И я дошел до самых истоков, до тайников, откуда это пошло, и там своими глазами я увидел то, с чего они начали, — их первые движения, когда они еще давным-давно забаррикадировались, замкнулись в себе, заделали все выходы, заткнули малейшие щели, чтобы не дать никому проникнуть к ним, чтобы никто не смог впиться в них взглядом, чтобы не доходили до них звуки чужих голосов, растерянные улыбки, чтобы им не увидеть себя в смутных, слабо очерченных отражениях в виде каких-то жалких существ, темных людишек, безвестных авторов неудобочитаемых, отвергнутых всеми рукописей. Тройным замком заперлись они ото всех. И, уединившись, создав для себя другой свой образ, они созерцали только его, а он все рос и рос, становясь гигантским, чудовищно разрастаясь во все стороны.

Только к этому своему подобию они и обращались, только с ним говорили на языке, созданном исключительно для них самих, — и они стали единственными своими читателями, единственными своими критиками. Только с собой они считались, только свое одобрение они принимали.

А потом я увидел, как другие, оставшиеся за дверью, вдруг забеспокоились. Станный недуг охватил их всех.

Они чувствовали, что их изгнали, не допустили — правда, неизвестно к чему, но они ясно ощущали — они — изгои. Неужели же они до такой степени недоступны? Неужели они до такой степени невежественны? Но нашлись храбрые пионеры, нашлись неустоимые искатели из тех, кто готов идти на гибель, открывая недоступные сокровища в гробницах фараонов, нашлись те, кто с радостью отдает всю жизнь, расшифровывая тайны иероглифов. И эти люди стали прислушиваться, ловили каждое слово... Где-то появились рукописи... редкие издания, какие-то статьи прошли в журнале незамеченными... и они их нашли, они их выкопали, они сняли толстый налет презрительного равнодушия, покрывавший их, они все обследовали, все рыли и перерывали и наконец увидели, наконец-то поняли... в этих знаках есть мысли, в них открывается незнакомый язык. Язык совсем новый, изумительный по своей точности, независимый и свободный, доступный только немногим, редким избранныкам.

И тогда, полные смутных опасений, они осмелились приблизиться, подойти к строго охраняемым дверям, к высоким решеткам королевской резиденции, где взаперти живут эти властители дум. Они робко шепчут заветный пароль. И высокие ворота приоткрываются, пропуская их внутрь. Они проходят величественной площадью, широкими дворами королевских палат по дорожкам, усыпанным белым гравием. Они вошли, они все увидели. И когда они выходят обратно, все растущая толпа непосвященных спрашивает их в нетерпении: что там было?

Конечно, они очень растерялись — так они сами говорят, — везде чувствовалось присутствие невидимых стражей, которые следили за каждым их жестом, каждым шагом. Надо было держаться строжайшего этикета, кланяться очень низко, до самой земли, но это их не смутило, они просто упали на колени... «Ваши труды... — ошалев от счастья, от гордости, бормотали они, — мы первые, без поддержки, без всякой помощи, открыли их... созерцали... и мы, Учитель, мы осмеливаемся сказать вам в глаза... мы все поняли, мы восхищаемся... Нашему обожанию нет пределов, нет границ, верьте нам!»

...И тут мы увидели, что его величество приближается к нам, велит нам подняться с колен... Мы бы никогда его не узнали... такая простота, такое обаяние. Он сам провел нас в покои, где хранятся бесчисленные манускрипты...

А нам тоже можно посмотреть? Мы тоже хотим... Когда нам позволят взглянуть на эти сокровища? — Толпа дрожит от нетерпения.

— Погодите, погодите, все придет... Он разрешил...

— Не может быть!

— Да, согласился... И если бы вы знали, с какой исключительной приветливостью, с какой обаятельной непринужденностью. В его словах...

— Как? Неужели? Он — с вами! — беседовал?

— Беседовал? Да он с нами так разговорился — остановиться не мог! До того разоткровенничался... И мы тоже, под этой освежающей струей... все, что он говорит, так свежо, так ново, так неожиданно... мы так увлеклись, что иногда — что скрывать? — совсем забывали, где мы...

— О чем же, о чем вы говорили?

— О, обо всем и ни о чем. Что в голову приходило...

— Нет, все-таки, ради бога, скажите — о чем?

— Да о чем попало, о самых простых вещах, ну обо всем...

— Обо всем? А вдруг... да нет, не может быть... разве так бывает... Может быть, и о нас... Ну скажите же, о чем вы говорили... о ком? Неужели и обо мне?.., какое счастье, неужто о моей книге... Но каким образом, каким чудом... неужели и туда проникло...

— Да, представьте себе, он очень в курсе. Всем интересуется. Просто поразительно. Он

читал и ваши книги...

— Фу, голова кружится... Не мучайте же меня... Скорее... Что он сказал? Как? Только и всего?.. Очень странно...

Ничего не понимаю. Так противоречит всему, что раньше... Но кто мы такие — нам ли судить? Надо принять его слова бережно, изучать их смиренно, вдумчиво... Надо постигнуть тайны неведомого нам языка... О, мы готовы приложить все усилия... Мы хотим стать достойными того, чтобы и мы в один прекрасный день увидели, как перед нами распахиваются высокие, окованные железом врата, мы тоже хотим с трепетом пройти по белому гравиям широких дворов, по анфиладам грандиозных покоев и проникнуть... преклоняя колени, целуя руки... Что вы! Прошу, вот так, сядьте подле меня...

Отсюда оно все и началось. Отсюда и пошло, в этом я уверен.

Но даже теперь, когда победа им обеспечена, воспоминание о прошлом оскорблении величества неистребимо живет в их памяти: они не могут забыть гогот черни, нахальную фамильярность мелких людишек, презрительную снисходительность высокопоставленных лиц, они все время настороже, они забаррикадировались в самих' себя. Окружили себя постоянной охраной. Они отгородились от все растущей толпы, что ждет за решеткой, надеясь когда-нибудь наконец лицезреть их ~ какое счастье, какая признательность, когда они на миг смешаются с толпой, — но они отделяют себя от всех огромными пространствами, похожими на торжественные белые площади перед дворцами королей, — непроходимыми, бесконечными равнинами своего молчания. Они непоколебимы, они не пойдут ни на какие уступки. Можно даже подумать, что чем неуклоннее растет число посвященных, тем дальше они отходят, тем недоступнее, невидимее они становятся. Все чаще и чаще они обращают свои слова только к самим себе, и слова уходят в недостижимые выси, где в облаках царит их собственный, созданный ими когда-то, ни с чем не соизмеримый образ. И пусть их слова, обращенные к этому образу, теряются в небесных далях. Все смелей гонятся за ними неумные искатели, все больше восторженных адептов, окрыленных верой, летит за ними ввысь.

Но я — я держусь. Крепко, обеими ногами я упираюсь в землю, плотно держится голова на плечах — я не участвую в диковинных этих левитациях. Мое открытие — это мой драгоценный талисман, я только что показал его вам! — в нем моя защита. Возьмите, я подаю его вам, он и ваш тоже, друзья мои, держите его крепче, не выпускайте из рук — и вы станете, как я, сильными, прозорливыми. Соберитесь с духом, давайте вместе посмотрим, что это упало, вот тут, к нашим ногам, будто метеор с дальней планеты. Поглядим-ка, что это такое. Поверьте, тут никаких особенных усилий не требуется. Взвесьте их хладнокровно, эти драгоценные словеса, эту редкость — даю слово, что вы не найдете в них ни следа полновесных и тонких мыслей. Это же бедные, пустые слова, слепленные грубо, кое-как, самым простым способом; стоит вам только захотеть, и вы тоже овладеете ими, вы тоже сможете запросто повторить все эти простейшие трюки, фокусы, всю эту пошлую ловкость рук. Посмотрите хотя бы бегло — жаль тратить ваше драгоценное время! — эти их герметические статьи, о которых идет столько разговоров, перелистайте вслед за мной все эти книги, и вы сами увидите: я прав! Ну-ка, разожжем из всей этой макулатуры огромный костер, возьмемся за руки, закружимся в пляске. Ну же, товарищи, робкие мои братья, такие смиренные, такие нестойкие! Не поддавайтесь этому наваждению, смелее, помогите мне...

Пусть бы хоть кто-нибудь услышал его призыв, пусть хоть один человек встанет с ним рядом... пусть еще чьи-то глаза увидят то, что видит он... Больше он ничего не просит. Для полной уверенности, для ощущения своей непобедимости, для торжества правды ему нужно только это — еще один свидетель, один-единственный. Он обводит их глазами, его взгляд скользит по восторженным лицам, словно застывшим в каком-то оцепенении.

Но вон там, почти напротив него, как это он раньше ее не увидел? Она всегда старается быть незаметной, всегда в стороне, в ней ничто вас не коробит, у нее почти нет этих неуловимых внутренних движений, которые обычно настораживают, заставляют невольно, импульсивно искать — откуда они взялись, какие тайные причины их породили? Спокойные, слишком светлые глаза остановились на нем — пристальный, вдумчивый взгляд, улыбка, легкая, еле уловимая, чуть трогает мягкие складки щек. Сомнений нет: она все видит, она тоже открыла тайник, и она владеет талисманом — как видно, нашла его без труда, ее неуклонно вело безошибочное чутье, схожее с инстинктом птиц, почтовых голубей. Она не поддалась гипнозу, она стойко сопротивлялась. Ее взгляд успокаивает его: видите, вы не одиноки. Мы понимаем друг друга. И мы не одни, верьте мне. Другие, неизвестные нам люди живут в уединении, не общаясь ни с кем, но их с каждым днем становится все больше и больше, они, как и мы с вами, тоже видят всю правду. Несомненно, настанет день, когда правда восторжествует. Зачем же так волноваться? Зачем мучиться? К чему такая спешка? Надо выработать в себе равнодушие, пропускать все мимо, пусть идет своим чередом... Разве это имеет значение? Нужно выждать. Держитесь, как я, побольше юмора. Сознайтесь — зрелище презабавное...

— Кажется, мы с вами заодно? По-моему, вы тоже не из них, не из тех, кто сходит с ума по «Золотым плодам»?

Теперь, когда они нашли друг друга, когда они могут поговорить в стороне от всех, она ему сказала это, стоя перед ним, подняв к нему лицо, изучая его терпеливым взглядом... Чудом сохранилась ее душа... Никаким грубым наскоком извне ее не сломать, никаким дешевым рыночным добром не захлестить... чистой, сильной предстоит ее душа перед ним, открывается ему в полной невинности, в трогательном доверии больших прозрачных глаз, в искренней детской улыбке... Ибо их — таких, как она, — есть царствие небесное... И в них волшебным образом растут и расцветают сильные, новые, нетронутые ощущения...

Он наклоняется к ней, он ей улыбается, глаза в глаза... Он готов от всего отказаться, отречься от всех накопленных богатств, от своей мудрости, своей никчемной учености, от умствований и притворства, чтобы стать таким, как она, защищенным от оскверняющих прикосновений, сумеет, как она, созерцать зло с ничем не затуманенной ясностью во взгляде, хочет уподобиться ей всем — скромностью, смирением, непоколебимой верой в конечную победу добра, в торжество правды... Он чувствует, как на его губах появляется детская улыбка, ему кажется, что и его глаза сияют чистым светом...

— Если бы вы только знали, как меня радуют ваши слова... До чего людей ослепляет это пустозвонство, эти пышные дискуссии... Сколько «учености» — а для чего, я вас спрашиваю?.. Так редко случается найти человека...

— Что вы, ведь я в этом ничего не понимаю... Мне ли судить.

Слабый румянец вспыхивает на чуть обвисших щеках... седые, давно не стриженные волосы космами спускаются на шею... она крепко стискивает руки, ногти на коротких пальцах срезаны до мяса... на ее одежду неприятно смотреть, так она висит на бесформенном теле... старая, одинокая женщина, живет бог знает как... Чем она занимается? Рисует? Какие-нибудь гуаши? Миниатюры? Или пишет для себя — стихи, что ли?

Он подавляет в себе легкую брезгливость, старается преодолеть еле заметное ощущение унижительной своей неразборчивости:

— Нет, нет, вы понимаете лучше всех, вы судите лучше, чем все эти великие умы, которые ничего не смыслят...

Он с ней, он сбросил одежды патриция, отказался от дружбы сильных мира сего, из роскошных своих покоев, украшенных мрамором статуй, фресками, изысканной мозаикой, он последовал в катакомбы за ней, своей сестрой... их окружают язычники, их преследуют, их будут

мучить, унижать, но он не отступится от нее, он хочет пойти к беднякам, к людям простым, чистым, к тем, кто знает, где искать истинные ценности...

— Понимаете, так редко встречаешь человека, который решается иметь свой собственный вкус и открыто говорить об этом... человека, который подходил бы к произведению с чистыми мыслями, без всякой предвзятости... По-моему, здесь нет никого... да вы сами слышали... никто не интересуется собственно произведением... К чему же с ними спорить?.. Ни одного искреннего слова... А вот с вами я еще раз почувствовал...

Она слушает, не сводя с него прозрачных глаз, чуть приоткрыв рот... лицо одержимой, лицо фанатички... такой ничем не загруженный мозг иногда вдруг целиком заполняется каким-нибудь учением... подчас самым неожиданным... Христианская наука... оккультизм... йоги... такие, как она, становятся адептами нелепейших сект... блуждают вдали от проторенных путей... нюдизм... греческие сандалии, столоверчение...

Ему хочется отшатнуться от нее, но под горячими лучами ее доверчивого взгляда из мелких лужиц, оставшихся на песке после отлива нахлынувших на него чувств — чистоты, смирения, братской любви, — словно пар поднимаются слова, обволакивают их обоих...

— Нет-нет, я правду говорю. Вы не такая, как все... К счастью... Уверяю вас, не часто встречаешь... Но вы и сами знаете... Я чувствую то же, что и вы... «Золотые плоды» — из тех книг, которые...

— Ха-ха-ха! Все еще... До сих пор обсуждаете «Золотые плоды»?

Они прошли мимо, рука об руку, два великих человека, два аристократа духа, не сливаясь с плебсом, прошли мимо них, совсем близко, поглядели на них с усмешкой. Они взглянули на них на обоих — две чистые души, два невинных младенца. Значит, отождествили его с ней — с этой юродивой? Два сапога пара... Они увидели — он наивничает, сентиментальничает, как она, он полон «идеалов»... Два сапога пара... Те все поняли... это видно по их хитрому взгляду, по иронической улыбке... открытую книгу прочли они, увидели и ее и его, поняли, как они оба довольны друг другом, угадали их сговор, заметили — они всегда так бдительны! — и обмен взглядами, и пренебрежительные улыбки.

...Очень занято... Бедняги... умственно отсталые, примитивный мозг, разве они могут судить, разбираться в таких тонкостях? Да, наверное, в них немало и косности и лени. Всегда падки на то, что полегче, на всякие сомнительные теории — тут и психология, и дешевый психоанализ, всякая болтовня... Надо же им за что-то схватиться, поднять себя... Но до чего они смешны... даже трогательно... помешаны на всем, что им кажется «искренним», «непосредственным»... забавно, до чего они любят всякие такие слова... Боятся всего конструктивного, лишнего украшения, обнаженного, сухого, «мозгового» — одно из любимых их словечек — нет, они доверяют только своему «инстинкту», «чутью»; как щенки, которые при одном звуке ласкового голоса, восторженно визжа, падают на спинку, они сразу чувствуют все «правдивое», все «прекрасное», «живое», как они это называют. Словно все искусство не строится на холодном расчете, на искусных построениях, на вычислениях, условностях, словно язык, которым пользуешься при разборе этих явлений с максимальной эффективностью и предельной точностью, не становится поневоле языком эзотерическим... но этого слова они чураются больше всего, оно их отталкивает, приводит в ужас...

...Значит, те в одно мгновение заметили все, пронзили его насквозь, пригвоздили к ней, привесили им обоим одинаковые ярлыки... Все увидели, на ходу, не останавливаясь, не заговаривая, — только с улыбкой, с легкой милой насмешкой в голосе, как детям, бросили мимоходом:

— Все еще обсуждаете «Золотые плоды»?

«Деревянные затычки в уши — хо-хо-хо... это, милая моя барыня, и есть великая

литература... Деревянные затычки в ухи»^[23]... Ах, наш милый, наш великий Жарри! Как бы мы жили без тебя, чем бы мы стали?.. Вы бы на нее поглядели, на эту славную тетку: красная, как индюк, все перья дыбом: «Но, мсье, по-моему, «Золотые плоды» надуманны... Сплошная литературщина... Никакой реальности, в жизни все иначе...» «Деревянные затычки в ухи»... Вот это великая литература, милая барынька... вот это и есть реальность, как вы изволите выражаться... Она так перепугалась, будто я на нее напал; сейчас, думаю, закричит: «Караул!..» Вы бы на нее посмотрели — умора! «Но все это так искусственно... Настоящие чувства настолько сложнее...» Он фыркает... «Нас, говорит, учили... в наше время мы уже знаем...» Что это вы знаете?.. Чему это вас научили?.. Тут бедняжка совсем вышла из себя: «То, что мы теперь называем реальностью, — совсем иное... За последние полвека столько новых открытой... Мы уже отошли... Я всегда старалась это объяснить...» — «Эх, дорогая моя барыня... — Он качает головой с притворно-задумчивым, серьезным видом. — Да что же такое, наконец, реальность?»

Жестом заклинателя он поднимает кверху большие руки, привыкшие растирать краски, управлять кистью, карандашом. Крупное, благородной лепки лицо изборождено следами титанического труда, смертельных схваток, открытый ворот не стесняет поворотов большой головы, он обводит всех пронзительным и зорким ястребиным оком: ну-ка, кто скажет лучше меня? Набирайтесь храбрости... Кто со мной поспорит? Выходи... Не бойся... Но кто же осмелится, кто решится — нет, тут каждый чувствует себя той перепуганной «славной теткой», — кто же выйдет к рампе рядом с ним, на потеху веселым зрителям?

Лицо его становится очень серьезным:

— Недавно я сказал самому Брейе: «Знаешь, твоя книжка — просто прелесть. Я влюблен в Эстеллу. А эта сцена при луне... эти водопады, романтические беседки... нет, старик, это великолепно! Мы еще к этому вернемся...» А для вашей дочери, сударыня, это и есть, говорю, реальность, как вы любите выражаться. Именно этим Брейе дает ей почувствовать, что такое реальность... Она чуть не задохнулась: «Но ведь это сантименты для продавщиц!..» Я был восхищен: «Браво! Вот что нам нужно — сантименты для продавщиц!..» Но нет, кроме шуток, книга потрясающая. Знаете, как Брейе хотел назвать свои «Золотые плоды»? «Плео-назмы» — неплохо, правда? Мне ужасно понравилось. Отлично. А потом нашел другое название: «Золотые плоды». Прельстился иллюзорностью этих слов. Он мне сам говорил: «Хочу, чтобы читатель подох с голоду», — это про таких дам, как та... — «хочу, чтобы те, кто, изголодавшись, собирается впиться в сочное яблоко, обломали бы себе зубы». Но зато для других какая это драгоценность! Плоды из чистого золота. И какая форма... Эта сцена в беседке... какое мастерство! Ей-богу, он настоящий эквилибрист, этот Брейе... Что? Вы не согласны? Согласны? А вы читали статью Моно? Блистательно! Он им всем показал... «Ноль». «Гэ-э-гантская штука», — как сказано в одной переписке. «Ноль». Эта книга — ноль. Так он начал статью. Все голодные, все обиженные счастливы: ноль! Аннулировано. Все аннулировано. Ничего не осталось. Стиль автора держит всех в почтительном отдалении. Внимание. Руками не трогать. Только смотреть. Есть нельзя, услада для глаз. Никакой «реальности». Воплощенная вежливость. Предельная учтивость. Никакой фамильярности, никаких прикосновений, теплых дыханий — чистейшее созерцание старинных тонких миниатюр. Чуть намеченные контуры героев, без нажима — предельное изящество. Для меня это просто наслаждение. А потом, к концу, автор отходит в сторону, с поклоном удаляется, контуры постепенно тают...

«Ах, мсье, этот герметический финал... Вы его поняли?» Брейе исчез вдаль. «Пусть идут за мной только возлюбившие меня». Я-то, конечно, пошел за ним, еще бы!

Восторженный смех. И мы, мы тоже! Мы все пошли... Ах, какой вечер... Как нам повезло — Ортиль превзошел самого себя. Воплощенный интеллект. Ослепительно. Если бы вы его видели... Бывают же такие дни... Он — сама мудрость, сама душевность... Задумчивая мудрость...

это так редко бывает... Ах, если бы он не был художником, если бы не рисовал, не писал такие дивные стихи, какой потрясающий критик вышел бы из него!

— Должен сказать, что гениальность Брейе меня потрясла с самого начала... Задолго до «Золотых плодов». Когда вышел первый сборник его рассказов... Уже тогда. Поразительное явление.

Как выстрел, внезапно раздавшийся в мирной толпе гуляющих, заставляет всех после первых минут оцепенения толкаться, спрашивать, бежать, так в ней сразу вспыхивает смятение. Что же это такое? Что случилось? Как, среди бела дня, перед всем светом, да еще с таким цинизмом, с такой холодной наглостью он осмелился... Она не верит своим ушам, своим глазам, но ведь она сама видела... она твердо уверена... у нее и сейчас перед глазами... ясно, до мельчайших подробностей: в верхнем правом углу газетной страницы, на обычном месте, над толстой черной чертой, две колонки петита, а внизу... буквы сливаются, но она ее узнает, она ее видит: внизу — его подпись... Длинное трехсложное слово, без инициалов, без имени... он всегда так подписывается... Меттеталь, да-да, точно... она ее видит, она ее ощущает, эта подпись выросла в нее. И вокруг этого имени, как растрепанные клочья соломы вокруг столба, навиваются тогдашние впечатления, ощущения: легкая жалость к бедному Брейе — такому милому, такому тонкому, — легкое пренебрежение, смутное облегчение, сладковатое, чуть противное чувство удовлетворенности, а главное — удивление: как это Меттеталь, самый осторожный, самый сдержанный из всех, так решительно, так резко выступает против этого необычайного, не всякому доступного сборника рассказов, который многим влиятельнейшим критикам показался таким многообещающим. Нет, сомневаться нечего: ощущение крепнет, сильное, живучее, оно в ней. А этот Меттеталь пытался раздавить его, пытался исподтишка схватить, удушить... Только что произошло подлое нападение... Гнусное преступление... Законный порядок нарушен, справедливость поругана.

Нет, надо во что бы то ни стало прекратить эту катавасию, эту душераздирающую борьбу с собой... Напрягая память до предела, она вглядывается... нет, может быть, то слово в конце страницы, вовсе не «Меттеталь»?.. Полно, да уверена ли она, что там не стояло какое-то другое, тоже длинное слово, два слова... да не было ли между ними интервала? «Par interim^[24]», — может быть, так? Все эти впечатления, ощущения — да уверена ли она, что испытала их тогда, именно в тот раз? И память ей так изменяет, и она так устает... Часто забывает, часто путает... Она готова пожертвовать собой... Не лучше ли меняться самой, чем менять лицо мира? Ей становится легче... Никакого нападения не было. Справедливость не нарушена, по-прежнему царит законный порядок.

Но вдруг с новой силой в ней начинается борьба... Нет, ничего не поделаешь: слово тут, оно вырисовывается яснее прежнего... без малейшего интервала... одно длинное слово... последний слог встает на дыбы: таль... Меттеталь... И вся статья — беспощадный наскок... Это бьет в глаза, растет, ширится, наступает, хочет смести все заграждения, вырваться наружу, чудовищной тяжестью обрушиться на виновника... Вот сейчас все выйдет на свет, все увидят, а он — она вздрагивает при этой мысли, представив себе эту картину, — он, сидящий тут, такой строгий, подтянутый, полный такого достоинства и уверенности в себе, он вдруг станет похож на того респектабельного, хорошо одетого господина с орденской ленточкой в петлице, которого возмущенная нянька вытаскивает из-за кустов на позор перед всеми прохожими... Нет, это немыслимо, надо во что бы то ни стало удержать слова, которые рвутся наружу, напирают... да разве их остановишь?.. Она тянет их назад... не надо... тише, осторожнее... сейчас она сгладит углы, спилит острые шипы, завернет как следует в мягкое: как большие, слабо надутые мячи, ее слова легонько стукнутся об него, пощекочут чуть-чуть, чтобы он засмеялся — таким славным, добродушным смехом, таким приятным, добрым баском, — и она уже хмурит брови и

поджигает губы с притворным неодобрением:

— Послушайте, Меттеталь, а ведь я вас поймала... оказывается, вы страшный обманщик...

Ну вот, это же ничуть не обидно, разве на нее можно обидеться? Да и кого это заденет? А ей стало весело... Наверно, он пошутил, а может быть, и забыл про ту статью, а может быть (и пусть тот, кто не грешил, первый бросит в него камень) — может быть, просто захотел прихвастнуть? Ну вот, самое опасное сказано, теперь можно и договорить:

— Мне кажется... — и она шутливо грозит ему пальцем, — мне помнится, что вы не очень-то ласково обошлись... — она уже дала себе волю: — ...обошлись с Брейе именно в тот год, когда вышли его новеллы...

Он поднимает на нее выпуклые, пожалуй, даже выпученные глаза — вот сейчас он усмехнется, покачает головой, как все взрослые, когда балованные дети — у, бесенята, никак с ними не сладить! — вдруг выкинут какую-нибудь шутку... Вот сейчас он на нее взглянет, со смехом покачает головой: «Да вы страшная женщина, вас не обманешь. Не дадите человеку прихвастнуть, приврать... Что ж, ничего не поделаешь, придется покаяться: ваша правда, помню, я только начинал писать и накатал статейку второпях, у меня и времени не было... я и сборник только просмотрел... да, тогда я действительно говорил...»

Больше ей ничего и не надо, больше ничего не нужно, чтобы угроза миновала, чтобы все свободно вздохнули. Мир. Справедливость. Гармония. Невинность, как на заре человечества. Радость. Наконец-то Истину вывели на свет божий, восстановили в правах, поставили на место, возвели на престол — и она воссияла, озаряя своими лучами очищенный мир...

Но Меттеталь только на миг останавливает на ней пустой взгляд и отводит глаза...

Что такое? Кто нарушает порядок? Кто она, эта сумасшедшая, эта бесноватая — носится по земле, босая, оборванная, в лохмотьях, вопит на площадях, бия себя в грудь, требует: покайтесь! — проповедует слово Христово, тычет крючковатым пальцем в сильных мира сего, издевается над существующим строем, возвещает о близости Страшного Суда. Толпа смыкается. Взгляды побивают ее, словно камни. Ее выталкивают, выгоняют. Снова сомкнулся круг правоверных. Миг — и вновь воцаряются мир и покой. Пожатие плеч... Улыбки... Разве можно обращать внимание на бред этих слабоумных, одержимых? Нет, давайте серьезно.

— Слушайте, Меттеталь, объясните нам, пожалуйста... ведь у него как будто есть еще роман, неизданный, потрясающая вещь... написан между новеллами и «Золотыми плодами»... помните, вы нам рассказывали...

Да, вот это книга, черт возьми... Исследуй ее как угодно, режь вдоль и поперек — по горизонтали, по вертикали, по диагонали, разбирай с любого места, по любой схеме... И в каждом абзаце, в каждой фразе, в каждом предложении, в каждом слове, в каждом слоге — только сумей увидеть! — сколько неведомых сокровищ, какие богатые отзвуки, какие безграничные перспективы откроются перед тобой!

— А по-моему, «Золотые плоды» — презабавная вещь... Я так смеялась... Вот все говорят — грустный роман, трагический, а для меня наоборот...

— Там есть сцена... Помните — когда он опаздывает на поезд... или когда тот господин, ну, вы знаете кто, ищет свой зонтик — просто удержаться невозможно... Настоящий Чаплин. И какой стиль, какая сила... Сильней Чаплина. Честное слово. Великий комик. И никто этого не увидел. Разве об этом хоть где-нибудь было сказано? Тут все — и комедия и трагедия. Это характерно для всех великих произведений.

— Комедия? Чудачка эта Марта. Но это на нее похоже! Она считает «Золотые плоды» комедией...

— А вы знаете, она права. И я тоже... Читаешь некоторые главы и хохочешь до слез, до колик... Невероятно смешно...

Сколько юмора... И какой беспощадный. Мрачный. Да, мрачный, но какая чистота. Светлый. Простодушный. Хмурый. Пронзительный. Доверчивый. Улыбчатый. Человечный. Безжалостный. Сухой. Сочный. Холодный. Палящий.

Переносит тебя в нереальный мир. В царство мечты. В самый реальный, самый настоящий мир. В «Золотых плодах» есть все на свете.

Как под лучами солнца, на этой плодородной почве распускаются самые удивительные цветы, вырастают несуразные, невиданные растения, играют и переливаются невероятно яркие, смелые, кричащие цвета, они резали бы глаз, но тут — о чудо из чудес! — они сливаются в законченное целое, полное гармонии и красоты.

— А вот я должен признаться... нет, боюсь, не смею... Не убивайте меня! — Шутливым жестом он загораживает лицо согнутой рукой. — Спервоначала я — mea culpa!^[25] — начал читать, и...

Кажется, он их разыгрывает? Что он сейчас выкинет? Он такой непосредственный, такой милый, ребячливый — разве можно сердиться на его выходки?

— Да, прямо скажу — не понравилось: прочел первые тридцать страниц, зевал до одури, закрыл книгу и говорю Люс...

Он озирается с видом заговорщика и свистящим театральным шепотом произносит:

— Люс, не читай!

— Да не слушайте вы его, он от книги без ума... Ну что ты болтаешь, Ги?

— Конечно, потом... ведь я все-таки не полный кретин, не болван же я какой-нибудь... Потом, естественно... все-таки я захватил эту книгу с собой в отпуск, подумал: тут что-то не так, надо бы еще почитать, думаю — нет, старик, ты меня начинаешь беспокоить: видно, ты переутомился, дело неладно.

— И там с первого дня, мы и чемоданы не успели распаковать... Вы бы его видели — сидит на кровати, книжка перед ним, начал развязывать галстук — и все!

Да, должен сознаться, меня просто пронзило... Потрясло... В пять утра я все еще так и сидел на кровати с книгой... Я и Люс разбудил...

— Правда, он вдруг стал меня трясти... Ох, ну и книга, говорит... Читал, не отрываясь, целые куски выучил наизусть, мы ни о чем другом не говорили, забыли все — обед, купание...

Есть те, кто жил до «Золотых плодов», и те, кто жил после. И мы — те, кто жил после. Отмечены навеки. Поколение «Золотых плодов» — так нас будут называть.

— Верно. Вполне с вами согласен. После «Золотых плодов» для меня что-то решительно изменилось. Настоящее землетрясение эти «Золотые плоды». Морской шквал. Иногда спрашиваешь себя — да кто же решится писать после этого?

Предел достигнут. Во всяком случае, тут, в этом направлении, путь перекрыт...

— Просто поразительно. Какое-то чудо, по правде говоря. Такого успеха не было с тех пор, как... дайте подумать... с каких же это пор?

— Ну, милый мой Жан-Пьер... — грозный палец укоризненно качается под самым его носом, — вы это говорите, лишь бы доставить нам удовольствие, знаем мы вас...

Он краснеет, теряется...

— Да что вы... Почему же?... Почему вы так говорите? В глазах — насмешливые улыбки, головы недоверчиво качаются... Э, нет, это было бы слишком просто... так легко вам сюда не проникнуть. Прежде надо представить неопровержимые доказательства... в прошлом все должно быть чисто, незапятнанно... Ведь бывали определенные минуты, когда кое-кто совершал определенные, очень досадные ошибки, слишком много клятв и уверений давалось тем, кто тогда был в силе... Сначала было и какое-то неясное отношение, какие-то косые взгляды, затаенное молчание... Молчаливый подвох. Было — и это всем известно — много

невысказанного. А кто говорил всякие слова? Их и повторить не осмелишься, это было бы слишком жестоко... Нет, к несчастью, кое-кто показал, что нет в нем чего-то существенного — ни особой чуткости, ни подходящего склада ума, ни какого-то особого дара...

Да, тут надо проявлять величайшую осторожность, ни в коем случае не допускать к себе столь подозрительных союзников, тех, кто перешел в наш лагерь в последнюю минуту, кто недавно обратился в нашу веру, — они же могут дискредитировать всю общину. Спокойно и твердо, едва заметным толчком и... очень неловко, но что поделаешь... есть случаи, когда жалость неуместна... Ах, этот Жан-Пьер... Лишь бы доставить нам удовольствие... Конечно, это очень мило с его стороны...

Но мы тут в своем кругу, мы — верные, мы — надежные, ни разу не дрогнувшие, мы, пронесшие — и сквозь какие бури, среди каких опасностей! — Неугасимый Светоч, мы можем сказать в полный голос — и говорим теперь, когда пробил наш час:

— Есть те, кто был до «Золотых плодов», и те, кто после.

И мы — те, кто после.

— Так о чем же у вас тут говорят в Париже? Что делается? Какой последний крик моды, последнее увлечение? Ведь я же провинциал, мужлан... Сажу в своем углу в затишье, разве что иногда докатываются какие-то слухи... А тут, кажется, все сходит с ума по этим «Золотым плодам»... Читал я, читал эту книжицу... Не знаю, как вам, а мне показалось слабовато. Помоему, в ней просто ни черта нет... Вот именно — ни черта, понятно?.. Пустое место. Нет? Вы не согласны?

— Нет... нет... — Он останавливается, качает головой, словно примерный мальчик, увидевший, как шалит его товарищ за спиной взрослых... ой, что он делает... ведь это запрещено, с ума он сошел, что ли... ой, как он ругается! Ему хочется зажать рот рукой, выпучить глаза, запрыгать весело и возбужденно, он чувствует, как его душит неудержимый смех... но он только может помотать головой.

— Нет? Вы не согласны? Бросьте, зачем притворяться? Вы меня просто разыгрываете... Не может быть, чтобы вам нравилось! Это же дешевка... Пустое место. И претенциозно к тому же... Да чего вы хохочете? Что вас так рассмешило? По-вашему, я говорю глупости?

— Да нет же, не в этом дело... Но вы... вам цены нет... Вы сами не понимаете... Ох, какая прелесть!.. Уморил...

— Что? Чем же это я вас уморил? Тем, что меня не проведешь, что мне дела нет до мнения всех этих снобов, этих кретинов?..

— Кретинов!.. Брюлэ, Меттеталь, Рамон, Лемэ, Парро — кретины! Ха-ха-ха! Ха-ха!.. Ох, дайте отдышаться... Вот бы кто-нибудь вас послушал... Ну, знаете... нет, вы даже не понимаете, до чего вы забавны!.. Если бы я только рассказал... нет-нет, не пугайтесь, я никому не скажу... Да мненикто и не поверит... Надо слышать своими ушами... Надо самим... нет, вы просто неподражаемы!.. Мне повезло, честное слово... Нет, давайте всерьез... Значит, вы считаете, что это дешевка? По-вашему, «Золотые плоды» — дрянь?.. Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, конечно, дрянь. И знаете что? Все ваши ссылки на авторитеты, на мнение всех этих Меттеталей и Лемэ ничего не изменят. Скажу вам прямо — мне на них наплевать. Хвалят что попало. И потом, знаете, в этих делах никаких авторитетов для меня нет. Не бывает! — Он гордо выпрямляется.

— Тут надо доверять только себе самому. — Он бьет себя кулаком в грудь. — Себе, понимаете? Своим ощущениям. И я, я... — он колотит себя в грудь, — я вам честно говорю, смейтесь сколько угодно, но ваши «Золотые плоды» — чистая дешевка.

— Да я вовсе не смеюсь... — Он вытирает глаза. — Я не смеюсь. — Он чуть не плачет... — Сам не знаю... я же ничего не говорю, это же вы... — он с трудом выговаривает слова... — вы не

представляете себе, до чего смешно... Нет, вы неподражаемы... Настоящий комик... ха-ха-ха... Ох, не могу... только подумать... нет, вы меня уморите...

— Только подумать, какую физиономию скорчат все эти ваши кретины, да?

— Ох, перестаньте, умоляю вас... Мне больно, я больше не могу... Значит... — Он еле справляется с приступами смеха... — Вы серьезно... считаете, что «Золотые плоды» — дешевка?

— Да, да, я своих слов обратно не беру. Можете хохотать сколько влезет. И говорить можете кому угодно... — Тот подымает руку в знак протеста. — Да, кому угодно, я краснеть не буду. И хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ничего в них нет, в ваших «Золотых плодах». Сплошная претенциозность. Отсюда и успех. Фальшивая таинственность. «Высокие темы». И все это в приподнятом стиле, слегка герметическом... действует безотказно... а за всем этим часто скрывается... да-да, я вам скажу что, хотя вам, наверно, будет смешно до слез: за этим скрываются страшно банальные мысли, чувства... и масса общих мест... иногда это просто огорошивает...

— О-о, тут я должен вас остановить. — Смех резко обрывается. Лицо становится серьезным. — Нет, тут я вам должен сказать... Шутки в сторону. Тут вы действительно ошибаетесь. Знаете, что вам на это ответят? Вам скажут: послушайте, ну как же вы не видите, что именно это впечатление пошловатости, банальности, о котором вы говорите, — Брейе именно этого и добивался, он это сделал нарочно.

Мало кто осмелится схватить поэму, роман, чей блеск ослепляет глаза, и, стиснув в своем мощном кулаке, злобно нажимать на самые уязвимые места, надавливать... вот, смотрите, как тут слабо, как рыхло... сплошная мелодрама, бутафория, хлам... так вульгарно, так плоско...

И никто ни звука! — слушают, молчат. Смотрят, как те выставляются, опьяненные ощущением собственного свободомыслия, своей прозорливости, и сначала не мешают им нажимать изо всех сил, все крепче, крепче и с победными криками проникать все глубже. И вдруг, как выстрелом из револьвера в затылок, в них выпаливают: «Слушайте, да ведь все это сделано нарочно!»

И тот, в кого угодил выстрел, шатается, падает на землю, обливаясь кровью. С любопытством, с жалостью все склоняются над ним: так вот он, этот опасный силач, вот кто размахивал перед нами мощным кулаком, показывая: «Смотрите, люди добрые, взгляните-ка... вот, к примеру... только ткнул — и весь палец туда ушел... вот, ломаю пополам, сейчас вам покажу. С виду все такое цельное, здоровое, живое, а внутри гниль...»

Что с ним случилось теперь, с беднягой! Вот до чего довели его самоуверенность, легкоеверие, нечуткость. Но как может человек, пусть самый глупый, самый слепой, как, я вас спрашиваю, может он не видеть — да это же всем видно, это бросается в глаза: все эти «банальности», как он, жалкий человек, их называл, все эти банальности, которые так его шокировали, все они вкомпонованы нарочно.

...Сломлено сопротивление, агрессор проник в самые сокровенные уголки, круша по пути все утонченные радости, все тайные наслаждения, этот восторг, это ощущение роста, подъема, которое они испытывали, когда, уединившись в своей комнате, они читали, иногда приостанавливаясь, чтобы вернуться назад, просмаковать или предвкусить всю полноту наслаждения, прежде чем снова, не торопясь, взяться за книгу, перелистать ее и медленно перечесть страницу, погружаясь кто знает в какую прохладную тень, в какие голубоватые глубины... А теперь все растоптано, разграблено, и грубые руки хватают это ваше скудное имущество, вышвыривают его вон: «Вот вас, смотрите. Вот что вы любили. Вот все ваши чудеса, все глубины, чаровавшие вас... Вот эти «правдивые» чувства, сладкой болью сжимавшие ваши сердца... Жалкие пошлости, рыночная поделка... Музей восковых фигур. Вульгарность, Поэтическая бутафория».

Они побиты, унижены. С помутневшим взором они ощупью ищут выхода, помощи. И вдруг под рукой, еще не разобрав, что это такое, они нащупывают что-то тяжелое, что-то веское... они хватаются за это, поднимают, собрав остаток сил, и швыряют прямо в голову торжествующему врагу: «Да ведь все это сделано нарочно!»

Чудо. Вмиг меняется все. Агрессор шатается, падает под ударом, он сбит с ног.

Нарочно. Все сделано нарочно. Да неужели же вы этого не видите?

От удара его качает, искры сыплются из глаз, вихрь цветных огней. Он хватается за что попало — лишь бы не упасть: «То есть как это — нарочно? Слушайте, да разве это оправдание?.. Если автор сделал это нарочно — тем хуже для него... — Он выпрямляется. — Если он пишет пошлости — нарочно там или не нарочно — значит, у него нет вкуса, вот и все».

— Но ведь он нарочно — хотите верьте, хотите нет, — он нарочно пишет безвкусно!

— Новый удар чуть не свалил его — он цепляется за что попало...

— Но тогда надо дать почувствовать...

— Все и чувствуют, кроме вас. Во всяком случае, люди понимающие никогда не ошибутся.

Изо всех сил он снова пытается найти почву под ногами: «Но тогда надо, чтобы это было очевидным... прикрывало что-то подлинное, настоящее... иначе можно принять эту банальщину... — Силы к нему возвращаются, он уже тверже стоит на земле. — ...Иначе можно принять эту банальщину за искусство...»

Он снова переходит в нападение, и они глядят на него с изумлением, они отступают, чтобы отразить наскок...

— Ведь все фабриканты скверного чтива, если хотите знать, делают это нарочно. В таких случаях это просто прием, понимаете? — Нет, их ничем не проймешь, они опять наступают на него: — Да, но тот, кто стряпает скверное чтиво, не понимает, что он пишет пошлости. А вот Брейе понимает. Он это делает нарочно, как же вы этого не видите?..

— А как я могу... отличить... Нет, погодите... Как... — Его голос срывается в мышинный писк: — Откуда известно, что он это делает нарочно?

— Известно — и все! — Они трясут его за плечи. — Известно, потому что он мастер своего дела, он не может ошибиться, он всегда знает, что делает.

Визгливый женский голос перекрывает всех:

— И он сам так говорит!

Тут уж и он орет во всю глотку:

— Ах, сам? Где? Кому?

— Да, он сам сказал, в интервью... Я слышала по радио... Он сказал: «Понимаете, я хотел писать литературно, традиционно...»

Он уже не узнает свой голос:

— Да ведь он, может быть, хотел оправдаться. Схитрил, понимаете... Схитрил... Куда же ему было деваться?

Нет, это уже слишком. Они налетают на него, молотят его кулаками:

— Как вы смеете?.. Вы... Да вы спятили... Он гений. Он это доказал. Забыли, что ли, молодой человек? Забыли, что он сделал... Какие изумительные книги...

— Изумительные? Что-то не видал!.. Вся его писанина — дрянь. — Он хохочет, как сумасшедший. — Дрянь, дрянь, дрянь, а вы говорите — нарочно... надо же... здорово придумано... ха-ха-ха-ха... нарочно... нарочно... — Но тут на него накидывают смирительную рубашку и увлакивают прочь.

— Удивляетесь небось? А? Но то, что они вам сказали — да, они всегда так говорят, эти умники, эти Меттетали, Брюлэ, — стоит вам только осмелиться, стоит только сказать, что вы нашли в «Золотых плодах» кучу банальностей, пошлых сантиментов... А что вы можете им

возразить? Тут и вам, пожалуй, не выпутаться? А? Даже вам, непобедимому. На этот раз вы попались. Я бы и сам не прочь, знаете ли, если бы только суметь... Сознаюсь, я и сам иногда подумывал... Но меня всегда сбивает с толку этот аргумент...

— Что? Вас сбивает с толку эта галиматья? Будто он все это сделал нарочно? Ну, знаете, это уж слишком... Дальше некуда... И вы не шутите? Значит, и на самом деле есть люди, которых можно этим запугать?

— Представьте себе — да! Сам не знаю, что им на это отвечать. Тут ничего не скажешь. Стараюсь как-то защититься, но их не переспоришь — крепко сказано.

— Крепко? Да их доказательства рассыпаются при первом толчке! Чувствую, что вы, наверно, правы. Но объясните мне — почему? С ними словно попадаешь в сети. Бьешься, бьешься — и никак не выпутаться.

— Ну, я-то выпутаюсь, верьте слову!

— Да, но как? Как? Расскажите мне!

— Извольте: нельзя писать пошлости нарочно...

— Он напрягает все силы... что за нелепость... бессмысленные слова... мокрое чудовище выskalзывает у него из рук... он пытается его схватить.

— И вообще, что это значит: «он хотел писать пошло»? Что это означает? Тут — область искусства, а не наших мелких личных наблюдений. Может быть, он хотел использовать пошлость как сырье для произведения искусства? Так, что ли?

Он крепко ухватил за кончик то скользкое, темное, что пытается вырваться от него, — нет, он его не выпустит!.. Произведение искусства. В этом-то и дело.

Он усмехается иронически, немного растерянно, как грузчик, который схватил в охапку большой тук, думая, что он легкий... Мне это как перышко, вот увидите... и через два шага должен был опустить его на землю, покраснев от натуги, вытирая пот со лба... О черт, и не подумал бы... Да что у вас там? Свинца наложили, что ли?..

В его улыбке смущение:

— Послушайте, уж не хотите ли вы меня заставить прочесть вам лекцию?

— Да, да, прошу вас, объясните мне до конца. Тут нужна полная ясность. Вы так хорошо умеете... Надоело слушать, как все долбят одно и то же по любому поводу. Но ведь это далеко не так просто.

Он недовольно ерзает на месте.

— Нет, это *чересчур* просто. *Чересчур* явно.

— Да-да. Вы попали в точку: это настолько просто, что не сразу удастся... настолько само собой разумеется, что невозможно дойти до сути...

— Да нет, вполне возможно... Этот ваш... как его там... ну, автор «Золотых плодов»... Да, да, Брейе... Пусть он хотел показать что-то пошрое, плоское, рядовое, банальное. Почему бы и нет? И пошлость, и глупость, и уродство, все что угодно, все может стать превосходным материалом для произведения искусства. Но ведь тогда и пошлость и бесцветность производят совершенно не то впечатление, как в «Золотых плодах».

Он останавливается — ему вдруг стало спокойно. Теперь оно у него в руках, целиком... Он перехватывает поудобнее:

— Нет ничего общего между тем ощущением, которое в вас вызывает пошлость произвольная, пошлость, так сказать, в сыром виде, нечистая, тошнотворная, подленькая, та пошлость, которую смутно ощущаешь на каждом шагу вокруг себя, та, что проникает в тебя, как въедливый запах, и тем ощущением, которое возникает, когда пошлость вам показывают в произведении искусства, в определенной художественной форме... Но я, кажется, ломлюсь в открытые двери...

— Нет, нет, говорите, вы сами не знаете, как много вы мне даете... Вот так и надо было им ответить...

— Но они и сами все знают. Они только притворяются... делают из вас дурачка.

— Нет-нет, уверяю вас... Широкая публика даже и не пытается понять. Им говорят: это сделано нарочно, и в них это уже вколачивается намертво, они и не вникают — почему. И повторяют эти слова, как пароль, как талисман.

— Ничего он не стоит, этот их талисман. Если бы Брейе действительно хотел взять пошлость как материал, над которым он собирался работать, он профильтровал бы ее, сгустил: вышел бы экстракт пошлости, пьянящий, бодрящий, яркий, великолепный. И она не вызывала бы такого отвращения, такой брезгливости, как сейчас... Все воспринималось бы в отрыве... Она стала бы предметом искусства... восхищала бы нас... И мы сами были бы очищены от пошлости, спасены... Все воспринималось бы иначе, если бы Брейе это сделал нарочно. Но этого-то и не было. Может быть, его в чем-то упрекнули... может быть, он и сам слишком поздно заметил у себя общие места, страницы, где он не сумел овладеть материалом, и тогда в свое оправдание он и заявил: я это сделал нарочно.

— Да-да, ваша правда, конечно, он выкрутился... писатели часто так делают, обманывают людей... «Мелодрама, говорите? Ну, разумеется. Я того и добивался, черт возьми, как это вы сразу не поняли?» Собеседник сразу теряется, отступает, краснея от стыда...

— И все же я вам вот что скажу. Может быть, писатели и делают такие вещи нарочно. Может быть, и Брейе хотел... хотя я в это не верю, учтите... Но если он хотел сделать это нарочно, у него ничего не вышло. Он все задумал неверно. Он оставил всю эту банальщину в ее первозданном виде, и у него получилось бесформенно, неясно... Да, вот именно — неясно. Вот самое существенное. Читатель открывает все, как в жизни, собственным домыслом. На нем лежит вся работа. А писатель свою работу не сделал, его затянула эта банальщина, он поддался ее расплывчатости, путанности, он дал себя заразить этой пошлостью. Он ее никак не подчинил себе. Не произведение искусства он создал, а подделку. И все это плоско, как плоской кажется действительность при поверхностном взгляде. Ну, вот я вам и прочитал лекцию. А вы, наверно, подсмеивались надо мной втихомолку. Разыгрывали меня. Да вы же все это знаете не хуже меня...

— Нет-нет, уверяю вас. Правда, я смутно чувствовал... Но для меня это клубок, никак не распутать... Вы не представляете себе, до чего это вредная штука, такой аргумент. Вам его тычут в нос в любом случае. Стоит только людям встать на защиту какой-нибудь посредственности... ну, знаете, одной из тех книжонок, которые по неизвестным причинам... Я лично никогда не понимал, каким образом... но это случается постоянно... вдруг какое-нибудь абсолютно ничтожное произведение объявляется неприкосновенным. Руки прочь... Помните, когда все превозносили до небес этого самого... ну, как его? Как же его звали? Помните, года три назад... Ну, вы знаете, о ком я...

— Питюи? Вы про него?

— Да, да-да, да... про него, про него... ха-ха-ха!.. бедняга Питюи!.. Помните, открытие середины века... величайший гений...

Слившись воедино, как всадник и конь, они снимаются с места, летят...

— Да, Питюи... это ничтожество... вот была история... Да. «Форштевень», вот-вот... Так он как будто назвал свою книжонку?

Вместе, легко они берут препятствие, приземляются...

— Ну, это уж настоящая фальшивка, правда? И прескверная к тому же...

Ну-ка, мой верный конь, еще один разок, осталось еще одно препятствие, последнее, сейчас мы его возьмем вместе, мы победим, нет для нас препон, ну, давай, еще раз, последний круг,

пошли...

— А «Маски» Бульи, что вы о них думаете?

— Про Бульи? Да то же, что и вы! Спору нет, он человек способный. Может быть, это совсем не так значительно, как говорят, но все же...

— Да, я с вами вполне согласен... Я думаю совершенно так же, как вы. Это, конечно, не пустое место, далеко нет... Тут нельзя относиться безразлично...

Снова, после прыжка расслабив мышцы, слегка покачиваясь, они идут шагом, они прогуливаются взад и вперед...

— Да, удивительное дело эти увлечения... вдруг ни с того ни с сего отдать чему-нибудь предпочтение перед всем на свете... и с какой страстью, с какой настойчивостью... А потом все идет прахом неизвестно почему...

— Да, потом все рассыпается... Правда, иногда на это нужны годы, целое поколение, а то и два... Некоторые репутации несокрушимы... Вот, например, Варанже... Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вся его поэзия...

Что такое? Что случилось? Да ведь впереди ничего не было, не надо было брать ни препятствия, ни канавы, трусили рысцой, гуляючи, по совершенно ровному полю, и вдруг тот споткнулся, встал на дыбы:

— О, нет... тут я вам ходу не дам. Стоп. Что вы? Как можно? Варанже — это совсем другое, как вы можете... Его «Излучины» — настоящий шедевр. Тут место свято, никаких шуточек. Варанже — чудо!

Бедный всадник вылетает из седла, шлепается на землю в грязь, под копыта...

— Варанже — великий поэт, как Маллармэ. В наши дни ему нет равных... никто ему в подметки не годится... Он сильнее Валери...

Оглушенный, дрожащий, весь в ссадинах, всадник вскакивает на ноги, бежит следом... Стойте, не бросайте меня, подождите... сейчас догоню.

— Нет, я вовсе не отрицаю его всего, целиком... Я признаю, что Варанже в первых своих вещах... В молодости он писал превосходные стихи...

— Ну нет. Ничего подобного. Конечно, его юношеские стихи прелестны, но зрелые произведения гораздо выше, прекраснее. Сила, мастерство пришли к нему куда позже. Погодите... У меня память неважная... Но вот, к примеру, это из сборника «Истоки», вот послушайте, что вы скажете? *И беглые кремни медлительного дня запечатлеют все амфоры неба* — как, по-вашему? Да, тут ничего не скажешь — красота! А это: *И пламя и лазурь...* — м-ммм, — мою ночь... *врачуют...* Нет... не так... Нет... Ага, вот... Поразительный образ: *И пламя и лазурь бичуют ночь мою*. Да, все в этом томике великолепно, все без исключения.

Погодите, сейчас догоню... Нельзя же так бросать... мы ведь были вместе... слились неразрывно в одно целое, вместе взяли столько препятствий, вместе топтали копытами покоренный мир. Нельзя так грубо бросать верного спутника... Я не могу остаться один, как прежде, я не вынесу — опять блуждать без поддержки, шататься от толчков... Не хочу расставаться с вами. Я нащупываю путь к вам... Ага, кажется, нашел, схватился за что-то, вы тут, я вас чувствую... *И пламя и лазурь бичуют* (почему «бичуют»? Впрочем, это не важно, «бичуют» — очень красиво!), *И пламя и лазурь бичуют ночь мою*.

И, отменяя от себя все сомнения, он дает проникнуть этим словам. *Беглые кремни. Лазурь. Амфоры. Пламя и небо*. Надо только поддаться, не сопротивляясь, не напрягаясь... ничего, все в порядке... так говорят при промывании желудка, когда вам вводят в пищевод толстую, воняющую резиной кишку... сейчас пройдет как по маслу, вот увидите, вот уже прошло! *Ночь. Лазурь. Амфоры неба...*

Он внезапно чувствует облегчение... Такое приятное, почти знакомое чувство, такое

домашнее, как от тех блюд, которые ел в детстве, как от неприхотливого и нежного вкуса каши, булочки с маслом, молока... *Лазурь. Лазурь и пламя неба. Бичи ночи. Амфоры. Запечатленные истоки...* Зачем же удерживаться, лучше поддаться, расслабить мышцы... впустить в себя... Красиво. Очень красиво. *И пламя и лазурь...* Нет, не проглотить... входит с трудом... скользкое, противное. Хочется выплюнуть, он весь сжимается, его сводят судороги...

— Нет, знаете, не могу... Ничего не попишешь... Это же все мертвечина... сделано холодным сапожником, все это безжизненно, подгримировано под модные вкусы, все тот же старый материал, те же бессменные поэтические приемчики... Набор обязательных слов, вся поэтическая бутафория... Ничего не поделаешь, мне это невыносимо, тут я с вами расхожусь...

На эти отчаянные вопли тот, другой, оборачивается с удивлением, с легким сочувствием, — тот, у которого желудок, как у страуса, дурацкая улыбка, он бесчувственный, грубый... и это его, несчастного раба, он взял себе в приятели, возвел на трон, поклонялся ему, польщенно жал протянутую руку этого циркового короля в картонной короне, этого лжепророка... И его он считал своим спасителем, своим верным спутником. Как он при этом гордился, что похож на него, что они идут рука об руку и оба, напыжившись, издеваются над теми, кто восхищен «Золотыми плодами», «Форштевнем», хохочут над ними в один голос... Тупой гогот грубиянов, пьяная болтовня бродяг... Хлопают друг друга по плечу, идут под руку, чуть не падают... «Го-го-го... Говорят — нарочно!.. Го-го-го, лопнуть можно... А ты мне скажи, ты, доктор, знаменитость, ты-то как думаешь? Нарочно или не нарочно?» — «Нет, погоди... — Рыхлый палец описывает кривую в воздухе, касается кончика носа.

— Говоришь, нарочно сделано, старина?.. Нет, это же не выдерживает критики... Погодите, я вам все объясню...»

Жирный голос... Икота... И он-то, он сам, с блаженной физиономией, разинув рот, смотрит на того сияющими глазами, смеется кретинским смехом...

Поймали. Попался в ловушку. Убежать невозможно. И как всегда, сам виноват. Все из-за деликатности, великодушия, как он называет в утешение себе эту свою слабость: вот и сейчас — и так всегда с ним бывает — он не мог устоять перед самой пустячной похвалой, он краснеет, теряется, он смущен, он сдался...

— Нет-нет, вы преувеличиваете, вы слишком добры... Я написал эту статейку так быстро, она просто вылилась из-под пера. Надо бы побольше времени... Но вы говорите, что Брюлэ... Нет, я просто не ожидал от него...

Еще, ну еще хоть немножко, он весь потягивается — до чего приятно... вот-вот... погладьте еще, почешите спинку...

— Да-да, у вас, наверно, уши горели. Если бы вы только слышали, как Брюлэ вас хвалил. Кстати, именно он, Брюлэ, обратил мое внимание... Потому что я сам... видите ли, для меня в «Золотых плодах» что-то не совсем... А Брюлэ сказал мне: «Прочтите статью Парро. Это открытие. Вы будете сражены».

Ему хочется просить пощады... нет, это уж слишком... он издает испуганный смешок:

— Ах, неужели? А я хотел переделать... Я был так недоволен собой...

— Нет, статья превосходная. Лучшее, что вы написали. Такая полнота... такой блеск... Но... один маленький упрек, если разрешите...

— О, конечно, прошу вас... — Он готов принять все, он в восторге: после этих ласк такой чуть заметный восхитительный укус...

— Одно только возражение, но вы не обидитесь?

— Обижусь? Что вы, напротив... говорите, не стесняйтесь... Это же куда полезнее всяких комплиментов... Так редко люди говорят с тобой откровенно...

— Так вот, единственный упрек вашей статье — статье, во всех отношениях замечательной,

— это нехватка цитат.

— Верно, да-да, это правда. Может быть, вы правы... надо было...

— Потому что мне, вы понимаете, мне тогда стало бы яснее... Потому что читаешь вас... Так прекрасно написано... И говоришь себе... я себя то и дело спрашивал — не слишком ли много вы в них вкладываете своего, в эти «Золотые плоды»?.. Не преувеличиваете ли вы?.. Вот если бы вы сейчас согласились... Я давно решил — как только встречу вас... Вот, книга со мной... Хотя какой-нибудь отрывок... чтобы я отдал себе отчет... Хотя несколько строк, на выбор, по вашему вкусу, чтобы мне стало виднее...

Сейчас еще не поздно. Он мог бы откинуться резким толчком на спинку кресла, развалиться и с едкой, иронической усмешкой на губах оттолкнуть рукой протянутую книжку, и, не дрогнув, посмотреть прямо в глаза этому нахалу: «Да вы что, мой милый? Вы шутите?.. Вот чего захотели — доказательств! Представить вам улики, что ли? Хотите меня проэкзаменовать, — так? Хотите, чтобы я вас стал убеждать, что я вас не обманываю, что у меня действительно хороший вкус?»

Он мог бы взломать прутья клетки, в которую он позволил себя загнать, разнести ее на куски, выйти оттуда и увидеть, как трусливо отступают все вокруг, бросив того несчастного простака на произвол судьбы.

Нет, он этого не сделает. Он не из тех зверей, не из тех хищников, которыми руководят темные инстинкты, — никогда их не поймать, при малейшем шорохе, шуме они напрягают мышцы, глаза свирепеют, клыки обнажаются — и одним прыжком они бросаются на врага. Нет, он не такой.

Ведь для того, чтобы позволить себе оттолкнуть этого человека, своего ближнего, который с таким доверием, с таким трогательным простодушием обратился к нему, этого доброго малого, который так жаждет чему-то научиться, так полон доброй воли, восхищения, для того, чтобы решиться проявить по отношению к нему столько высокомерия, ему самому понадобится тщательно проанализировать, глубоко вникнуть во все «за» и «против» и с полным правом решить, что перед ним просто симулянт. И кроме того, не лучше ли для очистки совести, во избежание риска — хоть он и невелик, — риска оттолкнуть настоящего калеку, — не лучше ли подать милостыню симулянту? Кроме того, в данном случае нет никаких оснований думать, что человек с таким открытым, добродушным лицом, который запросто подает ему книгу, собирается как-то подловить его. Что за выдумки? Что тут подозрительного? Все нормально. Все в порядке. Раз мы что-то утверждаем, мы должны подкрепить свои слова примерами. Наш читатель имеет на нас определенные права. Положение обязывает.

Он берет книгу, открывает: «По правде говоря, вы меня смущаете... но, конечно, если вам так хочется... в «Золотых плодах» все прекрасно... любое место...»

Но что случилось? Куда девалась эта нежная свежесть, этот пушок... где та грациозность, небрежная, словно безотчетная... эта линия... эта вибрация... У него перед глазами что-то неуклюжее, тщедушное, жалкое, бесплотное... застывшее в претенциозной, жеманной позе... Он переворачивает страницу... Нет, не то, не годится... Ага, кажется, вот!.. Нет, и тут тоже... Да что это с ним стряслось?

А все идет от «них» — от этого человека, который спровоцировал его, а теперь наблюдает за ним, молчит... И что-то есть в его молчании, в молчании всех, кто сидит вокруг выжидательно, недоверчиво, что-то тянется от них, словно высасывая из прочитанных им слов все соки, выпуская из них кровь... и слова пустеют, высохшие, жалкие скорлупки...

Он переворачивает еще страницу... Тут слова словно отвердели, заблестели слишком сильно, точно лакированные... кажется, что теперь из молчания сидящих, из их взглядов идут какие-то токи, истекает какое-то вещество, обволакивает все... Как под воздействием

гальванопластики, все покрывается слоем звонкого металла.

Нет, надо рассеять наваждение, отвести дурной глаз, надо схватить что попало, швырнуть в них, не медлить... Ну, например, вот тут... этот отрывок, по-моему, восхитительно. В начале главы, когда Оливье смотрит в окно, перед тем как уйти из дому...

Собрав все силы, он пытается отвести зловредные флюиды, исходящие от них... И вот в этих словах, в этих фразах появляется едва заметное набухание... слабая пульсация... И он решается, он откашливается... но как только он произносит слова вслух, они, как мыльные пузыри в прокуренной комнате, сразу съеживаются, опадают, от них ничего не остается, да ничего и не было...

— Нет, это не то... это не очень хорошо...

Он переворачивает страницу, листает дальше... нельзя терять ни секунды... они ждут, они насторожились...

— Не понимаю, почему я так медлю... Взять хоть это... Великолепный отрывок... Изумительно...

Ну же, побольше смелости, покажи им... Неужто они забыли, кто он такой? Неужто ничего не осталось от его престижа, его могущества?

Нет. Он все потерял. Он один, нищий. Его вытащили из укрепленного убежища, где он скрывался, из крепости, созданной вокруг него его трудами, его книгами, статьями, его стилем — жестким, высокомерно замкнутым, непроницаемым, его языком — чеканным, как бронзовые мортиры с точным и беспощадным прицелом, держащие неприятеля на почтительном расстоянии.

И он сам согласился покинуть крепость. Он принял вызов и теперь в одиночестве идет навстречу врагу по открытому полю. Но страх прошел — положение обязывает. Его голос звучит ясно... громко... ни тени дрожи... Он читает медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, как будто вкладывает в него заряд, чтобы придать вес каждому слогу и метнуть его изо всех сил в молчаливых слушателей, собравшихся вокруг него.

Но легкие, сверкающие слова вспархивают лишь на миг и опадают, рассыпаются прахом у его ног. Голос у него сдает, он начинает хрипеть, торопиться, ему хочется бежать, но его окружают все тесней — его пожирают глазами: так вот что он нам предлагает, вот какие сокровища он нам нахваливал, этот знаток. Жалкие ошметки... Глубже вдавливая лупы в глазные орбиты, они наклоняются, потом, выпрямившись, смотрят на него... И вдруг он слышит смущенное покашливание: «Очень красиво».

«Очень красиво». В заданный момент, без секунды задержки, без сучка, без задоринки механизм сработал, тяжелая машина наехала на него, на них, раздавила все в лепешку.

«Очень красиво»... как медведь лапой. Он упал, раздавленный, весь в крови, и все от него отводят глаза.

Глаза пустые, без всякого выражения, чуть косят вбок: бедняга ждет помощи, подачки... но никто не решается, все смущенно роются в карманах, и только она одна... Вот, у меня нашлось то, что ему нужно, вот вам, папаша, берите: «Очень красиво».

Повелительным взглядом она обводит присутствующих: неужели все забыли, что каждый человек благородных кровей и в присутствии свергнутого короля продолжает соблюдать правила придворного этикета? Смотрите, я показываю вам пример: перед этим павшим величием с печальной почтительностью, с душевной грустью, с сожалением я склоняюсь, как прежде, в поклоне: «Очень красиво!»

Все они заговорщики, понимают друг друга с полуслова, тепло прижались друг к другу, — а он в одиночестве, в отрыве от всех, он, сделанный из другого теста, он, лишенный чуткости, он ни в чем не отдает себе отчета; он не способен — будьте покойны! — увидеть фальшь,

насмешку. С ним и осторожничать не надо, тут что ни наплети, все сойдет. Он будет доволен чем угодно, лишь бы бросилось в глаза; и подчеркнуто громко, раскатывая «р», чтобы вышло убедительней, вздувая каждое слово фальшивым восхищением: «Очень кррр-а-а-а-си-ии-во!»

«Очень крр-асиво»... Среди молчания — взрывом — эти слова. Они впиваются, как осколки. Ощупью он находит их, извлекает те, что вонзились вглубь, ранили: их презрение, их затаенный сговор, их убежденность, что он бесчувственный, неумный... Он вытаскивает эти осколки, выпрямляется, гордый, зоркий, он заставляет всех опустить глаза под его ясным взглядом:

— Нет, по-моему, вы преувеличиваете. Этот отрывок в лучшем случае можно считать просто удачным. Да и вообще такое чтение, наугад, мало что может дать... Впрочем, может быть, я вообще ошибаюсь...

— Хоть бы кто-нибудь мне объяснил... Так хочется, чтобы вы мне сказали... Это необычайное явление... действительно заслуживает самого пристального изучения...

Нарушая все молчаливые соглашения, все тайные договоры, преступая все правила, предписываемые уважением к людям, продиктованные внутренней стыдливостью, презрев все запреты, он бросается напролом, пренебрегая препятствиями, ловушками, стоящими на его пути... вот они, перед ним, но он отлично их видит, он их знает.

— Да, знаю, я смешон. Смешно играть роль Альцеста^{26}, но мне все равно, это не важно... Одним прыжком, с улыбкой он взял барьер, помчался...

— Нет, вы мне объясните непременно, должно быть, я болван, чего-то я не понимаю... Как случаются такие вещи, какой тут скрыт внутренний двигатель?.. Гораздо менее важные явления уже изучены, определены... А этим вопросом стоит заняться... Искусство...

Он чувствует, что поскользнулся, и тот смотрит на него подсмеиваясь, видит, как он пошатнулся — вот-вот упадет... Но он сразу выпрямляется:

— Нет, я не об Искусстве с большой буквы... вообще не будем говорить «искусство» — слово слишком значительное... скажем просто — литература, это точнее... и все-таки она имеет большое значение... для многих людей играет огромную роль... Так вот, как же случается, что все время присутствуешь при каких-то невероятных переменах отношения, и никто не удивляется... никто не обращает внимания... Вроде массовых галлюцинаций — все эти внезапные увлечения, без всякой видимой причины... И ведь они охватывают всю литературную братию сверху донизу... Знаменитые критики, писатели — все, как один человек... Вот сейчас, например... эти «Золотые плоды»... Вы помните, что происходило еще совсем недавно? А я не забыл, как однажды я только глазом моргнул — да что я говорю «моргнул», разве я посмел бы? — наверно, у меня нечаянно что-то дрогнул о внутри, совсем незаметно... но другие, если только они настороже, сразу замечают, чувствуют, непонятно как... — и одна особа тут же призвала меня к порядку с такой уверенностью, при поддержке всех: «Как, вам не нравятся «Золотые плоды»?» Я хотел было что-то ответить, но она посмотрела на меня с такой угрозой... «Знаете что, — говорит, — если вам эта вещь не понравилась, это бросает тень на вас, а вовсе не на «Золотые плоды», на этот шедевр...»

Тот слушает, молчит — ведь на него напали сзади, схватили в охапку, стиснули, но он и не думает отбиваться. Застыл как деревянный: пусть его щиплют, царапают, толкают — он притворяется мертвым.

— А потом мне показалось — верно или нет? — что в последнее время что-то стало меняться... Какой-то перелом... Уже никто вам ничего не навязывает, сразу меняют тему... что-то носится в воздухе... какая-то сдержанность... Почему так, вдруг? Что произошло? Только не говорите, что они в чем-то разобрались. Это было бы слишком хорошо. Но кто станет перечитывать? Кто будет вникать? Кому придет охота рассмотреть пристальнее, подробней?

Нет, тут словно все сговорились. Но по какой причине? Как? Где? Ведь не существует никаких критериев ценности. Вы смотрели выставку знаменитых картин 1900 года? А? Какой урок! Чудовищно!

Силы его утраиваются от возмущения, от гнева, в дикой жажде разрушения он сотрясает все здание. Пусть все рушится, пусть раздавит всех — и его вместе со всеми...

— Доходишь до того, что спрашиваешь себя: неужто даже они, эти... — и его губы святотатственно произносят священные имена, — да останутся ли они? Может быть, все вообще сплошная липа, а? Как знать?

И вдруг инертное тело, маячащее перед ним, задвигалось, зашевелилось:

— Скажите, пожалуйста, а вам, в сущности, не все ли равно, вам-то какое дело?

Гигантская волна захлестывает его, сбивает с ног, валит на землю. Он бьется, как насекомое, сдутое порывом ветра, отчаянно машет слабыми лапками в воздухе, пытаясь за что-нибудь уцепиться...

— То есть... то есть... как же так... Как это — «какое дело»?

Его поднимают, сажают на палец, рассматривают вблизи:

— Смешной вы... Никак не повзрослеете. Чего-то требуете, чем-то возмущаетесь, будто вы подросток. Детский максимализм. Вам непременно все надо знать — что хорошо, что плохо. Вам необходимы какие-то нерушимые правила, которые должны применяться везде. Вам во что бы то ни стало нужна какая-то одна правда, которой все обязаны подчиняться, чего бы то ни стоило. Вы террорист — вот кто вы такой, мой милый... Но искусство, как вы говорите, но всякое произведение искусства никакой установленной ценности не имеет. Это всем известно, это очевидно. Конечно, ошибаются часто, это естественно. А как узнать? Кто посмеет сказать «я знаю»? Даже для самых проверенных временем ценностей, для шедевров прошлого все меняется — то от них неожиданно отрекаются, то их бурно превозносят... Вот Стендаль, помните, совсем недавно... А потом все затихает. Почему? Потому что вкусы меняются. В определенные моменты возникают определенные потребности. А потом нужно другое. Как вы можете помешать людям следовать за модой — и в этом, как и во всем? Кто ошибается? Что останется? А что, в сущности, значит «останется»? Останется — для кого? До каких пор? Как предугадать? Возьмите греческое классическое искусство, как его обоготворяли... И как оно померкло... Но, быть может, придет день, и его снова превознесут до небес...

Чавкает почва под ногами... его засасывает... Вот в какую трясины он бросился, вот какие болота хотел освоить с киркой, с факелом в руках...

— А «Золотые плоды», раз уж вы о них заговорили... Вам они как будто не нравятся. А я их всегда защищал. Может быть я и не прав. Разумеется, это далеко не совершенство, там можно найти много слабых мест, но я лично считаю, что это ценная книга. Знаете, может быть, вы сами через несколько лет вернетесь к ней и скажете себе: да, я был слишком строг, слишком нетерпим...

Куда ни глянь — ничего не видно, только серая топкая зыбь. Над ней поднимаются мертвые тени, мягко колышутся от невидимой ряби...

— Во всяком случае, в определенный момент худо ли, хорошо ли, но эта книга многое значила для людей... и для самых выдающихся... Правильно? Неправильно? Откуда нам знать... Останется ли книга? Почему мы знаем?.. И между нами говоря, какое это имеет значение?

Да, это были незабываемые минуты. Ни за что на свете она не хотела бы их упустить... А вот они все проморгали. Ей так жаль их, так за них обидно... Нет, это было увлекательно... Царил форменный террор. Никто и пикнуть не смел. Стоило кому-нибудь отважиться на малейшее сомнение, как его начинали третировать свысока, обвиняли в тупости — остопоп, кретин! Даже между собой, с глазу на глаз, в полной тайне они едва-едва, шепотом позволяли себе... Но они-

то, она с Жаком, они-то наговорились всласть, будьте уверены... [Бывало, вернутся домой совершенно обалделые и допоздна, до рассвета обсуждают, возмущаются..!] Потому что — надо прямо сказать, не хвастаясь, — он, Жак, с самого начала не поддавался. Жака ничем не проведешь. Никакой болтовней его не заморочишь. Пусть хоть весь мир сговорится, самые великие умы, самые знаменитые критики, его, Жака, не заставят переменить мнение ни на йоту.

Она не перестает восхищаться им... Только из-за таких людей, как он, чистых, цельных, стойких, только благодаря им всегда утверждались истинные ценности. Они — скалы, о которые разбиваются все валы конформизма, инертности, истерии. И чем больше времени проходит, тем яснее, что произведения искусства гибнут или обретают бессмертие только от непобедимой силы их убеждений. Благодаря таким людям искусство идет вперед. А что они, в сущности, делают необыкновенного? Жак часто говорит ей об этом при всей своей скромности, отрешенности: надо только дать себе волю, только отдаться своим чувствам, держаться за них, не давать ничему вторгаться, всегда вступать в непосредственное личное соприкосновение с данным объектом... что может быть проще? Если бы все были такими, как он — независимыми, непосредственными, внимательными, — они бы тоже ничего не упустили, они тоже пережили бы такие минуты. Но она на них не сердится, наоборот: теперь, когда борьба окончена, когда страсти утихают, теперь, когда наконец можно выйти из подполья и на полном свету развернуть все перипетии борьбы, рассказать о многих подвигах, теперь ей хочется, чтобы все они приняли участие — только мысленно, конечно, ведь действовать уже поздно! — ей хочется заставить и других пережить то, что пережили они, первые бунтари.

Бывали дни — и приходится в этом сознаться, — когда и она сама колебалась. У нее появлялись сомнения. Она помнит, как после разговора с Меттеталем — он тогда дал честное слово Меттеталю, что если есть в наше время книга, которая останется, то это именно «Золотые плоды», — она, вернувшись домой, снова открыла эту книгу, и — должна, к своему стыду, признаться — ей показалось, что это прекрасно. Но Жак стал над ней подтрунивать. «Погоди, — говорит, — сейчас ты увидишь, сейчас я тебе покажу, как это сделано... Это очень занятно...» Да, она искренне сочувствует этим людям, она понимает, как они сожалеют, как им грустно... Хорошо хотя бы и после победы позволить им высказаться, дать им возможность искупить свою вину... Приятно заставить тех, кто еще брыкается, хотя бы сделать вид, что они тоже сочувствуют... Времена теперь другие, все изменилось. Еще год назад — да, всего год — ни один человек ни за что на свете не отважился бы рассказать такое...

— Да, Жак мне так и сказал: «Сейчас я тебе покажу, чего это стоит»... Ушел к себе в кабинет минут на десять, а когда вернулся... Да что с тобой, Жак? Не хочешь, чтобы я им рассказала?

Ну, конечно, не хочет... Конечно, у него нет ни малейшего желания их удивлять, завлекать, он вовсе не собирается их переубеждать... Зачем это нужно? Не все ли равно, что они думают? Они же ни черта не понимают. Он делает легкое движение, хочет поднять руку, остановить ее...

А зачем? Разве ее удержишь, когда она очертя голову бросается на защиту справедливости, хочет всем внушить истину. Как будто истина и справедливость нуждаются в ее защите... как будто раньше или позже, вопреки всему... Но ей надо во что бы то ни стало ускорить ход событий, опередить судьбу.

По наивности она уверена, что стоит только очень громко крикнуть, очень решительно заявить... Как видно, она воспринимает людей лишь чисто внешне. За их неподвижными лицами она ровно ничего не видит. Ничего, кроме податливого материала, которому она может по желанию придать любую форму, и думает, что ей это удалось, когда в их улыбках, в их взглядах она читает то, что ей хочется прочесть. Сейчас она ничего не видит, кроме вежливо-любопытных глаз, дружественного ожидания. И она бросается вперед, топча их самолюбие,

наступая змеям на хвосты. Она не видит, как перед угрозой нажима хотят их заставить отдать самое свое дорогое — свое сочувствие, свое восхищение, — о, как они ненавидят всякое насилие! — как перед этой угрозой они сразу вскидываются, собирают все свое пренебрежение, всю иронию, все свое критическое чутье, с которым, кстати, дело обстоит неважно, и все это в ту минуту, когда становится ясно, что и Жак со своим нежеланием выставиться, и она сама с ее настойчивостью напоминают им те великолепно натренированные пары — ясновидящую с ее партнером, всех этих Люков и Люкетт, которые бросают вопросы и ответы с эстрады в зал, перед изумленной и недоверчивой публикой.

Но пусть они видят и думают что угодно. Во всяком случае, вмешиваться поздно. Он умывает руки — пусть рассказывает, что ей заблагорассудится...

— Нет, почему же... мне только кажется, что...

— Да что ты, Жак... Нет, вы только послушайте... Это так увлекательно, честное слово... Жак возвращается минут через десять... Да, через десять минут, не больше. И знаете, что он мне показывает? Страницу из Брейе, которая как будто вырвана прямо из «Золотых плодов»? Все в ней есть. И это прославленное обаяние... Это изящество... Ритм, интонация, образы, ощущения... Клянусь вам, не отличить. Но это еще не все... Подождите!

Они ждут: какой еще трюк им сейчас покажут? Какими фокусами их хотят удивить?..

— Сейчас расскажу. Это было неподражаемо... Однажды вечером, когда к ним зашел один из самых ярых поклонников «Золотых плодов»... я предпочитаю его не называть, но он — великий знаток, он их изучал очень подробно, хвалил на всех перекрестках, я вдруг вздумала... хотя мне, сами понимаете, было очень страшно... показать ему текст Жака, конечно, написанный на машинке, Жак никогда не пишет от руки... Я ему сказала — не знаю, какой бес меня иногда толкает... я понимаю, нельзя было это делать, нехорошо... но мне так хотелось узнать, и я ему сказала: «Хочется услышать ваше мнение. Один приятель дал мне страницу из Брейе. Она должна была войти в «Золотые плоды», а потом Брейе ее вычеркнул, нашел, что это уводит от темы, хотя я не понимаю почему. Прочтите. Что вы об этом скажете?..» И знаете, как он реагировал? Знаете, что он сказал?

Жак смотрит на нее беспомощно — он парализован, он не в силах ей помочь... а в них, в этих людях, как на горячих углях, уже что-то раскаляется докрасна, разгорается... он слышит... что-то шипит, посвистывает... но она смело бросается вперед:

— А вы знаете, что он сказал? — Нет, они не знают. — Он сказал: «Это изумительно. Лучшее, что написал Брейе. Чудо — говорит — чистейшее чудо. Лучшая его страница». Тут Жак — я сразу увидела, — Жак почувствовал авторскую гордость... Да-да, Жак, не отрицай, пожалуйста!.. Весь напыжился — вы бы на него посмотрели. Ведь тот, наш приятель, не скупился на похвалы. Разбирал каждую фразу. Открывал в ней бог знает какие сокровища... замыслы... Говорит: «Тут больше силы, больше зрелости, чем во всех «Золотых плодах». Грандиозно. Гениально. Послушайте, какой образ. Какой ритм в этой фразе...» Если бы вы только слышали... Умора... Но под конец я перепугалась... Этого я не ожидала, так далеко заходить я вовсе не собиралась... а сознаться не смела... Но смешно было до колик...

Точка. Выступление окончено. Что они теперь скажут? Неплохо, а? Красивый номер...

Но никто ни с места. Чего же они ждут? Она прислушивается к себе, мысленно пересматривает всю сцену, проверяет каждую деталь — убедиться, что все отработано на совесть, не сомневаться... Она качает головой... о-ла-ла! — о, как это было смешно... она смеется... легкий смех журчит ручейком, хочет их увлечь за собой... ха-ха-ха... умереть от смеха...

Голос, слегка охрипший, произносит не сразу, с напряжением:

— М-да... должно быть, это было забавно... — Тяжело падают тягучие слова: — Могу себе представить... Но должен признаться, мне, по правде говоря, не совсем ясно, что это

доказывает?.. Что можно доказать такой вот шуткой?

— То есть как? — Она испуганно озирается. — То есть как «что можно доказать»?

— Вот именно — что это доказывает? Лучшие произведения искусства можно подделать...

— Голос крепнет, становится уверенней. — Можно блестяще подделать Шекспира. Моя дочь только что написала прелестное письмо от имени мадам де Севинье.

Она волнуется, она вся кипит:

— Но, Жак, как же это... ведь ты сам... — Хоть бы он что-нибудь сделал... он такой умный, такой сильный... — В ее глазах, устремленных на него, в ее детском личике немая мольба... — Ведь ты сам, Жак, ты тоже считал... — Сейчас он непременно постарается... Сейчас, когда она — бедный маленький воробушек... попала в эту переделку — он так и знал, — конечно, он ее не бросит.

— Нет, простите, тут я с вами не согласен. Я считаю, что моя жена права...

— Ах, вы так считаете? Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста...

Ну вот... Только зачем она так волнуется, вся дрожит, она же этим мешает ему собраться с мыслями... вот сейчас, сию минуту он найдет... но сначала надо быстро парировать удар, схватить то, что у него всегда под рукой, что он держит про запас на такие случаи, схватить и швырнуть в них, чтобы выиграть время, удержать их на расстоянии — так человек темной ночью, окруженный стаяй волков, торопливо чиркает спичками и бросает их в зверей, заставляя их отступить:

— О, прошу вас, не заставляйте меня ломиться в открытые двери...

Сначала они несколько теряются — он так и ожидал, — беспорядочно топчутся на месте, толкаются. А потом — он и это предвидел, но ему важно было выиграть время — самые смелые из них, самые умные, те, кого эти короткие, сразу гаснущие вспышки ничуть не пугают, — они подходят, блестя глазами, и другие следуют за ними в отдалении.

— Да, ломиться в открытые двери... Все это, конечно, хорошо, но... Но все-таки, будьте добры, объясните. Наверно, нам надо объяснять самые простые вещи.

— Что же, пожалуйста! — Теперь у него в руках то, что надо. — Видите ли, это очевидно: если подражание лучше того, чему подражают — ведь это главное! — если то, что копируют, оказывается хуже копии... Если можно сделать...

— Но одна страница — что она значит? Я могу написать страницу, как будто взятую из «Адольфа», и она покажется вам лучше, чем страница «Адольфа»... Ну и что из того?

Она больше не может, она должна вмешаться:

— Но если это действительно лучше, лучше...

Жак подымает руку, словно отстраняя ее, нет уж, пусть она их предоставит друг другу, теперь она мешает ему:

— Нет, что вы... Тут уж я с вами никак не соглашусь. Одной страницы достаточно, одной-единственной страницы, написанной действительно лучше, чем у Бенжамена Констана, я хочу сказать — по-настоящему лучше, сильнее во всех отношениях, — одной такой страницы вполне достаточно. Никаких сомнений быть не может. И тут уж, конечно, Бенжамену Констану как писателю плохо придется.

— Почему? Подражатель может оказаться гораздо талантливее Констана.

У многих на лицах появляются улыбки. Не поворачивая к ней головы, он чувствует на себе ее взгляд — нежный, беспокойный, чуть жалостливый. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Сейчас их нахальные улыбки исчезнут...

— Да вы понимаете, что вы берете под защиту? Понимаете? Знаете ли, что значит, когда копия лучше оригинала? Знаете, что вы тут превозносите? Просто-напросто чистейший академизм!

— Ого, убил!.. До чего же вы боитесь слов...

— Нет, я слов вовсе не боюсь. Но слова что-то значат, не так ли? И академизм тут — точнее слов. Послушать вас, так фальсификатор может оказаться гениальнее творца оригинала... В том-то и дело, что нет. Потому что копия мертва, по самому своему существу мертва... В ней нет ощущения спонтанности чувств, новизны, нет прямого контакта с нетронутой, непознанной сущностью... Вот в этом и есть академизм. И вы превосходно это знаете...

— Вовсе нет... смотря что... Великие мастера копировали...

Отягощенные знанием головы опускаются, слышно перешептывание.

— Лафонтен и Эзоп... Шекспир и Марло... А сам Расин...

Но тут властный жест останавливает этот безудержный поток:

— Бросьте, это несерьезно, что вы... Жак прав: в этих случаях о подражании говорить не приходится. Они заимствовали сюжеты, но какое значение имеет голый сюжет?.. Просто повод... Нет, тут вам Жака не побить. Его ошибка совершенно в другом. И к этому я хочу вернуться. Важно другое. Что значит для целого романа одна страница? Тут может ошибиться самый искушенный знаток. Повторяю: этой игрой можно забавляться, взяв любого автора. Значима только вся вещь в целом. Важна согласованность всех частей, стройность конструкции... Важно место этой страницы в общем контексте, то, как она освещена со стороны... важен тот импульс, то скольжение, которое она дает дальнейшим строкам, — зачин, который в ней заключен... Впрочем, тут не о чем спорить... Одна страница, даже подделанная мастерски, еще ничего не доказывает... Абсолютно ничего...

— Нет, тут я должен возразить. Каждая страница играет свою роль. Тут каждая черточка на счету! Каждая фраза заставляет жить, заставляет возникнуть ощущение, чувство, даже мысль, вот именно — мысль. Каждая фраза — это живое движение, передающее неповторимое чувство... Это не просто пустой жест... И если этот скопированный жест, эта инертная академическая форма, да, повторяю, — академическая, — если она вдруг окажется лучше — в этом вся суть, это всего важнее, — чего же тогда стоит то, что служило образцом, я вас спрашиваю, чего оно стоит?

Кажется, они сговариваются... переглядываются... о чем-то советуются шепотком... видно, задумали новый план... Значит, все-таки, по его мнению... Но что он сказал? Значит, для него возможна только одна форма, только она идет в счет... Нет, погодите... внимание...

— А Джойс, что он скажет о нем? Погодите, давайте спросим его...

Как при игре в шарады, один из них от имени всех остальных — все на него смотрят, весело улыбаются, тише, молчите все, пусть он один отвечает! — один из них с нарочито серьезной миной берет слово:

— А Джойс, который позаимствовал внутренний монолог у Дюжардена?.. Как вы это объясните? Ну?

Ага, попало!.. Поглядите, как он растерялся, дрогнул, проводит рукой по лбу...

— Но ведь внутренний монолог... Ведь тут, вы понимаете... Тут нельзя сравнивать. Джойс взял только технический прием. Он не имитировал форму целиком...

Что это он лопочет, они никак не могут ухватить мысль... Техника... Прием... Форма... Все это разные вещи... Тут какая-то путаница...

— Нет, погодите, суть вот в чем... Не в том дело... А суть в том, что внутренний монолог... это не просто прием... — Его голос крепнет. — Это одна из сторон психической жизни, которую хотел выявить Дюжарден...

Но тут со всех сторон раздаются голоса: «Еще лучше. Браво. Теперь победа за нами. Вот к чему вы пришли. Значит, по-вашему, Джойс имитировал самую суть, а вместе с ней и форму. Значит, Джойс — если рассуждать по-вашему — академический писатель».

— Да нет же, нет, нет! — Он уже кричит на них. — Вот именно, Джойс пошел гораздо дальше. Ничего общего между его внутренним монологом и монологом Дюжардена нет. Джойс внес туда свою собственную сущность. Свой мир. Джойс гораздо выше...

— Ах, Жак, зачем ты споришь? — От нетерпения, от гордости она ломает все преграды: — Ты же сам сказал: Джойс куда выше! Но, значит, и ты, Жак, ты тоже...

— Правильно, дорогая. Уговорила. Теперь я окончательно убедился...

Как тореадор, который проходит по арене, небрежно волоча свой плащ и ловя на лету с непринужденным изяществом уши и хвост быка, шляпы и туфельки, которые ему бросают, он отдает поклон:

— Благодарю. Я потрясен. Рядом с автором «Золотых плодов», по сравнению с этим Брейе я — Джойс!

— Вот так и случилось, что книги, пустые сами по себе, каждый старался чем-то наполнить. Самые чуткие, самые умные люди вкладывали туда, и с какой щедростью — все свои богатства. В небольшом объеме находили изысканную прелесть... в неясностях открывали бог знает какую полноту смысла!.. А потом эти книги словно опустели... трудно была вынести такую нагрузку... и они приняли свой первозданный вид, стали тем, чем были на самом деле: пустыми... сбивчивыми... плоскими... банальными... жалкими потугами... И если кто-нибудь сегодня еще хвалит их, он всем кажется неумным, отсталым. Такие книги всегда попадают, их и сейчас много. Взять хотя бы самые последние... вот, взгляните...

Небрежный посох тычет в это стадо... Все одинаковые, все одной породы, они послушно сбиваются в кучу, теснясь и толкаясь, трутся пыльными боками, и «Золотые плоды» тут же, среди других.

То, что предчувствовалось в каких-то умалчиваниях, в некотором охлаждении, в едва заметном обмене взглядами, улыбками, в тактичной сдержанности, в осторожных пересудах, теперь возвещается на всех площадях, расклеивается на всех стенах. Нельзя держать людей в неведении: все те, кто вблизи или издалека, открыто или тайно, в темных закоулках совести до сих пор относится к «Золотым плодам» с восхищением, нет, даже с простой доброжелательностью, с некоторым сочувствием, все те, что и нынче связываются с этой книгой, защищают ее, ищут ей оправдания, находят смягчающие обстоятельства — словом, как-то поддерживают ее словами или мыслями, — все они дураки.

Мы же тут люди одной породы, правда? Одного цвета кожи, одной расы, одной веры, одного круга. Спаяны воедино. Среди нас нет и не может быть ни одного изгоя. И потому с убежденностью, делающей честь нам всем, с твердой уверенностью, что я никого не заставлю покраснеть, с братской откровенностью я могу взглянуть вам прямо в глаза и громко повторить то, что каждому уже известно: те, кто и посейчас восхищается «Золотыми плодами», — дураки...

А вот меня это жжет, мне от этого плохо... эта братская, эта наивная откровенность, которая озаряет нас — и в ее горячих лучах все лениво и блаженно потягиваются, греются, загорают, — мне от нее тошно, голова кружится, вот-вот будет солнечный удар, мне надо защититься, сейчас встану, загорожусь от света вот этой ширмой: «А вот мне лично, должен сознаться, «Золотые плоды» очень нравятся».

Вот. Значит, я дурак. Я дурак — пусть все видят. Еще миг — и я обнажу перед ними тайный знак, который ношу, то несмываемое клеймо, которое они сами на мне поставили, и чувство стыда, какой-то неловкости заставит их отвести глаза.

Да, мне нравятся «Золотые плоды»... Не могу удержаться, что-то с силой напирает изнутри, как горячий фонтан, подымается к лицу: сейчас прорвется, хлынет вон, забрызгает их, зальет, всех нас собьет с ног, как гейзер, бросит друг на друга, мы покатаемся — где наша выдержка? Волосы мокрыми космами свисают на лоб, одежда липнет к телу, вымокла насквозь...

Мне нравятся «Золотые плоды», и я сейчас скажу это вслух, и, как только пройдет первый момент паники, они встанут, приведут себя в порядок, поправят как следует прически, с некоторой брезгливостью отряхнут и одернут платье, все станет снова аккуратно и чисто, и всем — даже мне — станет легче: они снова соберутся в одну кучку, а я — меня отгонят прочь, в сторону, на место, туда, где и подобает быть мне, чужаку, мне, парии.

Издалека они будут смотреть на меня: человек схватился за голый электропровод. От «Золотых плодов», которые я никак не могу выпустить из судорожно сжатой руки, идет ток, он пронзил меня, я прикован к месту, все мое существо окаменело, застыло в одно целое: в дурака.

Они смотрят на меня с жалостью, но никто мне помочь не может, никто не рискнет спасти меня... Стоит им только протянуть ко мне руку, коснуться меня хоть кончиками пальцев — и всех их пронзит тот же ток, он приварит нас друг к другу, свяжет в жалкую, нелепую цепь, и другие стали бы смеяться над нами, если бы им не хотелось плакать: «Ах, дураки несчастные»...

Никто меня не может спасти... Но я, я сам... Как же я осмелился издеваться над ними?.. Я сам... Да ведь это от меня помимо моей воли исходит ток, он пробегает сквозь все, чем я восхищаюсь, собственная моя глупость окрашивает все, что мне нравится... Я чувствую это... И если я о себе хорошего мнения, это значит только одно: я дурак. Я — пуп земли, я — ось, вокруг которой все концентрировалось, все вертелось, я, чей взгляд — стоило мне только захотеть! — мог проникнуть за грани пространства и времени, я — единственное мерило всего сущего, я — центр тяжести Вселенной, я смещен, снесен... Все шатается... меня отбросило в угол, я верчусь вокруг собственной оси, стиснутый в узком пространстве, ограниченном моей близорукостью, я пойман в игре зеркал, бесконечно отражающих тот нелепый, идиотский образ, который я, сам того не зная, придаю всему, чего коснусь.

Нет, это неправда, это немыслимо, не верьте... Погодите... Тут нет ничего рокового, ничего predetermined, это же не врожденное, неисправимое, как цвет кожи, как раса, как кровь, нет-нет, тут просто вопрос вероисповедания, вопрос убеждений, и я отлично могу — видите, я уже начал, — я могу оторваться от самого себя, отойти, посмотреть на себя со стороны, я волен изменить свой облик, перейти в другой лагерь... В последнее время переходило столько людей, самых умных, им это даже в укор не ставили, никто их не попрекал... Мне, разумеется, потребовалось бы больше времени, но ведь никогда не поздно, правда?.. И лучше поздно, чем никогда... Вот так... теперь я прекрасно могу встать на прежнее место... в центре... на вершине, откуда перед моим взором покорно расстелется весь мир... теперь я могу обрести былое достоинство и согласиться пересмотреть свои мнения, в конце концов только об этом и шла речь, о том единственном пункте, в котором я с вами расходился. Но я тоже подвержен заблуждениям, в конце концов и я мог ошибиться... «Золотые плоды»... м-да, погодите... Откровенно говоря, у меня сохранилось только смутное представление... надо будет еще раз воскресить их, вызвать их образ перед собой.

Пусть вернутся, пусть приблизятся... Но они убегают от меня... все скользит, стирается, я не могу ухватиться... Нет, подождите, я справлюсь... Вы дали мне форму для отливки, я не хуже вас умею с ней обращаться, и вот невидимое вещество уже вливается в нее, принимает нужные очертания... я вижу... что-то неопределенное, по правде говоря, неумелое... даже простоватое, вот именно... старомодное... похожее на бесцветные мечты молодых девиц в незапамятные времена... воспитанниц монастырей... всяких Клэр д'Эллебез... Альмаид д'Этремон... Что же это со мной было? Как я только мог... И как это столько людей вместе со мной... Странно... Куда же все делось?.. Никак не найду...

И вдруг словно флюиды, словно какое-то излучение, свет... я не вижу источника, он остается в тени... что-то идет ко мне, крепнет... Что-то пронизывает меня... словно вибрация, модуляция, ритмы... как будто хрупкая и четкая линия постепенно вычерчивается с настойчивой

мягкостью... словно арабеска, искусная и наивная... она слабо искрится... кажется, что она сейчас отделится от темной пустоты... Но сияющая черта становится все тоньше, стирается, словно впитанная тьмой, и все затухает...

Нет, то, что исходит от «Золотых плодов»... эти волны, эти звучания... этот легкий звон — то, что идет ко мне от них и от меня к ним, как по однородному веществу, — этого ничто остановить не может. Пусть люди говорят, что им угодно. Никому не дано помешать этому взаимопроникновению, этому космосу между нами. Ни одним словом извне нельзя нарушить это слияние, такое естественное, такое полное. Как любовь, оно дает нам силы выстоять против всего. Как влюбленному, мне хочется скрыть это чувство. Лишь бы посторонние не видели, что происходит между нами, лишь бы не приближались к нам — вот все, о чем я их прошу. У меня нет ни малейшего желания переубедить их. Я не нуждаюсь в их одобрении. Мне не нужны их восторги. От любого их слова, вспорхнувшего или мимолетно задевшего нас, я отшатнусь, уйду в себя, оцетинюсь всеми своими колючками. Я притворюсь мертвым. Глухим. Слепым. Уставив в пространство пустой взор, я не стану смотреть, как они встречаются глазами, как их взгляды стараются вселить друг в друга уверенность, взаимопонимание, собственное превосходство. Я не стану смотреть на их глупые, сияющие самодовольством физиономии.

Но какая-то сила возносит меня, увлекает, ломает все мое сопротивление, покоряет мою волю — сила столь же непререкаемая, как голоса свыше, повелевавшие тем, кого избрало Небо, отречься от мирной, спокойной жизни, от всех земных благ и принять мученический венец во имя торжества слова господня, сила столь же мощная, как та, что заставляет революционеров жертвовать жизнью. И во мне тоже бушуют истина и справедливость, священный гнев звенит в моем голосе, слова во мне наливаются, пульсируют, бьют фонтаном:

— Все-таки я должен сказать... — их взгляды в удивлении обращаются на меня, — что я с вами совершенно не согласен. Для меня «Золотые плоды» — изумительная вещь. Я их просто обожаю...

И тут, в тишине, наступившей после этого взрыва, я снова становлюсь спокойным. В том же стремлении дойти до масс, которое заставляет и миссионеров, проповедующих Евангелие дикарям, и революционеров, убеждающих темную толпу искать простые слова, способные проникнуть в глухие души, в затуманенные мозги, я сейчас без труда выбираю слова, понятные им сразу, расхожие привычные для них слова.

И я говорю им мягким голосом: «Видите ли, меня поражает в «Золотых плодах» законченное мастерство, какой-то особенно четкий замысел... Было бы куда легче проникнуть в глубины, копаться во всяких сложностях... было бы куда проще услужливо выкладывать всякие переживания, мучения... А тут взамен всего — эта простота, порой, казалось бы, доходящая до банальности... но какими гигантскими усилиями она достигнута... Ценой каких жертв... И она рождает — с каким неподражаемым искусством! — ничего не говоря прямо... с изумительным целомудрием, — ощущение пустоты, безнадежности... Не знаю почему, но «Золотые плоды» напоминают мне Ватто... В них я вижу ту же хрупкую грацию, ту же нежную печаль... А этот финал... поразительный... когда все тонет в неизвестности... Мы вдруг оказываемся в полном недоумении... Да, «Золотые плоды» для меня — один из лучших метафизических романов... И поверьте моему чутью: нужны были феноменальное мастерство, сверхъестественная отрешенность, чтобы не дрогнув довести до конца такой замысел...»

В ответ я слышу сдержанный смешок: «Какой там замысел... Да вы шутите!.. Ох, сразу видно, что вы не знаете Брейе!»

Вы не знаете Брейе... Очень просто. Этим все и объясняется. Мы отлично понимаем. Вам все прощается... Ничего не бойтесь... Что с вами может случиться? Тут, в своем кругу и разговора быть не может, что вас надо исключить, осудить... Какие глупости!.. Как можно даже

представить себе такой скандал! Вы же наш человек, вы здесь среди своих, не забывайте!

Из их глаз, как из землечерпалок, на меня ковшами сыплется их уверенность в нашем общем превосходстве над всеми, в нашей солидарности... Даже минутами в этом песке мелькают блестящие золотые крупинки их восхищения мной... Ах, это горячее, вечно юное сердце... ах, отчаянная голова... Неисправимый энтузиаст, вечно готовый броситься на защиту гиблого дела, все готов раздать нищим, он так богат, так щедр... и так скромен... всегда готов уйти в тень... он забывает, что все, чем он восхищается в «Золотых плодах», — все это он сам в них вложил... Честное слово, невыносимо думать, что он дал себя одурачить такому, как Брейе, — человеку, который ему в подметки не годится. Нет, надо его защитить, надо ему открыть глаза... Вы бы сами все поняли сразу, если бы только познакомились с Брейе, только узнали его, как знаем мы... Ничего, это вполне поправимо, мы вам покажем... Сейчас сами увидите... у нас у всех безошибочный глаз... Подойдите-ка к нам поближе, станьте вплотную, бок о бок... видите, как удобно... вот, сейчас вы увидите, сейчас вы удивитесь... Ну-ка! Кто ему покажет?.. Да мы все, все... мы дрожим от нетерпения... дайте я, позвольте... я ему все расскажу... Хорошо, пусть вы, Жан-Пьер, вам и книги в руки...

— Ну что вы... Впрочем, пожалуй... Я давно знаком с Брейе... задолго до того, как он прославился. Должен сказать, что меня всегда поражал его дурной вкус... какой-то банальный образ мысли... Чем он только не восторгался — дурацкими сплетнями, пошлятиной... Настоящая кумушка... Он мог даже... Помнишь, Жан, как мы застряли во время бури в горах... в хижине? Да, в Эгий-де-Гутэ... Он, видите ли, и альпинизмом занимался!.. Да, погодите... Мы делали вылазки в горы... небольшие походы... он сам не очень сильный, да и не так чтоб очень храбрый... но самолюбив, но хвастлив до чертиков... Всю ночь трепался, рта не закрывал... Как же не помнить... Измучил всех... А знаете, что у него было дома?..

Пойдем, входите, кто хочет... дворец пуст, король свергнут с трона и бежал... гуляй где угодно, ройся в чем попало... открывай ящики, раскидывай постели... смотри, какие альбомы, какие фотографии... Ну и ну!.. Вот чем они занимаются, великие мира сего!.. Смотри, что он переплел!.. честное слово, клянусь вам, посмотрите, вон какие тома!.. Он собирал комиксы, Пим-Пам-Пум, Никелированные Ножки... он их читал часами... А коллекция пластинок... глазам не веришь... Вы только послушайте — самые дрянные шансонье... самый вульгарный джаз... Давай вынюхивай, высматривай, никто нам не помеха... Нам все нужно... дневники, письма, исповеди, забытые на дне ящиков рукописи, сплетни современников, воспоминания выгнанных слуг... Все сгодится... Для нас нет ничего святого. Никаких запретов. Даже тех, чьи труды должны были бы вселять уважение, даже их не пощадили. Напротив. Именно от них, от их интимной жизни исходит что-то особенно сладостное для нас, нас это успокаивает, утешает, вселяет уверенность, что все мы, в сущности, одинаковы, стоит только приглядеться, все мы люди-человеки, все похожи, конечно, кроме одной детали — их трудов... Но этого мы не касаемся, это мы им охотно оставляем... ведь это чистая случайность, странный нарост, вроде какой-то болячки, да, мы готовы признать — это, конечно, чудо... трудно объяснить... но что касается всего остального, как это похоже на всех — столько находишь тут слабостей, столько лени, халатности, столько незрелости, испорченности, даже иногда такую низость, что нам, надо сознаться, очень трудно не чувствовать вполне законного превосходства.

Но когда речь идет о Брейе... когда книга создана по образу и подобию автора... когда тут никаким чудом и не пахнет, мы должны признать, и, по правде говоря, не очень-то охотно — какая нам от этого радость, чем это нас может возвысить, я вас спрашиваю? — мы можем с полной уверенностью сказать: вся эта простота, вся эта наивность, которыми вас так восхищает Брейе... никакого замысла в этом нет... Он же сам все принимает на веру, даем вам слово. Он больше ничего и не мог дать. А этот непонятный конец, который так всех огорошил... причем

никто не осмелился сознаться, что он ничего не понял... но ведь и сам Брейе его не понимал, это ясно как день... он просто потакал моде... Хитер, ничего не скажешь... Но что с вами? Смотрите, как он побледнел... видно, расстроился... ох, уж эти мне романтики, эти неисправимые мечтатели... им бы все витать в облаках... бродить по цветущим лугам... дышать воздухом горных вершин... «Ватто»... Слыхали?... Чего они только не выдумают? «Ах, какое изящество... какие высоты, какие глубины... метафизические переживания, неподражаемые сложности»... — простите, что мы смеемся... Да, грустно, конечно, когда тебя вдруг вырвут из всего этого, вернут на землю, сюда, к нам, грешным, к низменным фактам, к непритязательной правде. Но что поделаешь, приходится подчиняться, правда все пересилит. Раньше или позже, как ни старайся, от нее не уйти...

Нет. Погодите. Тут что-то неладно. Я никак не ухвачу, в чем дело... но чувствую — тут какая-то фальшь... какая-то нарочитая подделка. Надо мной смеются... Куда ж это я попал? В какую компанию? В какой игорный притон? Вы жульничаете... Вот доказательство... Сейчас докажу... Ведь Рембо тоже, слышите — сам Рембо, и все же кто из вас посмеет придраться к его стихам? Никто, правда? Это святыня... Так вот: Рембо совершенно как Брейё... Рембо тоже любил всякие вещи: идиотские картины, бездарные эротические романы, детские книжки, глупые песенки устарелую литературу... Рембо тоже... как Брейе...

Они разом выпрямляются, беспощадные, плечом к плечу, слившись в одно целое:

— Послушайте, но ведь то...

Я защищаю лицо рукой, весь сжимаюсь...

— Слушайте, но ведь то — Рембо!..

Ох, бедняга, как он отбивался... Больно было смотреть... Только послушать, как он уверял всех в своей невиновности, приводил алиби... Да, он находился под влиянием, он это и не отрицает. Разве от этого уйдешь?... Но что тут дурного? Зачем скрывать? Имена? Пожалуйста! Он только и ждал, чтобы их назвать. Может быть, даже он сам... он был готов признаться, если бы так случилось... бывает... человек помимо воли... ведь ни по отношению к искусству, да и вообще ни к чему другому так, вдруг, ничего в тебе не возникает... О, нет, нет, только не это... Этого не было. Того, что ему приписывают. Нет, нет, это неверно. В корне неверно. С теми людьми он и не встречался. Он только знал их понаслышке. У него есть на то свидетели. Можете их допросить, они вам скажут, когда, в каком году они ему впервые рассказали о тех самых людях... Они наверняка этого не забыли... Их тогда еще очень удивило, что он и тех книг никогда не открывал, не прочел ни строчки. Да, он знает, этому трудно поверить, но если опросить самых эрудированных из нас, в нашем чтении неожиданно откроются гигантские пробелы. Пусть все эксперты мира признают его виновным, он неустанно будет утверждать, что они ошибаются, что они ни в чем не разобрались, — между ним и теми людьми нет ничего общего, никакого сходства. Они сразу увидят это, стоит им приглядеться к нему внимательней. Потом они пожалеют — тем хуже для них... Он выкрикивает эти слова, обезумев от гордости... Нет, то, что скрыто в «Золотых плодах», то, что их отличает от всего написанного раньше, это он сам открыл, это его собственность... всегда ему принадлежало... Никто не смог стать между ними, с самых ранних лет он ощущал эту связь, прямую, непосредственную... это его чувства, они так свежи, так чисты, так новы... они выросли из самых сокровенных глубин его души... Это его внутреннее «я» как бы само нашло для себя форму, помимо него...

Поистине трогательно видеть, до чего они все похожи, до чего у них одинаковые иллюзии. Каждый убежден, что именно благодаря нему совершилось чудо, он его открыл...

Но пусть они протестуют, пусть просят и молят сколько угодно, мы непоколебимы. Ничего не поделаешь, нас не обмануть. У нас такой склад ума, что в нем содержится вся мировая литература, расписанная и разрезанная на карточки, как лото — на нумерованные квадратики.

Как только появится что-то незнакомое, мы сразу берем его, вертим во все стороны. Ну-ка, покажите. Дайте взглянуть на этот билетик. Какой у него номер? Ага, вот как. Погодите... вижу... Вот где ему место, вот его клеточка... Иногда находишь не сразу... но это так увлекательно, сначала волнуешься, потом успокаиваешься, для нас нет ничего занятнее этой игры, когда... — ага, вот она, держу... передайте-ка сюда, дайте мне.

Бывает, что молодой ветреник, еще даже не осмелившись воплотить свой замысел, полный энтузиазма и надежд, ослепленный гордыней, вдруг в нетерпении начинает выставляться перед нами:

— Знаете, я еще никому не говорил... Послушайте, какая мысль мне пришла в голову... Внезапно, по вдохновению... Что, если это ощущение, которое во мне растет и крепнет, что, если его заставить как-то поворачиваться вокруг своей оси, все выше и выше, и тогда под натиском своего собственного движения оно пройдет по всей книге, закручиваясь спиралью...

— Спиралью! — Мы хватаемся за это слово. — Движение по спирали? Погодите. Мне это что-то напоминает. Внимание, Будьте осторожны. Знаете ли вы, что это уже давно сделано?

И он весь сразу сжимается, съеживается. И все его чувства, как цветы яблони под порывом холодного ветра, вянут, жалобно обвисают, вот-вот опадут.

Всегда полезно при случае заранее принять меры, чтобы потом не было лишней работы.

Смотрите, до каких эксцессов доходит дело, если вовремя не вмешаться. До каких беспорядков, до каких галлюцинаций, до какой истерии. Все захлестывает, нет сил остановить этот поток. И бывает, что иногда довольно долго — возьмите, к примеру, «Золотые плоды», — иногда долго приходится терпеть...

Но в конце концов все приходит в норму. Мы неустанно стоим на страже. По всем улицам дефилируют наши люди-сэндвичи, на плакатах огромными буквами написано: ВСЕ УЖЕ СКАЗАНО. НЕТ НИЧЕГО НОВОГО ПОД ЛУНОЙ. На всех площадях наши проповедники успокаивают народ: «Умерьте смутные сожаления, перестаньте мечтать, устремляйтесь к более верным, более полезным целям, излечитесь от чувства неполноценности. Вам не о чем жалеть... Вам незачем волноваться. Искать нечего — все равно вам ничего нового не найти: все уже сказано».

Но иногда — чего только не случается — вдруг в толпе какая-то женщина, какой-то мужчина падает на землю, бьется в припадке, царапает лицо, кричит: «А Рембо? Рембо?..» — и тогда, осторожно пробираясь сквозь взволнованную толпу, к припадочному подходят, глядят его по голове, успокаивают: «Так ведь то — Рембо, вы понимаете... Зачем так расстраиваться, кричать!.. То был Рембо... Успокойтесь. Не надо бояться... Мы — правило, а Рембо — исключение».

Все в порядке. Усопшие — и те, что недавно скончались, и те, что умерли уже давно, — все они распределены по категориям — малые, средние, великие, каждый покоится на своем месте. Взгляните, какой порядок мы навели. Мы их вскрыли, классифицировали, перенумеровали, и теперь все великие набальзамированы, пропитаны парафином, подгримированы — лежат, как живые. День и ночь стоит на часах неподвижная стража, из поколения в поколение пристойно дефилирует мимо них молчаливая толпа.

Но даже они, великие, те, что чувствовали себя такими свободными, независимыми, смелыми, те, что думали — мы единственные, несравненные, — даже они удивились бы, если бы узнали, с кем, около кого их положили, если бы слышали, что мы в них открыли при тщательном изучении. Открыли, как при жизни их тоже швыряло и несло по воле волн, скопом прибывало к берегу, уносило и приносило приливом и отливом.

А теперь и этому надо непременно определить место, и поскорей — он того заслужил хотя бы потому, что вызвал столько шума, надо хоть временно найти ему местечко... среди мелкоты,

разумеется, это бесспорно... Но весь вопрос в том — среди какой мелкоты, у ног каких великих?

— Что действительно было у Брейе, что так приятно поражало, когда читались «Золотые плоды»... должен сказать, что я всегда это думал, только не говорил... я же не сумасшедший... да и кто бы посмел?.., что в нем очаровывало — это то, как вдруг останавливаешься и думаешь: погоди, погоди-ка, что это? Откуда же это взято?.. Как будто я уже где-то слышал, знакомый перезвон, и этот ритм, эта каденция фразы... та же тональность... а этот образ, он тоже что-то напоминает, где-то я уже видел... Одно выражение, иногда одно слово — и уже начинаешь искать, припоминать... Мне самому было занятно. Подтверждало, что мой маленький, так сказать, интеллектуальный багаж все еще в целости и сохранности. Почти всегда я находил то, что искал. Книжки вроде «Золотых плодов» — настоящая головоломка. Вся сборная — из кусочков, отовсюду понемножку...

— Правда, ваша правда... Знаете, я у него нашел Анакреона...

— А я — мадемуазель де Скюдери...

Лотреамона...

— А Стерн, вы забыли Стерна. От него там больше всего...

— Нет, тут я не согласен. Вспомните Томаса Манна, его первые вещи...

— Разве Брейе знает немецкий?

— Но Манн давным-давно вышел по-французски, правда, малым тиражом. Его нигде не достать, но несколько лет назад мне попался в руки один экземпляр. Сходство потрясающее...

— Ну, вы... Разве от вас скроешь. Да есть ли для вас в литературе хоть какой-нибудь уголок...

— Помилуйте, вы мне просто льстите...

— Вы на меня не сердитесь, но, честное слово, когда речь идет об этих «Золотых плодах», тут нечего далеко искать. Образцы рядом... Невооруженным глазом видно...

— И заметьте, будь у Брейе талант, все это не имело бы значения... Все зависит от того, как использован материал, что из него сделано. А сделал-то он не бог весть что — вот в чем беда...

— Да, все покрыто лачком... под стать моде... Конечно, нельзя ему отказать в известном умении.

— Да? Вы так думаете?

— Конечно. Этим он и ухитрился всех соблазнить. Казалось, все новое и вместе с тем знакомое. Читатель это обожает... так и надо писать, если хочешь успеха, поверьте, в этом весь секрет...

— Ну, если это назвать успехом... вы посмотрите, что с ним случилось, с беднягой. На днях один человек прямо, без обиняков сказал мне в глаза, что та знаменитая любовная сцена из «Золотых плодов» словно списана из дешевого журнальчика, знаете — «Тайны сердца».

— Да, что правда, то правда, ничего не скажешь...

— А по-моему, мы слишком с ним нянчимся... Ломаем голову, отыскиваем ему предшественников, учителей. Томас Манн... Лотреамон... Спрашиваем себя: куда его деть?.. Рядом с кем?.. Уверяю вас, все это остатки наваждения.

— В общую могилу... и все... туда ему и дорога... Чем скорее их забудешь, эти книжонки, тем лучше.

Да, ничего не поделаешь, надо признать: плохо нам приходится. В скверное положение мы с тобой попали. И одиноки, так одиноки, что поверить невозможно... И я понапрасну все время пытаюсь... нельзя без этого... кто знает... а вдруг неожиданно ответят... прозвучит чей-то голос... и сразу станет легче! Только бы это, и уже кажется — мы почти спасены. Но сколько я ни пробую — в минуту затишья, молчания — сказать достаточно твердо, чтобы заставить их слушать, но все же мягко, чтобы их не спугнуть, сколько раз я им ни говорил :«А «Золотые

плоды?» — мне на это отвечает только чей-то беглый взгляд — скользнет и отвернется. А чаще всего никто и не слышит.

Все дело в том, что они вечно заняты, вечно у них стоит крик, шум. Без конца вопят, без конца млеют от восторга... И та непоколебимая самоуверенность, каждый раз я от нее теряюсь. И все имена, имена, запомнить невозможно.

«Человек в космосе»... «Грандиозное полотно»... «Лучше «Войны и мира»...» «Наш современник перед проблемой сегодняшнего дня» — вот что их занимает в данную минуту. Я замечаю, что в такие моменты, когда История несет их по волнам, словно роскошный океанский лайнер, оснащенный всей современной техникой, вздымающий на ходу огромные валы и фонтаны брызг, играющий утлыми суденышками так, что те, чуть не опрокидываясь, пляшут на волнах, — я замечаю, что в такие моменты они особенно самоуверенны, самодовольны. Надо признать, что в каком-то отношении их можно понять. Я даже завидовал им иногда... На меня это действовало... и тут меня одолевало любопытство, толкала вперед моя непредубежденность — лучшая черта моего характера, скажу, не хвлясь. И я забирался на эти гигантские суда, вблизи осматривал эти фрески, воплотившие размах нашей современности. Но ничего не поделаешь — мне было не по себе, мне было скучно.

Ведь для того, чтобы я не чувствовал никакого напряжения, чтобы у меня на душе было спокойно, я непременно должен отыскать... все равно в чем... я это ощущаю очень отчетливо, только не знаю, как выразить... слов мне не хватает, а те, что есть, они такие бедные, захватанные, стертые... ими пользовался кто попало, для чего попало... Мне бы владеть отточенным словарем этих ученых, докторов наук... Знаю, они посмеялись бы надо мной, если бы слышали, что я говорю. К счастью, они никогда не слушают... Так вот... я только хочу сказать, что мне для того, чтобы ощутить уверенность, спокойствие, как ощущают они все, мне для этого надо найти... где угодно — даже в гигантском полотне, почему бы и нет?.. — я человек непредвзятый... мне надо почувствовать... сам не знаю, как это назвать... ну, то, что чувствуешь, видя, как робко пробивается первая травинка... или нераспустившийся крокус... от него что-то исходит... это еще не аромат, даже не запах, а что-то безымянное — не запах, а предвестник запаха... Мне кажется, что это оно и есть... что-то такое, что меня забирает, осторожно, медленно — и держит, не отпускает... что-то нетронутое, невинное... будто податливые детские пальчики уцепились за мою руку, будто рука ребенка уютно угнездилась в моей ладони. И во мне ширится такое чистое доверие... оно проникает все мое существо...

Во что бы то ни стало я хочу быть на высоте... не предавать тебя... оттого мне иногда хочется забыть всякую осторожность и крикнуть... хотя, может быть, и не стоило бы, может быть, и для тебя и для меня лучше, чтобы о нас забыли... Но меня так и тянет спросить: «А «Золотые плоды»?.. Помните вы их?..» Только так, напрямик, можно подойти... Какое значение имеют все эти океанские лайнеры, все стройки в мировом масштабе, если нет в них нераспустившегося крокуса, нет детской ручонки... Есть оно или нет — вот в чем все дело. Поверьте мне, только это имеет значение... И я спрашиваю себя, как будет, когда тем, кто сегодня в силе, придется уцепиться за таких, как я, чтобы проплыть весь дальний путь, как они это сделают, за что схватятся?.. Но я сдерживаюсь, я молчу. Насмешки могут уничтожить. Они бьют так метко... а мы такие незащищенные... Но, быть может, — и мне иногда это чудится — быть может, безотчетно я чувствую, что даже сейчас мы с тобой сильнее их... Быть может, я их даже жалею... Сам не знаю... Давай просто скажем, как обычно говорится, что я молчу из вежливости, из врожденной деликатности. Оттого и не высказываюсь.

Но еще в то время, когда мы с тобой только что встретились, еще до того, как они все завладели тобой, стали устраивать в твою честь пышные приемы под охраной полицейских кордонов, еще тогда я соблюдал осторожность. Я выжидал, как делают многие, чтобы начали

другие... хотел посмотреть, куда они направляются, чтобы пойти с ними в ногу.

Говорят, что люди больше всего обижаются, если их упрекнуть, что они поют фальшиво. Я полагаю, что гораздо обиднее, если тебя подозревают в отсутствии вкуса. Поэтому у меня всегда первый порыв — отойти в сторону. Кто я такой, в конце концов? Что я сделал? Мне ни разу и в голову не пришло попробовать написать роман. Понятия не имею, как за это взяться. Я даже не отдаю себе отчета, когда, например, читаю тебя, — трудно ли тебе было писать, в чем именно заключались эти трудности. Не могу себе представить, какие препятствия стояли у тебя на пути. Мне казалось, что все шло как по маслу. Все развивалось естественно. Но когда я вижу, как люди компетентные спокойно разрезают на куски какое-нибудь произведение, рассматривают отдельные отрывки: «Вот тут совсем недурно, очень хорошо задумано, это большая авторская удача. Вы заметили сцену у кладбищенских ворот? Превосходно. А старушка на скамье, у лужайки?..» Спору нет, куски прекрасные... я всегда поражаюсь, как они могут это делать. А мне все равно, что, все равно, какой отрывок, пусть самый маленький, взятый наугад, — мне важно одно: вошел он мне в душу или нет. Стоит ему проникнуть в меня, как он и остальное потянет за собой. И получается одно целое. Как живое существо. Но для них, очевидно, все по-другому. И оттого, что я перед ними чувствую себя безоружным, я начинаю сомневаться. Даже по отношению к тебе это бывало. Но каждый раз, когда я снова перечитываю тебя, когда я готов признать, что я ошибся... сразу между мной и тобой что-то начинается заново... И тогда во мне крепнет уверенность... Тем более, что я давно убедился: всех этих знатоков, которые так меня поражали, очень легко сбить с толку... вечно они меняются, отрицают прежнее, забывают... А послушаешь их в такие минуты... Опять повторяются, опять говорят те же слова. Можно подумать, что речь снова идет о тебе. Забыта «грандиозная фреска», потонул «пароход Истории»... снова идет разговор о «прелестной безделушке, о «ювелирной работе»... Совершенство... лучшее, что написано за последние пятнадцать... за последние двадцать лет... И цифры-то всегда одни и те же между десятью и двадцатью... зависит от того, насколько они пришли в экстаз, насколько стараются перещеголять друг друга... Но в какой бы транс они ни впали, дальше тридцати лет они идти не смеют. Впрочем, недавно у них хватило нахальства — и главное, ради чего! — дойти до пятидесяти лет, даже до ста!

Но, кажется, я слишком долго выжидал. Час пробил. Надо попытаться снова. Нельзя терять столько времени. Буду действовать осторожно. Там, среди них, есть один, он держится чуть в стороне от других, видно, он человек чуткий, восприимчивый. Сейчас спрошу его осторожно о тебе:

— А «Золотые плоды»? Вы их помните?

— Золотые — чего?

Вот и весь ответ... И не удивительно. Много месяцев я уже не встречал тех, кто помнил бы о твоём существовании. Никогда больше не упоминают твое имя. Но я чувствовал, что с ним я могу быть настойчивее:

— Между нами говоря, ведь книга блестящая. И так забыта — понять не могу, отчего. Прочтите ее, обязательно прочтите.

И он сказал, что посмотрит... Думаю, он это сделает, ему можно верить... А кто знает? Может быть, тот, другой голос и окажется его голосом?

Понимаешь, нельзя терять надежду, это неправильно. Не может быть, что я — какое-то исключение. На свете, безусловно, есть много таких, как я. Таких же застенчивых. Немного ушедших в себя. Не привыкших выражать свое мнение. Может быть, они робко окликают нас, а им никто не отвечает. Однако не забывай: для полной уверенности мало знать, что они существуют. Ведь не только ты производишь на них то же впечатление, что и на меня: иногда они оказываются под впечатлением таких вещей, что и подумать страшно. Знаю, от этого можно

прийти в отчаяние. Иногда я так теряюсь, что снова готов усомниться: уж не ошибся ли я сам?

Но нельзя не признать, что чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше повышаются твои шансы на благополучный исход. Это молчание, куда тебя погрузили, сорвав все пышные одежды, все прежние украшения, молчание, где ты в наготе, в чистоте плывешь по течению, а я цепляюсь за тебя, — оно объединило нас, связало крепко-накрепко. Теперь ты настолько близка мне, настолько стала частью меня самого, что, по-моему, перестань ты существовать, и во мне что-то отомрет, станет безжизненной тканью.

Есть ли что удивительней, чем твоя сила сопротивления и мое упорство? И все те, кто, как я, хочет помочь тебе выплыть на берег, переплыть пучину, все должны, несмотря на свои слабости, внушать тебе доверие. Я часто говорю себе, может быть, только благодаря таким, как я, скромным, незаметным, но непоколебимым в своем упорстве, могут выстоять и выжить такие книги, как ты. Кажется, никто в это не вникал как следует. А стоило бы, это интересно. Что касается меня, то я так и не могу понять, каким образом это происходит.

Иногда я себя спрашиваю: а что с тобой будет потом, без меня... где тебе удастся выплыть, к какому берегу тебя прибьет? Бывало, что и те, кто пустился в плавание при самых благоприятных условиях, окруженные признанием самых изысканных знатоков, в конце концов были подобраны на берегу детьми и с тех пор служат им забавой. Правда, бывает и так, что взрослые вдруг на время отбирают эту игрушку у детей. Но это случается не так часто.

А бывает и так, что книги, которые отовсюду выталкивали, вдруг через много лет возвращаются снова, лежат на столиках в кафе, красуются в салонах. Сдается мне, что такие, как они, никогда не исчезнут совсем. За них, по-моему, бояться нечего.

— А «Золотые плоды»? Вы их еще помните?

Какое усилие приходится делать каждый раз... Мне оно трудно дается... Чувствуешь, как в них неотвратимо начинает действовать какой-то механизм... будто заводишь будильник, пускаешь в ход часы... и ждешь, пока зазвенит звонок. Даже в те времена, когда одно твое название вызывало громкие крики восхищения, одна мысль, что так будет, приводила меня в ярость, мне хотелось их потрясти, перекрутить пружину, чтобы заставить их звонить невпопад. Но теперь...

— А «Золотые плоды»? — Ну вот. Часовой механизм заработал... «Ах, вы об этом»... Вот оно, задрезжалось — начинается... «Вот оно что»... Бьют часы: «Значит, вы все еще... о «Золотых плодах»?»

Фрагменты книги «Тропизмы» напечатаны в сб.: Французская новелла двадцатого века. М., Художественная литература, 1973. С. 610 — 615.

Sarraute N. L'Ère du soupçon. P., 1964. P. 9.

Sarraute N. L'Ère du soupçon. P., 1964. P. 8

Саррот Н. Эра подозрения // Писатели Франции о литературе. М., 1978. С. 313.

Саррот Н. Эра подозрения // Писатели Франции о литературе. М., 1978. С. 315.

Сейчас я это разрежу (нем.). (Здесь и далее прим. пер.).

Библиотечка книг для детей и юношества, издававшаяся во Франции в начале XX века.

Замечать (франц.).

Появляться (франц.).

Буалев Рене (1867 — 1926) — французский прозаик, писал романы о провинциальной жизни.

Терье Андре (1833 — 1907) — французский писатель, автор «семейных» романов.

Лота Пьер (1850 — 1923) — морской офицер и писатель, культивировавший в своих романах восточную экзотику.

Атвуд Джордж (1745 — 1807) — английский физик, изобрел прибор для изучения и демонстрации закономерностей падения тел.

Детай Эдуард (1848 — 1912) — французский художник, занимался в основном батальной живописью.

Детские стишки (англ.).

Я до сих пор вижу вашу мачеху в страшных снах (*англ.*).

Понсон дю Террайль Алексис (1829 — 1871) — французский писатель, автор почти тридцати романов с одним героем — Рокамболом, переживающим самые невероятные приключения.

В пьесе Пиранделло «Генрих IV» речь идет о безумце, вообразившем себя королем. — Здесь и далее примечания переводчика.

Слова Паскаля: «Чем человек умнее, тем больше оригинальных умов он видит вокруг себя».

Бодлер писал в дневнике, что для умного человека нет большего наслаждения, чем общение с тупицами.

Сложная, устаревшая грамматическая форма.

Герои романа Стендаля «Красное и черное».

Цитата из сатирической пьесы Альфреда Жарри (1873 — 1907) «Король Убю».

Здесь: вместо, заменяющий (*лат.*). Когда автора, ведущего какой-либо раздел, замещает другой, перед его подписью ставятся эти слова.

Моя вина (лат.).

Персонаж комедии Мольера «Мизантроп».